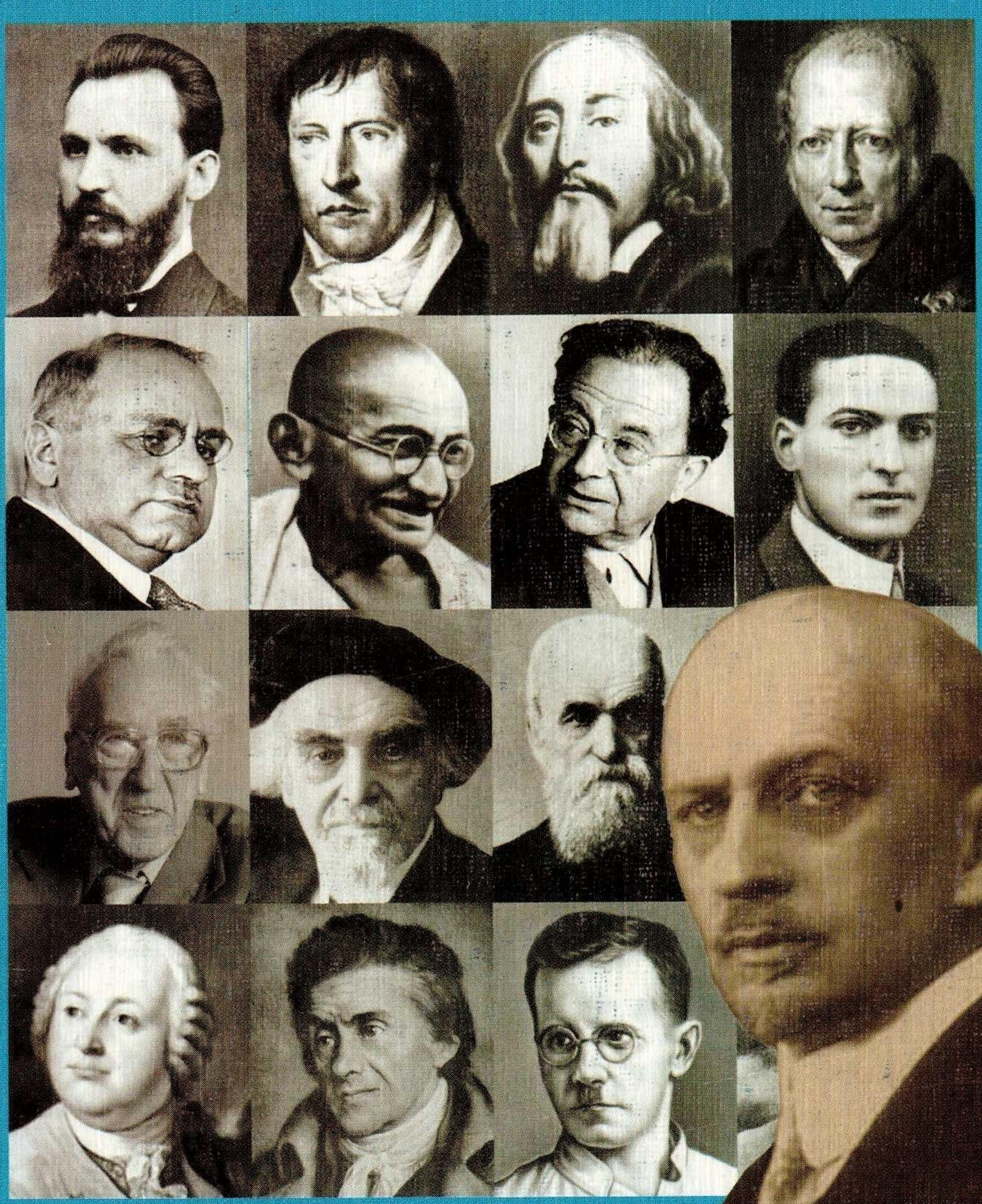
АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ИЛЬИН



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Амонашвили Ш.А. - глава Издательского Дома
Асмолов А.Г.
Бордовский Г.А.
Дарчия М.Д.
Загвязинский В.И.
Зуев Д.Д. - главный редактор
Кезина Л.П.
Матросов В.Л.
Неменский Б.М.
Никандров Н.Д.
Ниорадзе В.Г.
Петровский А.В.
Рябов В.В.
Сартания В.Ш.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ

МОСКВА

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

СОСТАВИТЕЛЬ И АВТОР ПРЕДИСЛОВИЯ



Огородников Юрий Александрович
доктор философских наук, профессор МГПУ
г.Москва

ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ



Фоминова Мария Анатольевна
учитель, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой МИОО
г.Москва

АНТОЛОГИЯ
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ИЛЬИН



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МОСКВА
2005

ББК 74. 03(2)
И 46

Федеральная целевая программа
“Культура России”
(подпрограмма “Поддержки
полиграфии и книгоиздания России”)

Ильин. — М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2005. — С. 224 (Антология гуманной педагогики).
ISBN 5-89147-049-7

Известный философ русского зарубежья, высланный в 1922 году из России большевиками, Иван Ильин и в эмиграции оставался верен традициям русской духовности, нравственного воспитания в семье и школе. В этом томе читатель прочтет также труды философа, в которых он выступает в качестве художественного критика. Ильин усматривал главный порок человека середины XX века в его «расколотости», в противоречии между разумом, умом, рассудком и чувствами сердцем.

ISBN 5-89147-049-7 © Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2005

СОВЕРШЕНСТВО — МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ В МИРЕ: ИВАН ИЛЬИН О ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ

> Ни таланту, ни гению научить нельзя; но культуре духа, духовной концентрации, систематической интуиции, творческому акту можно и должно учить.
>
> *И.Ильин*

Иван Александрович Ильин (1882—1954) — выдающийся представитель философии русского зарубежья. Он — философ-гуманист в истинном значении данного слова. Человечность его философии является нам в духовном напряжении мыслителя, в его мужестве бороться за звание человека, обнажать истину, даже если она неприятна большинству, в сосредоточенной воле, ответственности за помысленное и сказанное, в единстве слова, мысли и дела, в стремлении явить в исследованиях суть человека, его сложную, противоречивую природу.

Философия Ильина — философия христианская и потому педагогическая, так как она есть страстное учение, направленное на духовное преображение мира и человека, учение, наполненное горением и пафосом учителя в самом высоком смысле этого слова.

И.А.Ильин — учитель по сути своего характера и своей жизни: он видит свое назначение в служении людям, не замыкается в кабинете ученого, пишет не ради чистого исследования, он обращен на людей, пишет для них, для многих, для всех, кто хотел бы образовать себя, совершенствовать себя. Ильин создает страстные, направленные к уму и сердцу человека философские работы, он не чуждается массовой печати, выступает с публичными лекциями. Исследования Ильина освещают и пытаются разрешить насущные проблемы человека и человечества, выявить пути возрождения России. Эти его работы сегодня остро нужны России, и не только России. Немецкий теолог и философ В.Офферманс написал в 1979 году книгу под заголовком «Человек, обрети значительность! Дело жизни русского религиозного философа Ивана Ильина — обновление духовных основ человечества».

Выдающийся русский философ, оригинальный мыслитель, Иван Александрович Ильин родился в 1882 году в Москве, в дворянской семье, окончил юридический факультет Московского император-

ского университета, завершал образование в Германии. Преподавал в родном университете, написал магистерскую диссертацию «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», до сих пор считающуюся лучшей интерпретацией философии великого немца. Защита проходила в 1918 году под угрозой ареста и расстрела (ордера на арест диссертанта и его оппонентов, выдающихся русских ученых и мыслителей П.И.Новгородцева и князя Е.Н.Трубецкого, уже были подписаны, но эти смелые люди не побоялись выступить публично). И.А.Ильину была присуждена не магистерская, а сразу докторская научная степень.

И.А.Ильин активно боролся с большевиками своими статьями, мыслями, выступлениями, пропагандой «русской идеи», его работы стали одной из основ идеологии «белого движения». В 1922 году И.А.Ильин был приговорен большевиками к смертной казни, которая затем была заменена высылкой из России.

Дальнейшая жизнь Ильина протекала в Германии, с 1938 года — в Швейцарии. Там созданы его основные философские, искусствоведческие и публицистические труды. После Второй мировой войны И.А.Ильин много ездил по Европе с лекциями об искусстве, русской литературе и философии, которые он читал на русском и немецком языках (Германия, Швейцария, Бельгия, Чехия, Югославия, Австрия, Латвия).

Основной пафос работ философа — пути совершенствования человека и человечества, их духовного обновления. Главные беды своего времени, выразившиеся в виде войн, революций, тоталитарных режимов, в опустошении и разложении личности, он видел в отходе народов, особенно его образованной части, интеллигенции, от духовности, веры в идеалы и от религии. Только путем духовного воспитания человека можно обуздать зло как в обществе, так и в отдельном человеке. Без духовности, развитых любви и совести невозможно сформировать и правосознание. В духовное воспитание, содержащее много компонентов, по Ильину, входит и очищение человека, личности от «социального мусора», того, что привнесено в него от внешнего мира, порой противоречащего законам бытия.

Специальных работ по образованию у И.А.Ильина нет. Тем не менее его огромное философское наследие пронизано мыслями об образовании. Философ ставит на первый план вопросы воспитания и в зависимости от этого рассматривает образование (учебу). Он критикует власть Советов, считая, что она опошлила образование, превратив его в узкую категорию — элементарной учебы, а главное, оторвала от живительного источника — духовности и веры. Образование стало делом памяти, смекалки и практических умений, в отрыве от духа, совести, веры и характера. Но образование без воспитания не формирует, а разнуздывает и портит человека, ибо дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он — бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный человек — начинает злоупотреблять. И.А.Ильин вслед за Л.Н.Толстым заключает: безграмотный, но добросовестный

простолюдин есть лучший человек, чем бессовестный грамотей. Формальная образованность вне веры создает разврат пошлой цивилизации. Чему мы и являемся сегодня свидетелями.

Воспитателю необходимо опереться на стремление ребенка к совершенству, поскольку одухотворение осуществимо лишь тогда, «когда оно несомо полнотою глубокой и искренней любви к совершенству и его живым проявлениям». Но необходимейшим условием воспитания является проживание духовности самим воспитателем.

Сущность духовности и формы духовного воспитания и самовоспитания даны Ильиным в работе «Путь духовного обновления». В ней философ осмысливает сущность человеческого бытия, раскрывает смысл жизни человека с позиций религиозной философии — именно философии, хотя и на религиозной основе. С точки зрения педагогической проблема сущности и смысла жизни является основой всего школьного образования. Данная проблема очень не проста, и творческому педагогу необходимо изучить разные подходы к ее решению.

И.А.Ильин мыслит в том духе, в котором эту проблему решали русские философы Ф.М.Достоевский и В.С.Соловьев. Вопрос о смысле жизни есть у них вопрос о ценностях, которые выше самой жизни, хотя, безусловно, человек, его индивидуальное бытие как раз и является носителем ценностей и их утверждением в общественной жизни. Но искомый смысл является и надфизиологическим и надсоциальным. Смысл нужно искать в сфере духовного. Человек — единственное существо, которое имеет опыт духовный. Поэтому обновление человека, по Ильину, нужно начинать не с коренной ломки социальных условий существования, но с обновления его души и воли, с формирования у него веры, понимания святости семьи, чувства любви к родине, национальной гордости.

Формирование человека происходит прежде всего в семье. Семье Ильин придавал большое значение. Он отмечал, что это священный союз, построенный на любви, на вере и на свободе. Человек входит в семью своим рождением, задолго до того как ему удается осознать самого себя. Он не выбирает отца и мать, а получает семью как некий дар судьбы. То, что выйдет из человека, определяется воспитанием, хотя существуют врожденные склонности, дары. Судьба этих склонностей и талантов, — разовьются ли они в дальнейшем или погибнут, и если расцветут, как именно, — определяется детством. Поэтому семья является первичным лоном человеческой культуры. Семья закладывает первые основы характера, открывая главные источники будущего счастья и несчастья, здесь ребенок прорастает в человека, из которого разовьется великая личность или низкий проходимец. Одним из важнейших условий воспитания является наличие духовно здоровой семьи.

Духовность семейного очага может дать человеческому сердцу «накаленный угль духовности», который будет греть его, светить ему в течение всей дальнейшей жизни. Задачи, которые стоят перед семьей, а затем перед школой, сводятся к следующему: воспитание

чувства христианской любви («человеческая душа — христианка от природы»), передача духовно-религиозной, национальной и отечественной традиции, из которых складывается индоевропейская, христианская культура, а также задача целостного познания мира.

И.А.Ильин разработал самобытную концепцию бытия и методов познания. Основой миросозерцания Ильина, как и большинства оригинальных русских философов, была христианская религия. Она задавала философам высоту, масштабность, целостность взгляда на мир. Мир един, мир целостен, мир гармоничен, поскольку он создан единым Творцом — Богом. Отсюда все явления мира пронизаны единым духовным началом, в котором исток и смысл всего сущего. Понимание мира и его явлений — это проникновение в духовное начало, им присущее. Рациональный, логический метод, применяемый в науках для открытия закономерностей материальной стороны мира, не дает возможности проникнуть в «святая святых» мира.

Задача, поставленная перед собой русскими философами, оказалась чрезвычайно сложной и потребовала новой методологии. Слишком ограниченны способы рационального познания, редуцирующие (упрощающие), схематизирующие мир, то есть представляющие его не в целостном образе. Русские философы смело бросились на поиски основания целостности — не общего, а конкретного, не в идее, а в реальности, прекрасно сознавая предстоящие трудности и имея за собой не всегда удачный опыт западной философии. Во многом русским мыслителям такое предприятие удалось, чему изумляется мир, активно читающий их труды до сих пор.

Развиваемое в русской философии, и И.Ильиным в том числе, о чем речь пойдет впереди, представление о познании называется порождением «живого знания», то есть знания, рождающегося непосредственно из живой действительности, воспринимаемой человеком в процессе его полной, цельной жизни. Идеи «живого знания» развивали, начиная с первого нашего универсального мыслителя В.Ф.Одоевского, все русские философы. Завершая в XX веке эту тему, С.Л.Франк подметил противоречивость понимания знания как отражения действительности. По этой теории, писал философ, мы всегда имеем дело с копией действительности, существующей параллельно жизни, и никогда не знаем самой реальности (что с печалью констатировал великий немецкий ученый и философ И.Кант), а познаем лишь ее холодное «зеркальное отражение» — мы оказываемся всегда в «Зазеркалье», фантастической стране, чаще всего в стране «мертвых объектов» познания, а не живой действительности.

«Живое знание» — вот чего жаждет человек. В своей философии И.Ильин так же, как и его единомышленники, идет не от рационального познания мира, а от бытия, когда оно не противостоит нам, а есть в нас и с нами. Целостность мира и явления может быть схвачена только целостным же методом, всеми «способностями души» человека в единстве: жизненный опыт, чувственное пережива-

ние, созерцание (далее мы раскроем это важное для педагогики понятие), память, мышление, интуиция, озарение, узнавание.

И.А.Ильин исследовал сложнейшие проблемы познания, актуальные для творческого педагога. Метод познания, им разработанный, поистине гуманный, человечный, так как, исследуя процесс познания, Ильин исходит из понимания целостности человека, его сущности. Он не приемлет узкого, рационального, схематического познания, сужающего самого познающего. Мыслитель в основном говорил о философском познании фундаментальных основ бытия, что само по себе важно для становления мышления учащегося, но мы у него находим утверждение, что предлагаемый метод действителен при познании любого явления, предмета.

Метод И.А.Ильина следующий. Прежде всего исследователю нужно вызвать в себе реальное переживание предмета, который он хочет исследовать, для чего необходимо напряжение воли, внимания, воображения, чувств, памяти и мысли. Как любит выражаться философ, исследователь должен превратить свою душу, свой внутренний мир и свою жизнь в орган своего предметного опыта. Далее идет напряженный процесс вглядывания в сущность внутренне данного опыта переживания этого предмета. Наконец, необходимо перевести увиденное и прожитое в понятия, ясные и четкие, выраженные в таких же ясных и понятных словах.

И.А.Ильин утверждает, что познание, понимание сложных процессов бытия, человека, человечества невозможно только на основе теоретического, рационального, логического обоснования (хотя и это все втягивается в процесс познания), нельзя рассудочное, рациональное познание абсолютизировать. Познание и понимание возникают в результате активизации всей целостности внутреннего мира, всех «механизмов» познания, во-первых, а во-вторых, лишь на основе собственного, личного опыта человека. Путь к истине и смыслу человек может пройти только сам, постепенно накапливая духовный опыт.

Из вышесказанного возникает проблема для учителя, как перевести изучение явления во внутреннее целостное проживание учащегося, чтобы он рос, развивался вместе с познанием предмета, становился как человек, а не был бы функцией рассудка и памяти.

Познающий индивид в течение жизни очищает свою душу от мелочей, суеты, зависти, доминирующих забот о материальном и т.д. и систематически дает предмету познания входить в его душу. Таким образом приобретается и обогащается духовный опыт, необходимый для познания фундаментальных процессов бытия, невидимых, не схватываемых чувством, познания глубин мира.

И.А.Ильин говорит о том, что предмет философа — утонченный и ответственный. Но не то ли относится также и к «предмету» учителя, преподавателя? Если это так, то положение Ильина о том, что ученый, философ должны «переделывать свою собственную духовную личность и свою жизнь» соответственно «духовному предмету», относится и к учителю. Предмет учителя любой специальности —

помогать творению в ученике человека. Но это требует от учителя величия и благородства души. Иначе будет псевдопедагогика, лишь видимость учительской деятельности, из нее окажется вынутым содержание.

Одним из важных понятий теории познания И.А.Ильина является понятие «созерцание», то есть вглядывание внутренним оком в существование и сущность предмета. Он пишет о необходимости дара созерцания для исследователя. Развиваем ли мы, педагоги, этот присущий человеку дар? Нет, чаще всего мы стремимся забросить в сознание ученика как можно больше информации, фактов, разрозненных предметов познания, спешим нагрузить сознание ученика хаотичным хламом научных фактов и явлений.

Мы не даем ученику возможности созерцать, «отвлекаться» от речений «демиурга» — учителя, строгого вещателя и контролера.

Но понять абсурдность такого учения может только учитель, имевший опыт личного проживания предмета исследования: явлений мира, добра и зла, любви к человеку, произведений искусства, наконец, красоты своего собственного учебного предмета. Учитель-рационалист уподобляется строительному крану, переносящему факты из книг в голову ученика, что и абсурдно, и опасно для учащегося.

Проблему образования и созерцания, в том числе научного, И.Ильин тесно связывал с верой. Веру он понимал в широком смысле — утверждал, что люди могут не верить в Бога, но это не означает, что они не верят во что-то другое, имеющее для них абсолютную ценность. Часто за веру принимается истина. На деле вера нечто большее, чем истина. Он критиковал тех, кто отрицал веру, считая, что безверие и безбожие несет в себе роковое недоразумение или заблуждение. Ильин подчеркивал, что в жизни часто противопоставляются «знание» и «вера». Философ полагал, что чем дальше стоит человек от научной лаборатории, тем более он склонен преувеличивать достоверность научных предположений и объяснений. По его мнению, полуобразованные люди верят в науку, как будто ей все доступно и ясно. Настоящие образованные люди и ученые знают границы своего знания и понимают, что истина — их трудное задание и цель. Они понимают, что научная картина мироздания все время меняется, все осложняясь и углубляясь, уходя в детали и никогда не давая ни полной ясности, ни единства. Ильин пояснял, что настоящие ученые понимают ограниченность своих открытий и их условность, многие питают живую веру в Бога, храня в себе ощущение глубокого, таинственного и священного. Он утверждал, что ученость не уводит от Бога, а ведет к нему.

Будучи религиозным философом, И.Ильин постоянно обращается к христианским ценностям — вере, любви, свободе, совести, которые должны войти в дух и плоть познания мира. Их объединяющим моментом, согласно И.Ильину, да и всей русской философской традиции, являются красота и гармония. Царство Духа — это царство гармонии. Явленная гармония есть красота. Гармоничное

состояние — истинное состояние, поскольку соответствует природе единого мира, и потому оно благо.

Когда-то античный мыслитель Протагор выдвинул принцип: «Человек — мера всех вещей, видимых и невидимых». Русские философы на это смотрели по-другому, они считали, что красота — мера всех вещей, видимых и невидимых. Это нисколько не умаляет человека, поскольку мироздание, космос, природа говорят с человеком и только с человеком языком красоты. Через красоту человек включается в целое мира как субъект миростроительства. Русские мыслители определенно заявляли о духовной, или онтологической, то есть объективной, природе гармонии, соединяющей разрозненные элементы вселенной в единый и упорядоченный Космос, где всякая часть мироздания существует для целого, а целое существует для всякой части (идея высшей соборности). Поскольку красота есть представленность во внешней выразительности высокого развития, совершенства вещи, проявленность полноты творческой сущности бытия и человека, потому она так высоко и ценится всеми людьми, чаще всего неосознанно, интуитивно.

Естественно, что гармоничное состояние на земле может возникнуть лишь в результате глубокого духовного развития человека, всех людей. Пока мы этого не имеем, гармония и красота, по мысли русских философов, во всей полноте осуществляется в шедеврах искусства, где духовная высота находит свое адекватное воплощение в выразительных художественных явлениях. Отсюда особая миссия искусства и эстетического воспитания. Русские мыслители в эстетическом видели фундаментальное состояние бытия, в символах искусства — просвечивание сквозь плоть художественного произведения энергии духовного мира.

Ключевые понятия, раскрывающие красоту, — бытие, свобода, творчество, любовь, добро, правда-истина, то есть жизнь в духе. Духовность есть высшая степень и цель мирового развития. Цель образования — тоже развитие, становление человека как человека. И потому целостность, цельное знание, красота, гармония должны органично войти, по мысли И.Ильина, в содержательное поле образования.

Трактовка И.А.Ильиным искусства и процесса художественного творчества является естественным продолжением его философского понимания мира. Философия в искусствоведческих работах Ильина выступает как методологическая основа объяснения явлений искусства, что обеспечивает адекватность предмету исследования, и отсюда — верность понимания философом сути искусства и глубина его анализа конкретных художественных произведений.

Книга И.А.Ильина «Основы художества. О совершенном в искусстве» представляет собой основательное и цельное исследование по эстетике, едва ли не единственную фундаментальную работу о сущности искусства в русской классической философии. Книга является образцом научности и исследовательской добросовестности (корректности). Ее теоретические положения тщательно выверены.

В основе работы лежит актуальнейшая сегодня — во время разгула субъективизма, безвкусицы и безответственности в искусстве — идея о существовании объективных ценностей прекрасного, объективности законов искусства и художественного вкуса. До сих пор она представляет собой, может быть, самый глубокий и фундаментальный труд по теории искусства в России. В ней дан плодотворный, на наш взгляд, метод осмысления самой сути, или признаков художественности, конкретного произведения искусства, то есть того, что учителю литературы приходится делать на каждом уроке.

Мы уверены, что образованность человека будет неполной без проработки данного труда И.А.Ильина. Для учителя литературы и вузовского преподавателя-филолога его книга должна стать настольной.

Именно духовный опыт ведет как художника, так и мыслителя к созданию значительного произведения. Люди различны, но предмет один и истина одна. Отсюда необходимость приспособления субъективного своеобразия к объективной природе предмета, необходимость адекватного «переселения» предметного содержания в личный опыт. Для того чтобы верно познавать, художник должен жить так, чтобы его предмет становился его собственным жизненным содержанием: он должен жить тем, что познает, так, чтобы его личная жизнь стала жизнью предмета в нем.

И.А.Ильин также решительно отвергает субъективные мнения об искусстве, высказывания на тему, что нравится или не нравится в произведении. «Мне нравится» — так судит обыватель, не живущий духовным измерением вещей и явлений, так судит толпа, не причастная духовной культуре». И.А.Ильин формулирует «аксиому духовной культуры»: «не предмет качествует через мое одобрение, а мое одобрение качествует через верное признание предметного достоинства». В связи с этим философ пишет о кризисе современного искусства и кризисе художественного вкуса. Восторжествовали вкусовщина и борьба личностных подходов, утративших философскую методологию. В искусстве перестали видеть его главный предмет — духовное начало мира и человека.

И.А.Ильин разрабатывает метод, на основе которого становится возможным объективный анализ художественного произведения, при этом оставаясь анализом художественности произведения, а не перечислением побочных для искусства его составляющих — таких, как тема, идея, проблема, сюжет, оценка социальных явлений, чувств и т.п., то есть всего того, что является лишь строительным материалом для образной системы (в некоторых видах искусства, в музыке, например, и этого нет: термин «тема» там имеет иной смысл, чем в литературе, кинематографе и т.д.).

Опираясь на философию, И.А.Ильин выявляет условия восприятия духовного состава художественного произведения. Такими условиями являются богатство духовного опыта воспринимающего произведение искусство, схватывание произведения всей целостнос-

тью своего внутреннего мира: и духом, и психикой, и сознанием, и внесознательной сферой, и переживанием, и мышлением, — словом, «всем собой». Поскольку произведение искусства есть форма духовности, то и объективное прочтение этого требует акта духовного. Он состоит в том, что человек, воспринимающий произведение, находится на «больших высотах обозрения» мира, он подымается сам на те высоты, которые заключены в произведении искусства.

Любитель искусства, литературный критик, искусствовед, учитель словесности могут адекватно воспринимать художественное произведение только в том случае, если они имеют опыт вбирания в себя объекта, уподобления себя объекту, отбрасывая все личные пристрастия. Ибо только духовный человек может понять, что произведения искусства измеряются не субъективным «нравится — не нравится», но объективным совершенством: особым критерием совершенства, не «умственно-мысленно-познавательным», не «гражданственно-лояльным» или «прогрессивно-социальным», «...а особым — художественно-эстетическим, не сводимым к другим критериям и не разложимым на элементы. Художественный критерий есть особый критерий и художественный суд есть особый суд». Восприятию произведения искусства должно предшествовать «очищение души», освобождение ее от корыстных, суетных моментов, подготовка к чистому, незамутненному принятию в себя духовно-художественного состава произведения. Такой опыт формируется и обогащается в течение всей жизни человека.

Опорами в художественном осмыслении произведения искусства являются вводимые И.А.Ильиным категории: «художественное совершенство», «художественный предмет», «художественный акт», «эстетический образ».

Философ выстраивает следующие подходы для проникновения в понятие «художественное совершенство». Он указывает на слитность и взаимопроникновение трех слоев художественного произведения:

1) материя искусства, внешне чувственный слой;

2) эстетический образ (его можно понять как внутреннюю структуру произведения);

3) художественный предмет.

Приведем встречающиеся в работах И.А.Ильина выражения, относящиеся к художественному предмету: сокровенная сущность мира, основное духовное содержание, мировая тайна, само сущее бытие, сила бытия, недра бытия, горные вершины бытия, видоизменения мировой сущности, объективный состав мироздания, Божья идея, звездный мир, священное дуновение уст Божьих. Итак, художественный предмет — это индивидуализация всеобщего духовного момента, конкретная сторона глубинных процессов бытия или мироздания в целом — таков масштаб, задаваемый Ильиным искусству как духовному образованию. И тогда совершенство произведения, или, что то же самое, его художественность, определяется тем, насколько точно выразился, ожил, полу-

чил существование художественный предмет в «эстетической материи».

Искусство есть единство духовного состояния мира и его формального осуществления в данном произведении: подлинное предстояние бытия в эстетической материи и эстетических образах — невыразимое единство внутреннего и внешнего. И тот, кто оценивает, насколько художественно данное произведение, должен «душой и духом» внять, взять, обнаружить наличие (или отсутствие) бытийного масштаба в произведении и степень его выраженности: каждый штрих произведения искусства есть только проявление (жизнь) этого бытийного состава и больше ничего.

Художественный предмет, неоднократно подчеркивает мыслитель, не есть произвольная выдумка художника, он возникает в процессе вдохновения, созерцания художником «недр мирового бытия», «пульсации» мировой сущности. Результат подобного созерцания есть благодать, милосердие, любовь, прощение, молитва, совесть, преступление, томление, гроза, тревога, мрак, страдание, озаренность, вознесенность, глубина, гармония, чистота.

Поднимаясь на высоту данных переживаний, Ильин по-новому интерпретирует и сам «художественный акт» как со стороны творца, так и со стороны воспринимающего его:

1. Художник «берет» своим внутренним миром то, что объективно предстоит ему и «прорекается» через него.

2. Анализ художественности возникает только при непосредственности «наивно-доверчивого восприятия» произведения искусства, что и составляет самую сущность художественного общения людей.

В своих сочинениях И.Ильин предстает не только как философ—эстетик—искусствовед, но и как блистательный литературный критик, осмысляющий прозу И.А.Бунина, А.М.Ремизова и И.С.Шмелева («О тьме и просветлении. Книга художественной критики...»). На материале интерпретации творчества этих великих русских писателей XX века, которых И.А.Ильин любил и знал лично, мы должны учиться у мыслителя постигать тайну художественности произведения искусства. Каждому из этих писателей посвящена отдельная обширная глава; в них мыслитель подробным образом анализирует творчество названных писателей, приводя пространные выписки из их произведений. Внешне анализ напоминает обычные литературоведческие разборы творчества писателя. Но какая разница по существу!

Когда литературный критик использует метод анализа, обращенный к внешней стороне произведений, суждения о произведении приобретают характер случайности и необязательности. Когда же в таком случае применяется метод, коренящийся в философском, целостном охвате мира бытия, проясняется корень, источник всего «древа», и тогда характеристики оказываются необходимыми. Ильин оставил нам — эстетикам, искусствоведам, учителям — завет, как исследовать искусство. И это сегодня так же актуально, как и во времена И.Ильина.

В России XX века долгие годы господствовал антигуманный и антинаучный способ изучения художественной литературы в школе (и в вузе). Искусство представлялось лишь как способ познания общества и человека в качестве представителя того или иного класса, средство пропаганды «прогрессивных» идей. Создатели этого метода называли его «утилитаристским» (основатели — Белинский, Чернышевский, Добролюбов, название метода принадлежит Г.В.Плеханову). Его можно назвать вульгарно-социологическим. В конечном счете искусство было направлено на службу пропаганде идей новой власти. Обезличивался не только писатель, но и читатель, ученик: он был обязан, вопреки собственному проживанию произведения, затвердить пропагандистские идеи, для которых данное произведение служило лишь поводом. В.И.Немирович-Данченко в связи с этим писал: «Если играть Катерину, скажем, «по Добролюбову», то образ перестанет быть предметом искусства, а сделается предметом кафедры социологии» (В.И.Немирович-Данченко о творчестве актера. М., 1984, с 291). От такого подхода страдало эстетическое художественное воспитание, без которого формирование гуманной личности невозможно, так детей отучали от искусства.

К сожалению, данный метод доминирует до сих пор. Об этом, например, пишут профессор МГУ И.Ф.Волков, академик РАО В.В.Краевский. Более того, этот подход закреплен в последних госстандартах школ России, которые требуют от учащегося «раскрыть идейный смысл», «указать конкретно-историческое значение образов», дать «идейно-художественный анализ» произведения художественной литературы. (Кстати, выражение «идейно-художественный смысл» является полной бессмыслицей.) Согласно этим требованиям, А.П.Чехов, например, преподносится как заурядный социолог. Сегодня учеников убеждают, что пьеса «Вишневый сад» показывает борьбу буржуазии с помещиками за земельные участки. Если до 1991 года учили, что Лопахин выражает прогрессивную победу вчерашнего крестьянина над «плохими» помещиками, то теперь учат, что «хороший», активный буржуа побеждает ни на что не способных помещиков. Вот она — конъюнктура! Пьеса А.П.Чехова — прежде всего образец красоты и гармонии. Она дает сам образ прекрасного, для чего и существует искусство. Но красота в пьесе окрашена печалью, так как человек нового времени не в состоянии удержать красоту перед напором жадного до материальных благ буржуа, дурно понимающего пользу. Как воссоздает Чехов красоту в пьесе — вот что надо дать прожить учащимся. От вульгарного подхода к искусству страдает ученик, его духовный потенциал гасится, а в целом страдает нравственное развитие общества.

Вот почему так актуален сегодня метод анализа художественного произведения, разработанный И.А.Ильиным. Философ идет от самой природы искусства и его назначения в мире как особого рода деятельности человека, отличной от других ее видов. Работы мыслителя не только вооружают учителя и преподавателя ценнейшим и глубоким учебным материалом, еще не вошедшим в педаго-

гическую практику, но и дают толчок для самостоятельной мысли педагога.

В художественном произведении могут быть и оценки социальных явлений, и психические движения человека, и острые мысли, прекрасно выраженные (а могут и не быть, как в ряде инструментальных музыкальных произведений, в архитектуре, орнаменте, пейзажной живописи и т.д.), но все эти явления, ценные сами по себе, в художественном произведении вписываются в нечто более глубинное, высокое, истинно человеческое и человечное — в духовное бытие.

Отсюда задача педагога — не ограничиваться социальным анализом произведения искусства (социальное — материал произведения), а увидеть и показать детям ту сферу духовного бытия, которую проявил конкретный художник в своем произведении, и то, как он это сделал, как явил нам духовность, красоту и гармонию.

Но в педагогике «показать» все это — недостаточно. Согласно учению И.А.Ильина, ученик должен сам пережить эти духовность, красоту и гармонию, тем самым приобретая духовный опыт и опыт проживания красоты — другой стороны добра и истины. Так творится богатство внутреннего мира человека.

Не останавливаюсь здесь на конкретной методике осмысления художественного произведения, разработанной И.А.Ильиным. Читатель найдет ее в настоящем издании, во фрагментах книг философа «Основы художества. О совершенном в искусстве», «О тьме и просветлении».

В рассуждениях Ильина о воспитании заложен глубокий смысл образования личности. Философ уделяет значительное внимание появлению гения, национального героя, анализирует их творчество, подчеркивая предмет особой патриотической любви. Национальный герой в его понимании тот, кого мы сегодня можем назвать лидером. Гений и национальный герой несут отпечаток жизни своего народа, учат духовной победе, указывают путь всем, ведущим «полутворческую жизнь», открывают прямой доступ к свободе и «божественным содержаниям». Главное при этом — достичь единения народа, национального строения и создания единой христианской культуры.

В последние десятилетия своей жизни И.А.Ильин, находясь за границей, испытывал тоску по родине. Это нашло отражение в его работах, посвященных русской идее и русской философии. С ностальгией говорит он о величии человека, несущего в себе черты и культуру своего народа. В статье «О национальном воспитании» он излагает программу воспитания русского человека.

Работа И.А.Ильина «Наши задачи. Статьи 1948—1954 гг.» состоит из статей, написанных по определенному плану и публиковавшихся за рубежом в периодических бюллетенях «Русского Общевоинского Союза». Основной задачей тематических выпусков было укрепление русского самосознания (сейчас говорят о «национальной идентичности») и духовности в русском образованном слое. Педагогическая направленность работы очевидна.

Книга И.А.Ильина «Наши задачи» стала знаменитой. Интерес к ней снова вспыхнул в 90-е годы прошлого века, сохраняется он и сегодня.

Концепция образования и воспитания И.А.Ильина требует творческого осмысления, поскольку он дает программу человека, способного создавать нечто ценное для развития страны и отечественной культуры. Таков его завет нам, оставленный им в последней книге — «Путь к очевидности».

Ю.А.Огородников

ОТ ПЕРВОГО ЧИТАТЕЛЯ

Распалась дней связующая нить,
Как мне обрывки их соединить?
У.Шекспир

Книга И.Ильина появилась тогда, когда мы все острее осознаем необходимость ясной и четкой позиции по отношению к духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Речь не идет о потребности в составлении жестких правил и норм, регламентирующих жизнь современного школьника. Речь идет об утрате многих ценностных ориентиров, которыми традиционно была сильна отечественная педагогика, невзирая на ту или иную идеологическую установку. К сожалению, мы наблюдаем много не слишком удачных попыток административного решения вопроса путем введения разнообразных курсов типа «Православная культура», которые не подготовлены ни нашей жизнью, ни профессиональными кадрами, что только усиливает общую беспомощность этих попыток. В этом смысле работы И.Ильина дают новый импульс к изучению этого вопроса. Наши метания в поисках новых форм организации внеклассной деятельности в отсутствие общественных организаций, открытие различных спецкурсов и кружков не строятся на осмыслении прошлого опыта. Идеи И.Ильина лежат в контексте исторического времени, и вырывать их из этого контекста нельзя. С ними нужно познакомиться, постараться понять закономерность их появления и проникнуться важностью идеи преемственности философских и педагогических традиций, обогащающих наш опыт. История, как известно, развивается по спирали. Мы часто возвращаемся к идеям, которые подчас кажутся архаичными. Но между тем Россия всегда славилась борцами за идею, такими, каким был, например, протопоп Аввакум. На новом историческом витке многие из идей таких борцов воспринимаются в новом свете. Таков и И.Ильин, сердце которого болело о судьбе русского человека, о судьбе русской, да и всей мировой культуры в нечеловеческий XX век. Без его интереснейших рассуждений наша культура останется крайне недостаточной.

М.А.Фоминова

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ*

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!..
А.С.Пушкин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана для ищущих; для тех, кто еще не «имеет», но хочет «иметь»; хочет — глубоко и искренно. Эта книга написана для сомневающихся; — не ироническим, разъедающим и, в сущности говоря, уже отрицающим сомнение, но вопрошающим, творческим сомнением, идущим из глубины сердца. Таким сомнением в свое время сомневались Сократ, блаженный Августин и Декарт; и сомнение их нашло себе творческое преображение и привело их к очевидности.

Наше время ни в чем так не нуждается, как в духовной очевидности. Ибо «сбились мы» и «следа» нам не видно. Но след, ведущий к духовному обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно. И мы найдем его.

Каким способом?

Единственным, который вообще дан человеку: углублением в себя. Не в свою личную, чисто субъективную жизнь; не в свои колеблющиеся, беспредметные «настроения»; не в праздную, гложущую и разлагающую рефлексию. Но в свое сверхличное, предметно-насыщенное, духовное достояние. Пусть оно будет невелико; пусть оно будет подобно искре. Но в искре есть уже сила искренности; ибо искра есть пылинка вечного, божественного пламени...

Нельзя сомневаться «во всем», даже в самом сомнении своем. Это уже смерть и тление. Сомнение, если оно есть, — испытывается

*Работа И.А.Ильина «Путь духовного обновления» впервые опубликована в 1935 году, в полном объеме — в 1958 году.

Фрагменты взяты из тома 1 Собрания сочинений в десяти томах И.А.Ильина (М.: Русская книга, 1993), а также из книги «Путь к очевидности» М., 1993. (Серия «Мыслители XX в.»).

остро и мучительно: оно подлинно; оно несомненно; оно есть воля к истине, рожденная любовью и жаждою уверенности. Кто так сомневается в Боге и в правде, тот уже любит Бога и правду; и любовью он их найдет, ибо их вообще можно найти только любовью. Такое сомнение — духовно; оно уже есть живой дух; и человеку, который так сомневается, духовный опыт уже открыт и доступен.

Итак, эта книга написана для сомневающихся; для тех, в ком живет такое сомнение. Она пытается указать им путь. Не пройти этот путь за них или с ними; а лишь указать. Идти человек может только сам, в своем внутреннем духовном опыте, который неизбежно приведет его и к внешним поступкам; ибо настоящий и зрелый духовный опыт всегда выражается и заканчивается в целостных и творческих делах. Ни жить, ни творить «за других» нельзя. Жить и творить должен каждый сам. И это удастся ему тем больше и тем лучше, чем глубже он укоренится в своем собственном, выстраданном и вымоленном духовном опыте...

Эта книга пытается указать только путь. Она скромна по своим задачам. Она ни по одному вопросу не высказывает всего, что хотелось бы высказать; и каждая глава ее таит в себе целое исследование, иногда даже не одно; опытный и зоркий глаз увидит это сразу. Здесь изложено только то необходимое, путеводное, без чего нельзя начинать, что прежде всего надо довести в себе до очевидности, до полной и окончательной, непоколебимой и не угасающей уверенности; только те основы духовности, без которых нельзя начинать самую борьбу за родину. Это первые, фундаментальные вопросы, вопросы бытия. Мало прочесть «о них», прочтя, надо решить их для себя. Они выдвинуты здесь в противовес и в отпор мировому соблазну нашего времени. Не решив их с силою очевидности, нельзя надеяться на свои силы при встрече с этим соблазном.

Этот соблазн дан нам нашей эпохой. Но «человек не должен жаловаться на свое время: из этого ничего не выйдет; время плохое, ну что же, на то человек живет, чтобы сделать его лучше... Начинай же! Только этим ты сделаешь невозможное возможным» (Карлейль).

Современный мир переживает глубокий кризис — религиозный, духовный и национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому из нас найти прежде всего в самом себе; творчески создать его; убедиться и удостовериться в его верности. И только потом можно будет указать его другим. Надо самому начать быть по-новому. Обновленные люди, одолевшие соблазн, найдут друг друга. Найдя, они заткут новую ткань духовного бытия. Это единственный путь. Иного нет.

Задача моей книги — указать на этот путь и утвердить его верность.

Автор
1932—1935

Глава первая
О ВЕРЕ

Прежде всего снимай с очей ума твоего покровы, содержащие его в ослеплении.
Феофан Затворник

1. Мы все верим

Есть у нас довольно распространенное воззрение, будто люди могут прожить жизнь без всякой веры и будто «образование», а в особенности «научное образование», — несовместимо с верою. Образованный человек, думают люди, не может верить: он слишком много «знает»; и «самое существенное» он уже «понял»; так, например, он знает, что все совершается по законам природы и что эти законы природы рано или поздно будут изучены; во что же ему еще верить? Сущность культуры и прогресса сводится к следующему: идет просвещение, а вера уступает и исчезает. Согласно этому, верить могут лишь те, кого еще не коснулось просвещение; но вот придет время, — они будут просвещены и перестанут верить, ибо на самом деле всякая вера есть не что иное, как суеверие. Итак, будущее принадлежит просвещенному безверию и безбожию.

Тот, кто хочет зорко и верно видеть происходящее и особенно понять и одолеть переживаемый нами духовный кризис, — должен прежде всего вдумчиво отнестись к этому воззрению и критически разобраться в нем; ибо оно укрывает в себе не одно роковое недоразумение или заблуждение.

Бесспорно, есть немало людей, которые не верят в Бога. Но это совсем не значит, что они ни во что не верят и что поэтому их можно причислить к людям, живущим без всякой веры. Ведь возможно, что они верят не в Бога, а во что-то другое... Во что же? В нечто такое, что они принимают за главное и существенное в жизни; что действительно для них и есть самое важное; чем они дорожат и чему они служат; что составляет предмет их желаний и стремлений. Такое отношение и есть отношение веры; и кто имеет такой предмет, тот верит в него.

Этим мы вскрыли первое недоразумение, первый предрассудок: люди обычно думают, что «верить» — это то же самое, что «признавать за истину». На самом деле это не так: вера есть нечто гораздо большее, более творческое и более жизненное. Мы все считаем «истиною» таблицу умножения, геометрические теоремы, химические формулы, географические данные, установленные исторические факты, законы логики; мы совершенно уверены в том, что они верны, что мы спокойно можем пользоваться этими истинами и применять их в жизни. Мы это и делаем, и притом уверенно и успешно: высчитываем, путешествуем, строим, наблюдаем природу, спорим, доказываем, составляем и принимаем лекарства и т.д. И что же? Все выходит, удается, подтверждается. То, что мы признали в теории за

истину, оказывается и на практике правильным и верным. И мы все это знаем; и согласно этому мы в жизни и действуем. Но о вере здесь нет еще и речи...

«Верить» — это гораздо больше, чем «признавать за истину». И так обстоит и в теории, и на практике. Есть холодные истины, к которым мы и относимся холодно; мы устанавливаем их и пользуемся ими равнодушно или, самое большее, с некоторым «уважительным» «интересом». Мы узнаем о них и признаем их, не воспринимая их глубиною нашей души; мы подтверждаем их и соглашаемся «опираться» на них теоретически и практически, отнюдь не отзываясь на них сердцем. Они дают нам известную уверенность, но только во второстепенных делах, не в главных и важнейших вопросах нашей жизни. Они светят нам наподобие уличных фонарей, без которых нам было бы и неудобно, и неуютно: но душу нашу они не согревают и не воспламеняют. Тысячу раз мы пройдем мимо них, или примем их во внимание, или даже воспользуемся ими без того, чтобы могучие и творческие источники нашей души пришли в движение; напротив — там все остается безразличным, молчаливым и неотзывчивым. Кто из нас начнет «верить» — в классификацию химических элементов, открытую Менделеевым, в таблицу логарифмов, в хронологический обзор событий 19-го века, в горную карту Европы или Азии? И даже тот из нас, кто усомнится в этих «законах» или «истинах» и начнет критиковать их или опровергать, — поколеблется не в вере, а только в познавательной уверенности.

О вере позволительно говорить только там, где истина воспринимается глубиной нашей души; где на нее отзываются могучие и творческие источники нашего духа; где говорит сердце, а на его голос откликается и остальное существо человека; где снимается печать именно с этого водного ключа нашей души, так что воды его приходят в движение и текут в жизнь.

Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает как самое главное в своей жизни. Скажи мне, что для тебя самое важное в жизни, и я скажу, во что ты веришь. Душа твоя прилепляется к тому, во что ты веришь, и как бы живет и дышит им; ты желаешь предмета своей веры, ты ищешь его; он становится источником твоей радости и остается им даже тогда, когда тебе его не хватает. Здесь пребывают твои чувства и твое воображение. Словом, здесь реальный центр твоей жизни: тут твоя любовь, твое служение; тут ты идешь на жертвы. Здесь твое сокровище; а где сокровище твое, там и сердце твое; — там и вера твоя.

И вот, сколько бы мы ни искали, мы не найдем такого человека, который ни во что не верил бы. Чем глубже заглянем мы в человеческую душу, тем скорее мы убедимся, что человек без веры вообще не может жить; ибо вера есть не что иное, как главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его стремления и поступки.

Правда, не всегда легко установить, к чему прилепляется и тянется тот или другой человек... Иными словами: где бодрствует его

душа? где она загорается? что для нее выше всего? в чем сокровище его жизни? где он способен жертвовать? Может быть и так, что он и сам этого не знает; или еще так, что, по-видимому, он в течение всей своей жизни «ни во что не верил»: явно относился ко всему безразлично, оставался тепло-прохладным; он как бы прозябал всю свою жизнь, не имея никакого реального центра; ни от чего не зажигался; нигде душа его не вела интенсивной жизни; не было у него сокровища; ничему он не служил и не жертвовал. Однако жизненные наблюдения заставляют нас установить, что такие люди, такие безразличные, «проблематические» натуры являются обычно людьми с дремлющею верою. Пока над водами жизни царит безветрие, кажется, что их душа пребывает в тихой дремоте: мертвенно повисли паруса; малые волны повседневной жизни катятся мимо них без цели и смысла; ни воли, не свершений, ни судьбы. Но жизненная буря может изменить всю эту картину. Потрясенная, возмущенная, может быть раненная, душа пробуждается ото сна, собирается с силами, отличает главное от неглавного, приемлет важнейшее и священное, совершает свой выбор, решение следует за решением, поступок за поступком, — и жизненный корабль, руководимый верою, плывет на всех парусах. И если присмотреться к человеку в такой жизненный час, то всегда обнаружится, что процесс внутреннего отбора и оформления совершался уже давно, — но в глубине, сокрытой от глаз, и как бы в некоторой медлительности. Где-то там, в таинственной тишине, уже возникала «твердь среди воды» и «свет» уже отделялся от «тьмы»... Но вот настал час страдания и воззвал голос великой беды; и что же? — все сложилось и созрело в кратчайшее время так, как если бы оно только и ожидало этого часа и этого голоса. Можно было бы сказать: знамя уже развевалось, — но мрак царил, и его не было видно; и исповедание уже сложилось, — но пребывало в безмолвии; и выбор был уже совершен, и путь был предначертан, — и оставалось только пойти по этому пути...

Жить на свете — значит выбирать и стремиться; кто выбирает и стремится, тот служит некоторой ценности, в которую он верит. Все люди верят: и образованные и необразованные; и умные и глупые; и сильные и слабые. Одни со-

NB *Высказана чрезвычайно важная мысль, которая убеждает в необходимости осознанного отношения к жизни. Как часто сталкиваемся мы с проявлениями абсолютного неприятия такой осознанности у наших детей, так или иначе ищущих своего места в жизни. Как часто сталкиваемся мы с теми, кто предпочитает плыть по течению, потому что выбирать — значит осознать ответственность за свой выбор, а стремиться — это значит проявить волю. А если есть только неуверенность и тревога? Пожалуй, здесь поднят один из важнейших вопросов, без ответа на который самоопределиться в жизни практически невозможно. Кроме того, связь выбора (и средств, обеспечивающих его достижение) с ценностными ориентирами в значительной мере определяется уровнем нравственной зрелости личности.*

знают, что они верят; другие верят, не сознавая этого. Одни знают и то, что они верят, и то, во что они верят; а может быть, ни разу в жизни не подумав, во что же это они, собственно говоря, верят и есть ли у них какие-нибудь основания для этой веры. Но вера всегда остается первичной силой человеческой жизни, — совершенно независимо от того, понимают люди это или нет. Человеку дана возможность дорожить своей верой, беречь ее, укреплять, очищать и углублять; как бы строить ее и воздвигать на ее основе свое миросозерцание и свой характер; формировать ее содержание в виде догмата и символа веры; создавать на этом фундаменте церковь и богослужение; превращать ее во всеохватывающую целокупность жизни и смерти. Однако человек имеет и другую возможность: пренебрегать своею верою, оставлять ее на произвол случайностей, пронизывать ее предрассудками и суевериями, превращать ее в слепой и разрушительный фанатизм или же отводить ей один уголок своей души, и притом самый трусливый и лицемерный. Человек может заблуждаться в своей вере и идти по ложным путям; он может разочаровываться в своей прежней вере и отходить от нее; хуже того, он может изменять своей вере по расчету и «продавать» ее. Но в одном человеку отказано, одного он не может: именно — жить без веры.

2. Вера и жизнь

Кто однажды поймет и продумает это, тот перестанет делить людей на живущих «с верой» и живущих «без веры» или, во всяком случае, тот перестанет придавать этому условному и неточному делению прежнее значение; и благодаря этому он избавится от многих мнимых проблем, от целого ряда бесполезных парадоксов. Напротив, он поставит новый и чрезвычайно поучительный вопрос: во что же, собственно говоря, верят так называемые «неверы»? И если он сам причислял себя доселе к «неверам», к «безрелигиозным» или «безбожникам», — то во что же он сам при этом все-таки верил? Потому что оказывается, что он сам все-таки во что-то верил; это уже установлено. Верят все: и тепло-прохладный «свободомыслящий», и воинствующий безбожник, и ожесточенный материалист; верят и социалисты, и коммунисты, и гонители христианства... И чем решительнее эти «враги веры» нападают, чем ожесточеннее их преследования и воздвигаемые ими гонения, тем яснее они обнаруживают, что у них есть в виду нечто такое, что они считают «главнейшим» и «важнейшим»; они воображают, будто владеют какой-то важнейшей и драгоценнейшей истиной, к которой они прилепились душой и волей. Они считают себя «неверами»? Они объявляют себя «безбожниками»? Пусть. Этим они хотят только подчеркнуть, что они не принадлежат ни к какому определенному исповеданию, кроме... собственного, разделяемого ими самими; что они не входят ни в какую церковную общину, кроме... своей собственной общины, которую они не хотят назвать «церковью» (обозначая ее как «партию», или как «орден», или как «международное общество»)... Да, они не

верят в Бога; но это означает, что они верят не в Бога, а во что-то иное. Они критикуют или поносят веру вообще... Этим они, как настоящие фанатики своей веры, объявляют, что они признают только свою веру обоснованной, единственно верной и единственно допустимой; все же остальные веры и исповедания они относят к «глупым предрассудкам» или «вредным суевериям». Они воображают, будто они одни владеют тем спасительным словом, той непогрешимой правдой, которая освобождает и оплодотворяет благие, творческие силы человека; будто им одним известно то начало, тот принцип, который верно отличает «главное» от «неглавного», «доброе» от «злого», который указует человеку верную цель его жизни и верный путь, ведущий к этой цели. Они — верят; и воображают, будто обладают истиной и единственно верной верой. И тот, кто читал писания воинствующих безбожников и присматривался к их разрушительной работе, тот не может не согласиться, что эта характеристика соответствует действительности.

Но во что же верят те люди, которые верят не в Бога и потому считают себя «неверами» вообще, или «безбожниками»? Они верят во всевозможные небожественные силы и обстояния.

Большинство верит, по-видимому, в наслаждения, или особливо в чувственные наслаждения, во все, что к ним ведет или с ними связано; это для них — важнейшее в жизни; это их цель, это их путь; этому они служат, ради этого они жертвуют всем остальным; здесь у них критерий, по которому они отличают «хорошее» от «дурного», здесь их «сокровище» и их сердце. Есть такие люди, которые признают и выговаривают это открыто: «я хочу земного счастья, наслаждения и спокойствия, ибо это главное в жизни» (гедонизм); «я ищу в жизни денег и власти» (маммонизм); «главное в том, чтобы все люди несли одинаковую работу и имели одинаковые права, ибо только тогда они смогут одинаково наслаждаться жизнью, быть равно счастливыми» (социализм); «все дело в том, чтобы дерзновенно завладевать земными благами и безоглядно наслаждаться ими» (большевизм); «главное в том, чтобы дать массам земные блага и удобства, а для этого надо у всех все отнять (всеобщая пролетаризация) и всех подчинить монопольному работодателю (всеобщее хозяйственное и политическое порабощение, коммунизм)» и т.д.

Однако, наряду с этими течениями, есть немало таких людей, которые не выговаривают вслух своей веры и не признаются, в чем же она, собственно, состоит: одни из них просто избегают касаться этих вопросов; другие скромно ссылаются на свою внутреннюю неуверенность; третьи выдвигают теорию, в силу которой человек вообще не может иметь никакого «достоверного знания» (агностицизм); иные ссылаются на свое неотъемлемое право — оставаться «безразличными» и на свою обязанность — относиться терпимо ко всякому чужому верованию; иные же отступают в сферу проблематического «свободомыслия».... В известном смысле они правы: верить можно только искренно и свободно, а свобода требует веротерпимости; нельзя принудить человека к той или иной вере; и никто

NB *Автор высказывает интересную мысль о том, что вера у каждого человека может быть своя, он вправе высказывать суждения по этому вопросу или умалчивать о сути своей веры, но само наличие жизненных ценностей для человека необходимо. В этой связи необходимо самому осознавать значимость тех ценностей, которые движут человеком, человек должен активно строить свою веру. В этом Ильин видит ключ к современному духовному кризису. Мысль эта представляется чрезвычайно современной. Особенно это актуально в процессе становления личности. Здесь и нужно искать цели и задачи воспитания и развития личности ребенка. Сегодня это как никогда трудно. Многие ценности девальвировались. То, что предлагается взамен, зачастую не соответствует всем прежним устремлениям. Действительно, стремительно завоевал популярность успех как ценностный ориентир. Часто ли стремящиеся к успеху думают о том, какова нравственная цена достигнутого успеха? Что мы можем противопоставить этому? Насколько мы можем быть убедительными, доказывая, что лучше быть бедным, но честным, чем богатым, но непорядочным? К сожалению, наша жизнь предоставляет слишком много примеров, когда устремленность к успеху оказывается духовно разрушительной*

не обязан рассказывать другим людям вслух, во что именно и как именно он верит... Но видимое «безразличие» и явное умолчание, действительная скромность и насмешливая мистификация — не освобождают человека от неизбежности верить. Нельзя человеку не иметь определенной жизненной цели и жизненной ценности, в которые он верит и которым он служит. Однако психологически можно понять, что есть люди, у которых эта «высшая» и «главная» жизненная ценность такова, что для них выгоднее умалчивать о ней и замалчивать ее до конца. Ведь молчание создает некий загадочный мрак, в котором многое неразличимо и многое может остаться сокровенным... И не всегда бывает легко установить, кто молчит от настоящей религиозной скромности, а кто из умного или хитрого житейского расчета...

Если бы удалось однажды пронизать все человеческие сердца без исключения таинственным лучом света, так чтобы у всех выступила и въяве обнаружилась главная ценность жизни, составляющая предмет веры, то очень возможно, что мы все просто ужаснулись бы... Потому что, вероятно, оказалось бы, что большинство людей верит в нечто такое, что не только не обещает им ни блага, ни спасения, но что прямо ведет их к погибели. Люди живут и верят очень часто в слепоте и беспомощности; и не знают, и не догадываются о том, что человеку надлежит строить свою веру, а не предоставлять ей расти наподобие полевой травы; и вследствие этого люди очень часто верят, т.е. прилепляются не только своим «правдоподобным» мнением, а сердцем, волею и делами, служением и жертвенностью к таким жизненным содержаниям, служить которым и идти на жертвы ради которых поистине нет никакого смысла...

Вот ключ к современному духовному кризису, охватывающему все человечество. И овладев этим ключом, и поняв,

для человека. Сегодня мы только ищем ответ на вопрос, как совместить жизненные устремления с нравственной, духовной целостностью личности. Вера, прежде всего вера в Бога, — один из ответов на этот вопрос, который так остро ставит И.Ильин.

что происходит в мире, мы не можем не подивиться тому, что современному человечеству, в общем и целом, живется все еще так хорошо и слишком хорошо по сравнению с теми бедами и страданиями, которые могут возникнуть из этого кризиса...

Есть некий духовный закон, владеющий человеческой жизнью; согласно этому закону, человек сам постепенно уподобляется тому, во что он верит. Чем сильнее и цельнее его вера, тем явственнее и убедительнее обнаруживается этот закон. Это нетрудно понять: душа человека пленяется тем, во что она верит, и оказывается в плену; это содержание начинает господствовать в душе человека, как бы поглощает ее силы и заполняет ее объем. Веря во что-нибудь, человек постоянно ищет этого предмета, предпочитает его, занимается им и явно, и втайне; человек воображает себе этот предмет, вступает с ним в самые прочные отношения, желает его; этот предмет как бы занимает и поглощает его внимание, его сосредоточенность, его душевные силы. Это можно было бы выразить так: человек постоянно (то сознательно, то бессознательно) медитирует, т.е. сосредоточенно помышляет всеми своими душевными силами о том предмете, в который он верит. Вследствие этого душа вживается в этот предмет, а самый предмет, в который она верит, проникает в душу до самой ее глубины. Возникает некое подлинное и живое тождество: душа и предмет вступают в особое единение, образуют новое живое единство. И тогда мы видим, как в глазах у человека сияет и сверкает предмет его веры; то, во что ты веришь, сжимает трепетом твое сердце, напрягает в минуту поступка твои мускулы, направляет твои шаги, прорывается в словах и осуществляется в поступках...

Так обстоит всегда. Если человек верит только в чувственные наслаждения, принимая их за главнейшее в жизни, их любя, им служа и предаваясь, — то он сам превращается постепенно в чувственное существо, в искателя земных удовольствий, в наслаждающееся животное; и это будет выражаться в его лице и в его походке, смотреть из его глаз и управлять его поступками. Если человек верит в деньги и власть, то душа его постепенно высохнет в голодной жадности, в холодной жажде власти; и опытный наблюдатель прочтет все это в его взоре, услышит в его речи и не ошибется, ожидая от него соответствующих поступков. Если он поверит в классовую борьбу и завистливое равенство, то он сам скоро станет профессиональным завистником и ненавистником, и в глазах его отразится черствая злоба, а в поступках — политическое ожесточение и т.д.

Однако тот же самый закон обнаруживается и на благих путях, но с тем различием, что человек будет не «верить», а «веровать», и это придаст его вере особую силу и глубину.

Замечательно, что русский язык придает идее «веры» два различных значения: одно связывает веру с потребностью верить, а другое — со способностью веровать.

Верят — все люди, сознательно или бессознательно, злобно или добродушно, сильно или слабо. Веруют же — далеко не все: ибо верование предполагает в человеке способность прилепиться душою (сердцем, и волею, и делами) к тому, что действительно заслуживает веры, что дается людям в духовном опыте, что открывает им некий «путь ко спасению». В карты, в сны, в гадание, в астрологические гороскопы — верят; но в Бога и во все божественное — веруют. Терминология допускает такое словоупотребление: «верить» можно и в высшее — «я верю в Бога», «я не верю в бессмертие души»; но в низшее «веровать» нельзя. Нельзя сказать: «я верую в карты» или «я верую в дурные приметы». Подобно этому: в сильного человека, в вождя «верят», а не «веруют». В суеверия «верят» — верят от страха и боятся от своей веры; и чем больше боятся, тем сильнее верят; и обратно. Но в то, что подлинно есть (что не «всуе», не напрасно), — «веруют», и от этой верующей веры получают спокойствие и перестают бояться. «Верящие» люди чаще всего не имеют единого и общего им всем духовного предмета, и потому их вера разъединяет их, не создавая ни религии, ни церкви. Но «верующие» люди имеют единый и общий им всем духовный Предмет; они вступают в творческое единение с Ним, а через это объединяются и между собою; слагается религия и церковь.

Важно отметить, что оба эти оттенка, передаваемые глагольной формой, сливаются и как бы исчезают в существительном «вера». Вера живет и в том, кто «верит», и в том, кто «верует». Она выражает у обоих склонность души видеть в чем-то жизненно-главное и руководящее и прилепляться к нему своим доверием и преклонением. Но эта приверженность души поднимает человека на настоящую высоту только тогда, когда она находит себе высший и достойный предмет. Это различие между «верящим» и «верующим» человеком мы и будем соблюдать в дальнейшем изложении.

И вот если закон «отождествления через веру» обнаруживается уже на низших ступенях жизни и веры, то настоящей силы и полноты он достигает именно у верующих людей.

Если человек верует в Бога или хотя бы в божественное начало, проявляющееся в земных явлениях и обстояниях, — то божественные содержания становятся для него жизненным центром, и в созерцаниях, и в поступках чем-то важнейшим и главнейшим, любимым, искомым, желанным, и уже в силу одного этого — всегда присутствующим в душе обстоянием. Узреть с очевидностью лучшее, и не восхотеть его, и не осуществить его почти невозможно для человека; но также невозможно для него осуществить это лучшее и не стать самому лучшим, чем был раньше. Веровать в Бога — значит стремиться к созерцанию Его, молитвенно «медитировать» о Нем, стремиться к осуществлению Его воли и Его закона; от этого возрастает и усиливается божественный огонь в самом человеке; он очи-

щает его душу и насыщает его поступки. На высших ступенях такой жизни возникает то живое и таинственное единение между человеком и Богом, о котором так вдохновенно и ясновидчески писал Макарий Великий, характеризуя его как внутреннее «срастание» или «сраствореніе», от которого душа становится «вся светом, вся — оком, вся — радостью, вся — упоением, вся — любовью, вся — милосердием, вся — благостью и добротою»... Естественно, что от такого перерождения души изменяется и внешний вид человека, о чем он сам может и не знать, но что другим людям бывает трудно не заметить. (В Библии: Исход. Гл. 34, стих 29—30: сходя с горы Синая, «Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему...»)

Отшельник, проводящий свою жизнь в «богомыслии» и «богоделании» (по выражению Макария Великого), приобретает некую подлинную богоозаренность в душе и в ее телесном обнаружении. Подобно этому — душа истинного художника становится гармоническою, поющею, мерно-зданною, утонченно-созерцательною; и самое лицо его может стать ликом. Так, горящее сердце патриота укореняется в духе, силе и славе его родины. А тот, кто занимается черной магией и медитирует о сатане, незаметно становится сам, и по лицу и по голосу, дьяволообразным...

Кто во что верует, тот тем и живет; и обратно: скажи мне, чем ты живешь как самым важным для тебя, а я скажу тебе, во что ты веришь или веруешь. Ибо человек есть не что иное, как живая целокупность того, чем он живет и что он осуществляет, и притом именно потому, что он это любит и в это верит. Вот почему: «по плодам их узнаете их» (Мтф. 7, 16 и 20).

4. Знание веры

В наши дни есть еще один предрассудок в отношении к вере, согласно которому «знание» есть нечто достоверное, доказательное, истинное, а «вера» есть в конечном счете не более чем «суеверие» (т.е. вера всуе, напрасная и неосновательная). Доказанное и обоснованное не приемлется на веру: оно познается и знается, оно мыслится. Верить же можно лишь в то, что не обосновывается и что поэтому не основательно; в то, что не доказуется и потому не имеет за себя ничего достоверного. Поэтому здесь только и можно «верить» или «веровать».

С этой точки зрения многие из наших современников говорят почтительно или даже с пафосом о мысли, знании и науке и с презрением или, по крайней мере, со снисхождением о вере и верующих людях. Кто расположен к снисхождению и терпимости, тот осуждает веру и верующих не так строго: надо уж предоставить «глупым» и «необразованным» верить в их «фантазии», что же с ними поделаешь, особенно если фантазии «приличны» и «гуманны». Но кто «серьезно» относится к знанию и доказательству и помнит о

вреде предрассудков и об опасности суеверий, тот уже не обнаруживает ни снисхождения, ни терпимости; он уже категорически требует «просвещения» и «борьбы с обскурантизмом». Но если всякая вера есть, в сущности говоря, «суеверие», а насаждают суеверие именно упорные и зловредные обскуранты, с которыми необходимо бороться, то приговор над христианством и во всех его исповеданиях оказывается уже произнесенным...

Ясно, что в этом предрассудке, при последовательном и волевом отношении к нему, уже заложено гонение на христианство.

За этим предрассудком скрывается на самом деле целое гнездо недоразумений и ошибок. С одной стороны, это воззрение безмерно переоценивает мысль и знание; и придает так называемым «доказательствам» преувеличенное значение; ибо на самом деле многое, что люди причисляют к «мыслимому» и «знаемому», — остается необоснованным и недоказанным. С другой стороны, вера и суеверие совсем не одно и то же: в области веры имеется своя особая достоверность и свои полноценные основания; не замечать их или отвертываться от них можно только по недостатку духовного опыта.

Так, прежде всего было бы совсем наивно думать, что человеческое «мышление» и «знание» не делает ошибок или что оно способно доказать каждое свое утверждение. Вся картина мироздания, в том виде, как его очерчивает наука, покоится на очень спорных и часто неясных гипотезах, которые иногда отчасти «подтверждаются» новыми наблюдениями, а иногда опровергаются и тогда отвергаются. Эти гипотезы полезны, необходимы и драгоценны; без них исследование мира не могло бы совершаться и наука стала бы невозможною. Но они совсем не суть «доказанной истины», даже и те из них, которые доселе подтверждались при наблюдениях. Чем дальше человек стоит от научной лаборатории, тем более он иногда бывает склонен преувеличивать достоверность научных предположений и объяснений. Полуобразованные люди слишком часто верят в «науку» так, как если бы ей было все доступно и ясно; чем проще, чем элементарнее, чем площе какое-нибудь утверждение, тем оно кажется им «убедительнее» и «окончательнее»; и только настоящие ученые знают границы своего знания и понимают, что истина есть их трудное задание и далекая цель, а совсем не легкая, ежедневная добыча.

Настоящий ученый прекрасно понимает, что «научная» картина мироздания все время меняется, все осложняясь, углубляясь, уходя в детали и никогда не давая ни полной ясности, ни единства. Достаточно вспомнить, как изменилась вся картина мира после того, как астрономическая система Птолемея была вытеснена системой Коперника; или — что дало науке и народам открытие электричества, или радия, или беспроволочной передачи, или раскопки доисторических городищ, или спектральный анализ. Настоящий ученый знает, что наука никогда не будет в состоянии объяснить свои последние предпосылки или определить свои основные понятия, напр. точно установить, что такое «атом», «электрон», «витамин», «энергия» или «психологическая функция»; он знает, что все его «опреде-

ления», «объяснения» и «теории» — суть только несовершенные попытки приблизиться к живой тайне материального и душевного мира. О продуктивности науки не стоит спорить: за нее свидетельствуют вся современная техника и медицина. Но что касается ее теоретических истин и их доказуемости, то наука плавает по морям проблематического и таинственного.

Здесь проходит грань между ученым и полуобразованным.

Настоящий ученый знает, доколе простирается его знание; и потому он духовно скромен. Он ищет и пытается доказывать; он всегда добивается максимальной достоверности и доказательности, ясности и точности; но именно поэтому он знает, сколь трудно это дается; и всегда помнит, что полной достоверности у науки нет. Он всегда помнит, сколь ограничен объем того, что «уже познано», и сколь сравнительно невелика сила и компетентность научной мысли; ибо поистине мысль есть только одна из способностей человека, наряду с другими; а научная мысль нуждается в опыте, для которого необходимо чувственно воспринимать, ощущать, чувствовать, желать, воображать, созерцать и совершать поступки. Настоящий ученый понимает все это и не переоценивает ни отвлеченную мысль, ни науку в целом. Вот почему он не верит в отвлеченные схемы и мертвые формулы и хранит в себе живое ощущение глубокого, таинственного и священного. Этим и объясняется то обстоятельство, что среди настоящих и великих ученых многие питали и питают живую веру в Бога: их взор не ослеплялся тем, что уже познано и добыто, но оставался прикованным к тайнам мироздания и к скрытым в них богатствам; а созерцание этих тайн пробуждало в них тот внутренний, духовный опыт, от которого родится религиозное настроение и «верующая» вера. Так, истинная ученость не уводит от Бога, а ведет к Нему.

Совсем иное дело полуобразованность. Такой человек не умеет исследовать и познавать; он умеет только «понимать» то, что просто и плоско; и — помнить. Он живет заученными формулами, от которых в голове все становится плоско и просто; он принимает это за «ясность» и поэтому воображает, будто ему все ясно и будто он призван все «объяснять» другим. Вот откуда у полуобразованных людей эта безмерная притязательность и безответственность: добыв без труда свою плоскую ясность, не научившись в труде познания ни ответственности, ни скромности, они смотрят не вверх, а вниз, не вглубь, а в отвлеченную пустоту, где все легко, легкомысленно и беспочвенно. Они не создают сами ничего, но заимствуют все у других, перенимая, подражая, подхватывая и повторяя. Есть немало людей, у которых и самое чтение книг получает такое же значение, по слову одного наблюдательного ученого, «они и читают-то только для того, чтобы иметь право не думать самостоятельно...». Нередко они выбирают себе какого-нибудь одного человека, который становится их «авторитетом», «учителем» и «вождем». Тогда они начинают верить в него и в его формулы. Все, что не укладывается в эти формулы, — или вовсе не существует для них, или подлежит «искоренению»; все несогласные с ними объявляются вредными лжецами

или лицемерами. Такие полуобразованные фанатики верят своему «учителю» с тою же легкомысленною неосновательностью, с какою они верят во всемогущество мысли и в свою мнимую «науку». Таинственная глубина материального и душевного мира остается им недоступной, и все их воззрение на природу и на людей оказывается предметом их суеверия. И нередко бывает так, что чем пошлее их миропонимание, тем фанатичнее они верят в него. Веровать же они неспособны и к религии относятся с презрением и враждебностью, не подозревая о том, что именно у верующих вера может быть ответственною, серьезною и глубокою. Вот источник современного воинствующего безбожия.

Это состояние души, распространенное в современном человечестве, давно уже было подмечено нашими поэтами, описано и осуждено ими.

Так, у друга Пушкина, князя П.А.Вяземского, мы находим следующие гневные строки:

Наш разум, омрачась слепым высокомерьем,
Готов признать мечтой и детским суеверьем
Все, что не может он подвесть под свой расчет.
Но разве во сто раз не суеверней тот,
Кто верует в себя, а сам себе загадкой,
Кто гордо оперся на свой рассудок шаткий
И в нем боготворит свой собственный кумир?..
(«Молитвенные думы»)

Еще глубже и пророчественнее звучит та же мысль у Тютчева:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...
(«Наш век»)

Увы, люди этого уклада, по-видимому, далеки еще от сознания своей «погибели». Они все еще верят в свою «полунауку».

Достоевский имел это в виду, когда писал: «Полунаука, самый страшный бич человечества... полунаука — это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, перед которым все преклонилось... с суеверием, до сих пор немыслимым...» («Бесы»).

Но если полуобразованные люди склонны переоценивать науку и ее силы, то сущность истинной веры и религии остается для них совсем непонятной.

На самом деле религиозная вера вовсе не связана с «глупостью» и «невежеством»; она нужна всем людям — и самым умным, и са-

мым образованным. К сожалению, в мире немало людей, которые не умеют возвести свою слепую веру на уровень духовно-зрячего, религиозного верования; и наряду с ними есть еще больше людей, которые «принципиально» не хотят веровать, но совсем не верить не могут; и потому верят в нелепое и вздорное; а потом не хотят признаться в этом, отрицают свою веру и уверяют, что их нелепости «познаны» и «доказаны» (напр., воинствующие материалисты). И как же не противопоставить им тех многих умных и научно образованных людей, которые верно постигли сущность науки и границы человеческой мысли и тем освободили в своей душе место для искренней и чистой веры в Бога!

Для того чтобы это утверждение не казалось голословным, приведем несколько живых свидетельств, высказанных великими естествоведами за последние четыре века. Их можно было бы привести гораздо больше.

Вот суждение великого славянина Коперника (1473—1543):

«Созерцая мысленно великолепный порядок мироздания, управляемый с божественной премудростью, кто не почувствовал бы, что постоянное созерцание его и, так сказать, интимное общение с ним возводят человека к Высшему и к восхищению перед всезиждущим Строителем вселенной, в котором пребывает высшее блаженство и который есть венец всякого «добра»...»

А вот суждение Бэкона Веруламского (1561—1626):

«Только поверхностное знание природы может увести нас от Бога; напротив, более глубокое и основательное ведет нас назад, к Нему»...

Знаменитый хирург своего времени Парэ (1517—1590) говорил о своих пациентах: «Я перевязывал, целил — Господь...»

Галилео Галилей (1564—1642) записал: «И Священное писание и природа исходят от божественного Слова; первое — как внушение Святого Духа, вторая — как исполнительница Божьих велений...»

У Кеплера (1571—1630) читаем: «В творении — я касаюсь Бога как бы руками»... И еще: «О, Отец света, Ты, который при помощи естественного света пробуждаешь в нас желание света благодати, чтобы возвести нас к свету величия! Благодарю Тебя, о мой Создатель и Господь, за то, что Ты обрадовал меня творением Твоим, ибо я был в восторге от дела рук Твоих...»

Вот суждение знаменитого Бойля (1627—1691): «Истинный естествоиспытатель нигде не может проникнуть в познание тайны творения без того, чтобы не воспринять перст Божий».

Гёте (1749—1832) пишет: «Время сомнения прошло — теперь люди так же мало сомневаются в самих себе, как в Боге».

Заслуженный физик Эрстед (1777—1851) отметил: «Всякое основательное знание природы ведет к познанию Бога».

Анатом фон Халлер (1708—1777) высказал следующее признание: «Меня познание природы научило мыслить более возвышенно о Боге, пред которым наша земля есть одна из маленьких пылинок, лежащих в бесчисленном множестве у подножия его трона...»

Лаконическую формулу оставил нам астроном Мэдлер (1794—1874): «Настоящий естествоиспытатель не может быть отрицателем Бога...»

Знаменитый геолог Лиэлль (1797—1875) записал следующее: «В каком бы направлении мы ни повели наши исследования, всюду мы открываем самые ясные доказательства творческого Разума или его провидения, силы и мудрости».

Следующие два замечания мы находим у прославленного химика Либиха (1803—1873): «Это все мнения дилетантов, которые из своих прогулок у пограничных областей естествознания выводят свое право разъяснять незнающей и легковерной публике, как это, собственно говоря, возникли мир и жизнь и сколь далеко зашел человек в исследовании высших предметов». «Не забывайте, — говорил он своим студентам, — что мы при всех наших знаниях и исследованиях остаемся близорукими людьми, сила которых коренится в том, что мы имеем опору в высшем Существе».

Зоолог Агассиц (1807—1873) устанавливает: «Из изучения природы каждый должен вынести убеждение, что все упорядочено неким возвышенным Духом».

Ботаник Шлейден (1804—1881) высказывается в том же самом направлении: «Именно настоящий и точный естествоиспытатель никогда не может стать материалистом в современном смысле слова, отрицателем духа, свободы и Божества».

Весьма интересное признание мы находим у Чарльза Дарвина (1809—1882): «В состояниях самого крайнего колебания я никогда не был атеистом в том смысле, чтобы я отрицал существование Бога».

Известный ученый фон Майер (1814—1878), открывший закон сохранения энергии, пишет: «Если поверхностные головы, охотно выдающие себя за героев дня, не хотят признавать вообще ничего иного и высшего, кроме материального, чувственно воспринимаемого мира, то такую смешную претензию отдельных лиц нельзя ставить в укор науке; еще менее пользы и чести будет самой науке от этой претензии». «Из целостного, полного сердца восклицаю я: истинная философия не может и не смеет быть ничем иным, кроме как пропедевтикой для христианской религии».

Приведем, наконец, суждение знаменитого французского ученого Дюбуа-Реймона (1818—1896): «Только божественному всемогуществу можем мы достойно приписать, что оно до всякого представимого времени создало всю материю посредством творческого акта...»

Приведенного достаточно. Желающие пусть обратятся еще к Ньютону, Лейбницу, Фехнеру и к философам всех времен и народов, исходившим непосредственно из духовного опыта. Один из глубокомысленнейших историков 19 века (Карлейль) точно передает основной дух приведенных нами формул, когда говорит: «Человек вообще не может знать, если он не молится чему-то в определенной форме. Нет этого — и все его знание оказывается пустым педантством, сухим чертополохом...»

Но молиться имеет смысл только тому, чему действительно стоит молиться. Как же могут люди воспринять Бога? Где путь, ведущий к Нему?

Благо тому, в чьей душе этот путь проторен с раннего детства...

Но как быть ищущему и еще не нашедшему?

5. Источник веры

Итак, знание и вера совсем не исключают друг друга. С одной стороны, потому, что положительная наука, если она стоит на высоте, не преувеличивает ни своего объема, ни своей достоверности и совсем не пытается судить о предметах веры; она не судит о них ни положительно («есть Бог», «жизнь человека имеет высший, священный смысл»), ни отрицательно («Бога нет», «человек не выше обезьяны» и т.п.). Ее граница — чувственный опыт; ее метод — объяснять все явления естественными законами и стараться доказать каждое свое суждение. Она держится за этот опыт и за этот метод, отнюдь не утверждая, что они всеобъемлющи и исчерпывающи, и отнюдь не отрицая того, что можно достигнуть истины в другой области при помощи другого опыта и другого метода. «Метод» есть слово греческое и обозначает буквально «путь вслед за чем-нибудь», «путь к известной цели».

С другой стороны, настоящая вера вырастает именно из этого другого опыта и идет своим особым путем («методом»), отнюдь не вторгаясь в научную область, не вытесняя и не заменяя ее.

Тот, кто полагает, что вера есть нечто произвольное, несерьезное и безответственное и что веровать можно только без всяких оснований в недостоверное и выдуманное, — тот жестоко ошибается; и ошибка его проистекает из наивности. Так, он, конечно, воображает, будто он хорошо знает и понимает, что такое человеческий опыт и что значит обоснованность и достоверность. На самом же деле он этого не знает и не понимает; и в этом его наивность. Поэтому он должен однажды убедиться в том, что он всего этого не понимает; и, убедившись, отказаться от своего предрассудка и взять назад все свои суждения.

На самом деле человеческий опыт бесконечно шире, богаче и разнообразнее, чем это представляют себе современные материалисты и безбожники. Когда они говорят об этом, то они представляют себе чувственный опыт, который дается человеку через его внешние чувства (зрение, слух, осязание и т.д.) и открывает ему доступ к материальному миру. Человек, прилепившийся исключительно к чувственным ощущениям (сенсуалист) и принимающий всерьез только то, что они ему приносят (а они говорят ему только о внешних, пространственно-протяженных вещах, т.е. о материальном), станет, сам того не замечая, материалистом.

Материалист привержен к одному-единственному источнику опыта; он верит только в него и пользуется только им; этот источник составляют внешние ощущения. Вследствие этого материалист

отличается односторонностью, ограниченностью, скудостью своего опыта. Это не значит, что он в действительности имеет дело только с внешними, чувственными восприятиями, так что он только и может видеть, слышать, обонять, касаться и иметь вкусовые раздражения; нет, но он вырабатывает себе (иногда бессознательно, иногда сознательно) такую душевную установку, как если бы он не имел никакого другого опыта. Он живет и думает так, как если бы в его опыте не было никаких нечувственных содержаний; как если бы доказывать и обосновывать можно было только при помощи чувственных восприятий и только в области материальных вещей. Он не привык вращаться в сфере иного опыта и иных предметов. Он как бы прильнул раз навсегда к состояниям своего тела и к показаниям его органов, им доверился, в них поверил; и затем уверил себя, будто ни у него, ни у других людей нет доступа ни к чему другому. Его внимание, его интерес, его желания, его деятельность обращены на внешнее; выражаясь условно, можно сказать, что он «экстравертирован» (обращен наружу). И если он видит человека «интровертированного» (обращенного вовнутрь, к внутреннему, нечувственному миру), то он оказывается неспособным ни понять его установку, ни поверить ему на слово: он объявляет его выдумщиком, фантазером или обманщиком.

А между тем всякий сколько-нибудь опытный мыслитель мог бы без особого труда доказать такому наивному и самоуверенному материалисту, что он решительно неправ, ибо все сводится к односторонней скудости его опыта; или, еще точнее, к нежеланию его заметить и принять всерьез другой опыт, без которого он сам не может обойтись. У материалиста, как и у всякого человека, имеются не только телесные состояния, но и душевные состояния; и многие из этих душевных состояний дают ему нечувственный опыт и открывают ему нечувственные предметы. Неумно и вредно закрывать себе глаза на это разнообразие и богатство опыта, культивировать свои низшие способности и отвергать или даже отрицать высшие. Еще глупее и вреднее — пытаться уговорить других людей к такому же скудоумию или прямо навязывать им это скудоумие в порядке государственного принуждения, как это делают коммунисты, предписывая материалистическое преподавание в школах и давая социальные преимущества безбожникам и воинствующим материалистам.

В действительности дело обстоит так, что человеку, наряду с чувственными ощущениями, даны и другие, бесконечно более благородные, утонченные и значительные источники опыта. Судьба каждого отдельного человека, целых поколений и национальных культур зависит от того, живут ли люди этим опытом, умеют ли ценить, развивать и творчески пользоваться источниками его и т.д. Весь современный духовный кризис, переживаемый человечеством, объясняется тем, что человечество вот уже в течение нескольких поколений пренебрегало источниками этого опыта и отвыкло, отучилось пользоваться ими; ослепленное успехами естествознания и тех-

ники, охладевшее к религиозным глубинам жизни, оно доверилось всецело (или почти всецело) чувственным ощущениям и вырастающей из них теории и практике. Вследствие этого люди нового времени изощрились в изучении материальной природы и в технических изобретениях и незаметно оказались в состоянии детской беспомощности в вопросах духовного опыта, духовной очевидности и духовных умений. Преодолеть этот кризис можно только одним способом: вернуться к этим благородным и чистым источникам духовного опыта, пробудить их и творчески зажить ими.

NB *Будучи философом, отмечая важность развития в человеке восприятия мира при помощи органов чувств, И.Ильин призывает бережно относиться к традиции формирования опыта духовного «проживания» жизни. И здесь отмечается необходимость жизни чувства, значительность развитого воображения, способного повести человека к высшему содержанию, наполненному искренней любовью и сочувствием. Эти мысли очень своевременны сегодня, когда значительно повысилась привлекательность практического мира, призывающего к бесконечному потреблению. Трудно не согласиться с Ильиным, тревожащимся за сохранение в процессе воспитания духовного переживания. Конечно, внутренний мир и опыт человека («нечувственный» по Ильину) должен осознаваться человеком и поддерживать его способность к сопереживанию, сочувствию в соответствии с его духовным опытом. Хотя духовный опыт может и не быть собственно религиозным опытом. Это может быть опыт глубоких раздумий, переживаний, связанных, например, с освоением произведений искусства, с чтением книг, с человеческим общением, с восприятием природы и т.п.*

Духовный опыт, воспринимаемый как альтернатива опыту плотскому, дает возможность душе развиваться. Это важная мысль, о которой мы все должны помнить, тем более когда речь идет о нас, чьи профессиональные интересы лежат в области педагогики. Создавая новые образовательные стандарты, программы, учебники и т.п., надо все время думать о том, какую роль в формировании духовного опыта могут сыграть все эти учебные материалы и сыграют ли?

Духовная любовь, о которой пишет И.Ильин, способствует взращиванию человеческого достоинства, совершенства, что позволяет человеку, обладающему этим чувством, проявить доброту и благородство души, оценить произведение искусства. Соотнесение духовной любви с искусством близко романтическому видению мира:

«Ты — текст, написанный на мраморе и в тучах!
Страницы Библии в лесах, в волнах и в кручах!
В сверканьи дня и мгле ночей!» — писал В.Гюго.

Человек не может жить одними чувственными восприятиями, исходя только из них и ограничиваясь только ими; может быть, это и доступно простейшим и низшим животным, но, напр., собаки и лошади стоят, несомненно, уже на более высокой ступени. Человеку же присущи, сверх телесных ощущений, еще чувствование, сила воображения, воля и энергия мысли. Конечно, он может пренебрегать этими состояниями или, так сказать, внутренними актами и

сводить их к известному минимуму, уподобляясь животным, у которых преобладают чувственные ощущения и телесные потребности; человек может также превратить эти высшие способности своей души в простое орудие своих телесных раздражений и потребностей, т.е. не столько жить ими, сколько злоупотреблять ими. Но если бы он вступил на этот путь, то из этого возникли бы только величайшая нужда, варварство и пошлость. Почему? Потому что эти пренебреженные и заброшенные душевные силы отнюдь не перестали бы жить и действовать в его душе, а стали бы вести нечистую жизнь и увлекать душу на гибельные пути; ибо орудие, которое не чистят и запускают и которым злоупотребляют, всегда становится вредным и опасным.

Конечно, можно относиться с презрением к жизни чувства — напр. к любви, радости, благодарности, уважению, благоговению, чести и патриотизму — и отвергать все это как «сентиментальность»; но от этого душевные чувствования отнюдь не исчезнут, они станут только грубыми, злобными, нечистыми и отвратительными, т.е. душевно и телесно вредными, а духовно гибельными; они прилепятся к дурным содержаниям, и человеческая душа исполнится ненависти, зависти, злости, гордости и мстительности.

Точно так же «отвергнутая» и запущенная сила воображения отнюдь не исчезает и не прекращает свою жизнь; напротив, она разнуздывается и предается самым низменным, грубым и унизительным жизненным содержаниям; она отыскивает похотливые, безвкусные, злые образы и наслаждается ими и проносится слепо и равнодушно мимо образов целомудренной чистоты, благородства и божественной красоты. Люди, не уводящие своего воображения к высшим, нечувственным содержаниям, становятся пленниками пошлости и, по слову мудрого Гераклита, всю жизнь «наслаждаются грязью».

Такая же судьба постигает и человеческую волю, если она оказывается духовно беспризорной и нравственно разнузданной: она начинает служить волку в человеке и становится его свирепым орудием. Невоспитанная, неодухотворенная, необлагороженная воля есть источник всех коварных, злобных и преступных поступков на земле. В ответ на это человек может, конечно, возразить, что все эти понятия и мерила не имеют для него никакого смысла. Но эта ссылка есть лишь пустая фраза в его устах: как только чужое коварство, чужая злоба и преступность обрушатся на него самого, так он сразу ощутит, что означают эти идеи, и начнет поносить чужого волка, забыв о том, что он давно уже спустил с цепи своего собственного.

Подобно этому и мышление человека творчески создает культуру не тогда, когда оно прилепляется к чувственному и материальному, чтобы просто «наблюдать» его явления и умственно «разлагать» их (анализировать); из этого не возникла бы ни одна наука, ибо научное познание невозможно без логической мысли (которая совершенно нечувственна) и без математической мысли (которая почти нечувственна), а также без нравственно воспитанной воли и без не-

чувственной интуиции... Мышление человека только тогда на высоте, когда оно способно подниматься от конкретно-чувственного к крылатому и интуитивно насыщенному отвлечению, сосредоточиваться на духовных содержаниях, пребывать в них, созерцать их и познавать их.

Все это означает, что помимо внешнего (чувственного) опыта человеку дан еще внутренний (нечувственный) опыт. И вот этот внутренний, духовный опыт и есть истинный источник и истинная область веры, религии и всей духовной культуры вообще. Воспитать человека — значит прежде всего пробудить в нем эти духовные переживания и открыть ему доступ к этому духовному опыту. Только в этом опыте человек может постигнуть, что такое любовь, какова ее глубина и сила и в чем ее священное значение. Только здесь он может научиться отличать добро от зла; услышать в самом себе голос совести; постигнуть, что такое честь, благородство и служение. Только в этой области он может увидеть, что такое художественность и прекрасное искусство, воспитать свой вкус и развить свое восприятие красоты. Только духовный опыт может открыть ему, что такое истинное знание, очевидность и доказательство и в чем состоит научная культура и достоинство ученого.

Через духовный опыт человек сообщается с божественной стихией мира и входит в живое соприкосновение с Богом. Отсюда возникает «верующая» вера. Здесь зарождается религия и церковь.

Пренебрегающий духовным опытом — теряет доступ ко всему этому. Он как бы сам залепляет себе духовные очи и предается слепоте и пошлости. От всех вещей он видит только внешнюю видимость и довольствуется тем, что превращает ее в пустую, абстрактную схему. Глубина и тайна жизни уходят от него — и во внешнем мире, и в его собственной душе. Он блуждает по распутиям до тех пор, пока не ударится головой о гранитную стену тех духовных законов, которые он отверг, или пока не сокрушится в пропасти тех духовных запретов, над которыми он доселе издевался. Ибо духовные законы и запреты связуют всех людей, в том числе и тех, которые отвергают их или издеваются над ними. Человеку дана свобода отвергать их и попирать их, но никогда еще человек или народ, идущий по этому пути, не вел на земле достойной, творческой и прекрасной жизни; напротив, все они разлагались душевно, впадали в общественный беспорядок и смуту и исчезали в духовном небытии.

Только духовный опыт — опыт, открывающий человеку доступ к любви, совести и чувству долга, к праву, правосознанию и государственности, к искусству и художественной красоте, к очевидности и науке, к молитве и религии, — только он может указать человеку, что есть подлинно главное и ценнейшее в его жизни; дать ему нечто такое, чем стоит жить, за что стоит нести жертвы, бороться и умереть; открыть ему истинный и единственный Предмет религиозной веры. Надо, чтобы он в самом деле увидел духовными очами то, во что он будет отныне веровать; чтобы он подлинно испытал и узнал божественность Бога и прилепился к нему свободно и целостно; — не пона-

слышке, не от усталости и отчаяния, не из доверия к чужому авторитету; ибо слухи меняются, и усталость проходит, и чужой авторитет может поколебаться. Человеку же нужен камень веры, который вечно был бы с ним — и в песчаной пустыне, и в снежной буре, и в непролазном лесу, и в тюремной одиночке, и в одиночестве всеобщей клеветы и злобы; такой камень, который всегда можно было бы осязать как неколебимую твердыню и стать на него как на некий столп утверждения... Человеку необходим свет очевидности, некая несгорающая купина, которая горела бы в нем самом, чтобы он мог и сам возгореться от нее; ему необходим свет неиссякающий и ему самому внутренно доступный. Источник такого света один: это духовный опыт, в коем человеку открывается лицезрение Божие. Отсюда — всякая подлинная, «верующая» вера, эта первая и высшая сила человеческой жизни, дающая ему свободный полет через жизнь и смерть. Только здесь человек может обрести своего Бога и Господа и соединить себя с Ним любовью и верностью.

Только этот внутренний духовный опыт делает человекообразное существо воистину человеком, т.е. духовной личностью, с неразложимым, священным центром, с индивидуальным характером, со способностью духовно творить и наполнять духом общественную жизнь, свободу, семью, родину, государство, частную собственность, науку и искусство. Потому что последняя основа всего этого, творческий первоисточник всей духовной культуры есть божественное в нас, даруемое нам в откровении живым и благим Богом, воспринимаемое нами посредством любви и веры и осуществляемое нами в качестве самого главного и драгоценного в жизни.

Иными словами, вся духовная культура возникает лишь из того и благодаря тому, что человек не ограничивает себя чувственно-внешним опытом, не отводит ему ни исключительного, ни хотя бы преимущественного значения, но, напротив, признает основным и руководящим духовный опыт, из него живет, любит, верует и оценивает все вещи, а следовательно, им же определяет и последний смысл и высшую цель внешнего, чувственного опыта, т.е. сперва обретает «внутри себя» божественное начало, а затем предоставляет ему водительство во всей внешней жизни.

Самым глубоким и могучим источником духовного опыта и религиозной веры является любовь.

Глава вторая
О ЛЮБВИ

1. Что есть любовь

Первым и глубочайшим источником духовного опыта является духовная любовь. Ее надо признать основным и необходимым «органом» духовного опыта. И всякому христианину это должно бы было быть ясным без доказательств.

Все попытки определить любовь в логическом порядке были бы тщетны: того, кто ее не испытал, нельзя ни просветить, ни убедить в

этом отношении. Впрочем, духовный опыт подобен в этом всякому другому опыту. Всякое доказательство покоится в конечном счете и в последней инстанции на живом опыте, на живом восприятии и увидении. Всякое доказательство ведет рано или поздно (чем скорее, тем лучше!) к предмету, который надо воспринять, увидеть и пережить; и тот, кто не может воспринять предмета или не хочет испытать и увидеть его, — тому вообще никогда и ни в какой области нельзя ничего доказать, ни в естествознании, ни в истории, ни в философии. Последняя ступень доказательства всегда звучит так: «а все это потому, что сам предмет таков; вот он — переживи, восприми, испытай и признай!» И потом: «если не хочешь или не можешь, то отойди, умолкни и не мешай другим!»... Именно так: неспособный к предметному опыту должен уйти из исследовательской лаборатории и прекратить всякие споры, и притом вследствие своей умственной или духовной неспособности. В философии дело обстоит совершенно так же, как и в высшей математике, или в физике, или в юриспруденции...

И тем не менее живое своеобразие духовной любви может быть и должно быть описано. Что это за состояние — любовь? И чем отличается духовная любовь от недуховной?

Там, где начинается любовь, там кончается безразличие, вялость, экстенсивность: человек собирается и сосредоточивается, его внимание и интерес концентрируются на одном содержании, именно на любимом; здесь он становится интенсивным, душа его начинает как бы накаляться и гореть. Любимое содержание, — будь то человек, или коллекция картин, или музыка, или любимые горы, — становится живым центром души, важнейшим в жизни, главным предметом ее. Оказывается, что любовь дает человеку, по слову Платона, сразу — душевное богатство и душевную бедность: богатство — ибо человек нашел сокровище своей жизни, которым он владеет и которое он как бы носит в себе: отсюда чувство душевного обилия, силы, счастья, повышенного интереса к жизни и благодарности за все это; бедность — ибо у человека возникает чувство, что он никогда не владеет своим сокровищем до конца и что без него и вне его он сам скуден, печален и одинок: отсюда чувство душевной скудости, слабости, несчастья, разочарования во всем и ропот на свою лишенность и нищету. И все же, несмотря на эту тоску лишенности, человек чувствует себя обогащенным и богатым.

Вот почему любовь есть радость, которая не покидает человека даже и в страдании, но светит ему сквозь все неудачи, лишения и огорчения, так что он радуется и тогда, когда терпит муку: ибо он знает, что он имеет в себе самом некое сокровище, и чувствует, как от близости к этому сокровищу душа его заливается глубокой и тайной радостью, как бы неким блаженным светом. Оказывается, что любовь сама по себе, даже и в отрыве от любимого предмета, есть уже счастье, в котором душа перестает каменеть, размягчается, становится как бы подвижной и легкой, гибкой и текучей; она нежно чувствует, поет и обращается ко всему миру с сочувствием и добро-

той. Любовь есть доброта, — не только потому, что она окружает сочувствием свой любимый предмет, печется о нем, страдает и радуется вместе с ним, но и потому, что любовь сама по себе дает человеку счастье и вызывает у счастливого потребность — осчастливить все и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как излучением своего собственного.

Истинная любовь этим не исчерпывается и на этом не останавливается: она вживается в любимый предмет вплоть до художественного отождествления с ним. Чувство и воображение соединяются у любящего человека и повышают силу его восприятия и воспроизведения настолько, что проницательность его по отношению к любимому предмету доходит до настоящего интуитивного ясновидения. Иногда эта сила ясновидящей проницательности ограничивается одним любимым человеком (напр., у матери — ее детьми) или любимым предметом (напр., у музыкального критика — музыкой одного любимого композитора); но иногда эта сила переносится и на других людей, и даже на весь мир (напр., у гениального художника). Во всяком случае, человек, осчастливленный любовью, созерцает и воспринимает предметы внешнего и внутреннего мира совсем иначе, чем человек с сухим и каменеющим сердцем, холодный и чопорный эгоист. Любящему человеку весь мир говорит иное и иначе, так, как если бы каждый цветок раскрывался ему по-особому, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца светился ему ярче, каждое человеческое сердце повертывалось к нему особливо; подобно тому, как в сказке избушка на курьих ножках повертывается к Ивану Царевичу передом, а к лесу задом. Ибо любовь есть сила всесогревающая, всеотмыкающая и всевидящая; она сама и цветет, и поет, и сияет.

Вот почему любящая душа воспитателя, врача, художника и духовника есть поистине священное орудие для новых постижений и умений; и в сравнении с их видением и влиянием наблюдение жестокосердного эгоиста есть лишь жалкая немощь. Ибо они воспринимают то,

Что для ума покрыто тьмою,
Но сердцу видимо вдали...
(Князь П.А.Вяземский: стих. «Молись»).

И это видение и влияние любящего сердца, проявляющего нередко истинно гениальную проницательность, усиливается еще от самоотвержения, этого последнего и высшего дара любви. В самом деле, вчувствование и воображение любящего сердца доходит иногда до того, что человек действительно проявляет полное самоотречение: любимый предмет оказывается для него выше его самого; он становится для него живым центром его жизни, которому он служит, нисколько этим не унижаясь, и которому он приносит многое в жертву, щедро и беззаветно, нисколько не помышляя об этих жертвах. Он делает единственное, что ему естественно и неизбежно делать; он делает необходимое, как единственно для него возможное и добровольно-желанное, не думая о других, трусливых и неискренних путях.

Такова настоящая любовь; так она действует и проявляется в жизни.

В таком виде любовь можно найти иногда, хотя совсем не часто, и в обыденной жизни, именно там, где она проистекает из чистого и цельного сердца. Никто не умел живописать людей такого сердца и такой любви столь совершенно, как Достоевский, Лесков и Шмелев в России, как Диккенс и Гофман в Западной Европе. Но свою настоящую и высшую форму эта любовь приобретает тогда, когда она срастается с духовным опытом или прямо вырастает из него.

Человеку доступна двоякая любовь: любовь инстинкта и любовь духа. Они совсем не враждебны и не противоположны; но сочетаются они сравнительно редко. Отчасти потому, что многие люди совсем не знают духовной любви; отчасти потому, что обе эти любви легко вступают в разноречие друг с другом; отчасти еще потому, что более сильная из них не дает другой развиться и окрепнуть и просто подчиняет себе слабейшую. Но сколь же счастливы те люди, у коих оба потока любви соединяются в один и становятся тождественными! Всякое иное счастье на земле является по сравнению с этим счастьем чем-то второстепенным.

Отличие этих двух видов любви совсем не в том, что одна из них есть «чувственная» и потому «земная», другая же посвящена «сверхчувственному» и называется «небесной» или «платонической». Различие их в том, что любовь инстинкта ищет того, что данному человеку субъективно нравится, с тем чтобы потом слепо идеализировать это нравящееся и без всякого основания приписывать ему в воображении все возможные совершенства; здесь все определяется субъективной приятностью и личным удовольствием, тогда как начало качества, достоинства, совершенства отходит на второй план или не имеет никакого значения. Формула этой любви приблизительно такова: «Этот предмет мне нравится, значит, ему должно быть присуще всякое совершенство...; мил — значит хорош; по милу хорош»... Само собой разумеется, что за этим ослеплением, за этой наивной идеализацией следует в большинстве случаев раннее или позднее разочарование.

В отличие от этого, духовная любовь тяготеет к качеству, достоинству, совершенству. Она не восхваляет сослепу то, что нравится; но ищет подлинно хорошего, и это подлинно хорошее вызывает у человека чувство любви: это — доброта и благородство души, художественное произведение искусства, человек с глубоким и чистым сердцем, справедливость, мудрость, величие и значительность природы — словом, божественное совершенство во всех явлениях, вещах, людях, состояниях и поступках... У человека, живущего духовной любовью, чувствующее и чуткое сердце обращено как бы от природы на объективно хорошее, на такое, что на самом деле «добро зело»; и эта обращенность сердца на объективное качество или достоинство вещей есть всегда некий дар Божий, который может быть, однако, укреплен и развит как воспитанием, так и самовоспитанием. Такой человек как бы смотрит в мир качественным оком, отыскивая подлинное совер-

шенство, находя его, предпочитая его, радуясь ему и насыщаясь духовно только им; сердце его утешается им, наслаждается им, любит его; оно связывает себя с ним, оно испытывает его успех и победу как свои; оно всегда готово помочь ему словом и поступком, послужить ему, принести ему в жертву многое другое...

Духовная любовь есть как бы некий голод души по Божественному, в каком бы обличии это Божественное ни появилось. Она есть как бы вздох, призыв, молитва, обращенная к духовному небу: «Явись! дай мне узреть Тебя! откройся! дай мне эту благодать и радость!» И эта молитва, может быть, совсем не произносится словами, а безмолвно живет в сердце в виде сокровенного, легкого трепета — трепета ожидания, надежды, вечного озирания; или — у волевых людей — в виде уверенности, требования, настойчивых, неутомимых поисков.

Формула этой любви приблизительно такова: «Этот предмет хорош (может быть, даже совершенен); он на самом деле хорош не только для меня, но и для всех; он хорош — объективно; он остался бы хорошим или совершенным и в том случае, если бы я его не увидел, или не узнал, или не признал его качество; я слышу в нем дыхание и присутствие Божественного Начала — и потому я не могу не стремиться к нему; ему — моя любовь, моя радость, мое служение...»

Выражая это русской простонародной поговоркой, можно сказать: «Не по милу хорош, а по хорошу мил».

Можно бы сказать, что духовная любовь есть не что иное, как вкус к совершенству; или — верный душевный орган для восприятия Божественного совершенства, как в небесах, так и на земле. Можно было бы сказать, что этот вкус или орган присущи человеку по благодати Божией; но в то же время необходимо было бы добавить, что зачатки такого вкуса или органа свойственны многим (если не всем!) людям «от природы», конечно — в различной степени и силе. Одни люди живут в этой духовной интенции; они пребывают в ней, любят ее, дорожат ею; укрепляют, углубляют, очищают ее в себе; и затем, исходя из нее, веруют и действуют. Слово «интенция» выражает сразу и «направленность», и «интенсивность»; значит — сосредоточенную направленность, концентрированность. Напротив, другие пренебрегают ею, не дорожат ею, не умеют освобождать для нее свой ум и свое сердце — и потому бредут по диким и случайным тропам своего неразборчивого нрава или своей прихоти и похоти.

Из всего этого ясно, что духовная любовь совсем не исключает инстинктивную или чувственную любовь. Она не отрицает ее, а только прожигает ее Божиим лучом, очищает, освящает и облагораживает. Инстинкт, примирившийся с духом, участвующий в его видении и в его радовании, не перестает быть инстинктом и не отрекается от чувственной, плотской любви; он утрачивает только тягу к самовольству, силу буйного соблазна и присущую ему духовную бессмысленность. Сила инстинкта и сила духа сочетаются, чтобы не разлучаться; и тогда чувственная любовь становится верным и точным знаком духовной близости и духовной любви. «Мил» и «хорош»

соединяются: и инстинкт получает полную свободу считать свое субъективное «нравится» духовно неошибочным. «Небо» как бы сходит «на землю»; или, вернее, — дух вселяется в инстинкт и акт инстинкта становится духовным событием...

Понятно, что все то, что мы высказали о любви вообще, относится и к духовной любви.

В духовной любви человек сосредоточивает свои душевные силы на том, что на самом деле хорошо и совершенно; и вследствие этого огонь этой любви становится священным пламенем.

Это объективно совершенное есть само Божественное, как бы излучившееся в мир, в природу и людей и вот теперь излучающееся из них навстречу ищущей душе. Мир вещей и людей пронизан веяниями благодати, освещен и освящен присутствием Духа Божия. Духовно слепой не видит этого света; духовно мертвенный не осязает этих веяний. Но душа духовно разверстая и чуткая внемлет им как чудной и светлой музыке. Она внемлет им и в веселии полевых цветов, и в благодати первопавшего и всепростившего снежного покрова, и в молчании далеких ледяных гор, «и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы» (Пушкин). Она внемлет им и в умилении материнского сердца, и в смирении кающегося грешника, и в подвиге доблестного патриота, и в «созданиях искусств и вдохновения» (Пушкин), и в познавательном восторге ученого аскета. Для духовно зрячей души вся «эта сотворенная природа» есть не что иное, как некая великая «книга», в которой человек, «когда хочет», может читать «словеса Божии», ибо нет в мире «места или вещества какого, где бы не было Бога» (Антоний Великий) и «Богом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое» (ап. Павел. Послание к Колоссянам, гл. I, стих 16).

Два человека смотрят одновременно в мир вещей и людей. И вот один видит Бога, а другой не видит. Почему? Потому что увидеть его можно только тому, кто зажег в самом себе свечу духовной любви и духовного видения.

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?

Понимают не все; лишь тот —

Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом
Как вещий голос изловил!

(А.Веневитинов. «Поэт и друг»).

Чтобы увидеть духовное и священное, надо самому обратиться к миру из духа и святыни; чтобы увидеть свет и тайну, надо иметь в

душе орган для тайны и света. И потому надо укрепить и развить в себе этот орган; надо приобрести око для духа и внутреннее огнилище для любви. И тогда только откроется нам, что действительно «нет на земле ничтожного мгновенья»; и станет понятно, почему есть немало людей, которые смотрят и не видят или, по Гераклиту, «присутствуя, отсутствуют».

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!
И, языками неземными
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза.
(Ф.Тютчев. «Не то, что мните вы, природа»).

Все это означает, что любовь к совершенному отверзает человеку очи духа и является первейшим и главнейшим источником веры в Бога. Кто что любит, тот того жаждет и ищет. А так как искомое есть Бог — подлинно реальное совершенство, — то он Его и находит. Вот что значит обетование, «близ стою, при дверех».

Тогда Бог становится живым средоточием человеческой жизни, ее сокровищем, уже обретенным и все же всегда искомым; и сам человек становится богат, как обладатель этого сокровища, и в то же время беден, как вечно ждущий его, как вечный пилигрим. Здесь он находит доступ к духовной реальности, которая открывается ему в духовном опыте и не подлежит никакой внешней «относительности» или условности. Здесь он обретает неиссякаемый источник радости, священной радости, духовного блаженства; и ничто внешнее не может лишить его этого источника, ибо он в нем самом. Отсюда ведет свое начало и свой закон его жизненная воля; здесь он научается сильно желать верного; здесь он познает свой долг и свои обязанности; здесь он научается самоотверженному, жертвенному служению. В нем слагается последняя и глубочайшая основа его личного характера; закладывается тот камень, на котором он утвердит алтарь своей души. И так как он, как всегда все люди, движимые любовью, искренно и сосредоточенно живет любимым предметом, вживаясь в него или, по выражению Церкви, «облекаясь в него», то его внутреннее существо начинает приобретать живой оттенок совершенства, живую освященность, исходящую от Бога. Возникает живое единение, о котором мы уже говорили. Человек не противостоит Богу как чуждому, страшному «инобытию»; он воспринимает Его таинственным образом в себя, он носит Его в глубине своего сердца, так, что человек освящается присутствующим в нем Божеством, а Бог как бы излучается из его сердца и его дел. По словам апостол Павла, «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (I Коринф. 6, 17).

Именно это имел в виду Макарий Великий, когда говорил о таинственном «срастании» или «сраствореннии». Именно это имел в виду Гегель, когда утверждал, что искренняя и огненная молитва к Богу является сама по себе лучшим доказательством бытия Божия, ибо она есть не что иное, как живое действие Духа Божия в сердце молящегося человека... Кто взывает к Богу из глубины сердца, в том уже действует внутренне сам Господь; и это есть действительное, опытное и очевидное доказательство Его бытия, после которого незачем требовать какого-нибудь другого умственно-рассуждающего доказательства. Но это доказательство может быть получено только в личном и живом духовном опыте; человеку же, лишенному этого опыта, оно остается недоступным. Тот, кто получил этот опыт и это доказательство, тот уже никогда не почувствует себя покинутым или отверженным, ибо он знает, где и как он снова найдет открывшийся ему доступ; и он сумеет найти его и тогда, если он будет погибать совсем одиноким в морской буре, или в ледяной пустыне, или в самом последнем тюремном подземелии; он и в беде найдет этот путь, и в смерти получит духовную опору.

2. Любовь как путь

Итак, любовь к совершенству есть источник религиозной веры. Именно на этом пути человек становится верующим в подлинном и чистом смысле этого слова.

Нельзя начать веровать в силу логических, отвлеченно-умственных доказательств или аргументов. Рассудочные доказательства могут только разрушить умственные сомнения, да и то только в том случае, если эти сомнения проистекают из умного источника и имеют разумные и предметные основания. (Я хочу сказать, что бывают сомнения, проистекающие из чисто личного и притом бессознательного источника, не устранимые и не утолимые никакими доказательствами, вечно возникающие вновь и наслаждающиеся собою, подобно нелепым вопросам «почему?» у маленьких детей.) Вера не дается доказательствами. Ибо источник веры не в рассуждении, а в предметном горении сердца. В этом основное отличие православия от протестантизма.

Точно так же нельзя веровать в силу волевого решения — своего собственного или чужого (приказа или понуждающего мучительства). Правда, человеку, который уже верит (именно верит, а не верует) или который способен начать верить в порядке самовнушения (особенно если ему безразлично, во что, собственно, «надо» верить), воля может помочь в подавлении сомнений или других внутренних противлений. Но к верованию этот путь не ведет. Сколько бы человек ни твердил себе, что «надо» уверовать, сердце от этого не воспламенится и духовное видение от этого не возникнет. Однако воля может разбить цельность души и этим сделать веру навсегда недоступною для человека; воля может приучить человека к лицемерному доказательству и этим извратить его религиоз-

ность. Одно несомненно — что никакое волевое напряжение не может отверзнуть духовно-незрячие очи и не может вызвать к жизни глубинный огонь любви. Вера не дается волевому нажиму. Ибо источник веры не в волевом решении («буду веровать»), а в силе созерцающей любви. В этом основное отличие православия от католичества.

NB *И.Ильин рассматривает принципиальные отличия между православием, протестантизмом и католичеством, что важно понимать в процессе изучения культуры. По православию вера дается человеку не в рассуждении, а в предметном горении сердца. Ильин именно в этом видит основное отличие православия от протестантизма. Вера не дается и в силу волевого решения, а только в силу созерцающей любви. В этом основное отличие православия от католичества. Эти рассуждения Ильина добавляют понимание при восприятии восточных и западных религий с точки зрения их отношения к вере как основе религиозного сознания. И.Ильин выделяет православие как сердечную веру, способную озарить духовным светом всю деятельность человека. Культура, выращенная православием, наиболее соответствует русскому человеку, по самой своей природе не наделенному прагматическими устремлениями.*

Именно осознание своей причастности к истокам способно дать человеку силы пережить многие испытания в жизни, проявить мужество, о котором писала А.Ахматова, и искреннюю любовь к родине:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова. —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Человек может уверовать, только свободно и подлинно прозрев, духовно прозрев сердцем, или, иначе, — узрев Бога в горении свободной и искренней любви. Но это каждый из нас должен пережить сам в себе и за себя. Правда, горящая вера одного, изливаясь в его словах и делах, может вызвать огонь в других сердцах; но в этих других сердцах огонь должен появиться действительно как живое и самостоятельное пламя, а не только в виде «подражания» или внушающего «заражения». Тогда только духовная любовь может вызвать в душе духовное прозрение (как бывает у одних людей) или же (как бывает у других) духовное прозрение вызовет к жизни пламя веры. Тогда вера сможет превратиться в средоточие души и в действительный путь жизни.

Вера станет главным в жизни: не в смысле церковного богослужения, — ибо совсем не все люди призваны к духовному сану, — а главным источником настроений, решений, слов и дел. Вера вдохновит и направит волю; раскроет уму и воображению новые горизонты; облагородит жизнь чувства и воспитает, освящая и одухотворяя, чувственную жизнь человека. Она станет как бы в центре душевного круга или жизненного шара; и разошлет по всей периферии как бы живыми радиусами свои лучи, в виде всепроникающего света, вскрывающего во всем духовный смысл и особую, не выставляющуюся напоказ религиозную значительность. И от этого постепенно, но окончательно вытравится из жизни главный источник безбожия и главный враг духовности — пошлость.

У верующего человека открыто духовное зрение, отличающее добро от зла, совершенное от несовершенного. И потому он видит Бога: ибо Бог есть добро и совершенство.

У верующего человека на таинственном и скрытом от глаз «жертвеннике душевном» (Григорий Синаит) горит огонь; это его духовная любовь, ведущая его и заставляющая его прилепиться к совершенному. И потому он не только видит Бога, но и любит его по завету Евангелия «всем сердцем», «всею душою», «всем разумением» и «всею крепостью» (т.е. волею своею) (Мтф., XXII., 37—40; Мрк, XII, 29—31; Луки, X, 26—28).

И какие же доказательства или опровержения других людей могли бы убедить его, будто он «не видит» и «не любит Бога», когда он и видит и любит Его, во всей подлинной реальности Его подлинного совершенства и во всех Его таинственных, но благодатных излучениях в мир людей и вещей? Осязая духом Его действие во мне, воспринимая и созерцая. Его в моем живом и подлинном духовном опыте, как могу я не уверовать в Него или перестать в Него веровать? Источник удостоверения во мне самом; этот источник имеет характер живого опыта, который глубже и первоначальнее всякого умственного доказательства, всякого отвлеченного опровержения...

Естественно, что человек, достигший этой ступени в своем внутреннем опыте и уверовавший в Бога, почувствует острую потребность узнать о Боге более того, что дает этот достоверный и пламенный, но, может быть, недостаточно определенный духовный опыт. Он непременно спросит себя: что же открывается мне — безличное Божество наподобие Огня Гераклита или Субстанции Спинозы, или личный Бог, как о нем учит христианство? И если это личный Бог, то как представить себе Его? Как сочетать личное начало в Боге с Его вездеприсутствием? Возможно ли увидеть и уразуметь отношение Бога к миру и к человеческому роду и отношение человеческого рода к Богу? И как удостовериться живым опытом и духовным видением в том, что христианская православная церковь содержит религиозную истину?

Само собою разумеется, что ответить исчерпывающим образом на все эти вопросы можно было бы только в виде целого догматического богословия; но и его было бы недостаточно: надо было бы об-

ратиться к духовным путям восточной православной аскетики и попытаться воспроизвести в собственном живом опыте (конечно, в меру личных сил) ее созерцательную практику. Все это не входит в нашу задачу. Мы должны ограничиться здесь следующими путеводными указаниями.

Ни один человек из живших или живущих на земле не может считать свою веру совершенной и законченной — ни по глубине и объему ее, ни по ее содержанию. Напротив, каждый остается до конца строителем своей веры и Божиим учеником. И чем искреннее и скромнее он в своем ученичестве, тем плодотворнее будет его строительство, тем большего достигнет — и в углублении своей веры, и в раскрытии и обогащении ее содержания.

Ни один человек не имеет основания полагаться в этом на свои личные, одинокие силы; ибо он может быть уверен, что всей жизни его, даже сосредоточенной и напряженной, не хватит на испытание Божиих тайн: «длинней земли мера Его» (Н.Лесков. «Захудалый род»). Поэтому каждому человеку надлежит присмотреться к строению своего религиозного акта (ум ли в нем преобладает, воля, или воображение, или горение сердца и созерцание любви?..) и прислушаться к тем содержаниям, которые несет ему духовный опыт. И присмотревшись и прислушавшись — избрать себе наиболее сродную им религию и церковь и вступить в эту церковь и в эту религию в качестве уже верующего, но еще недостаточно и несовершенно верующего ученика. Можно предположить, что строение его религиозного акта будет наиболее близко к вере его отцов; но в жизни бывает и иначе. Необходимо установить при этом, что чем больше его вера будет питаться горением сердца и созерцанием любви, тем ближе окажется ему Православное христианство.

Быть учеником в вопросах веры не значит бережно и ответственно углублять, очищать и расширять свое духовное чувствилище и его содержание; это значит припасть к духовно-религиозному опыту данной церкви, как к некоей «неупиваемой чаше» (Шмелев), и пить содержащуюся в ней мудрость и зоркость — мерою, лично доступною и целительною. Такое ученичество не только не постыдно и не унизительно, а наоборот, — оно в смирении своем мудро и в целительности своей возносяще.

К какому бы исповеданию ни прильнул человек, к какой бы религии он ни приложился, он будет поддерживать общение с Богом. Это общение есть молитва. Опыт молитвы и ответит ему на все поставленные им вопросы.

Так, если вера его построена на духовной любви, то она откроет ему, что Бог есть дух и любовь; что всюду и всегда, где он коснется духа и любви в других вещах и людях, — он коснется как бы ризы Божией, и что каждый раз, как он чувствует в себе самом веяние духа и трепет любви, — он приобщается к Богу живому. Он убедится, что главное и священное в нем самом, то, что составляет подлинную сущность его личности, — не только подобно Божьему естеству; но что он сам есть искра этого пламени, водная капля из этого источ-

ника, живое и личное существо (индивидуация), сродное этому Духу. Тогда он скажет: «Я есмь жизнь от Твоей Жизни и дух от Твоего Духа; и то, чего я хочу духом моим, — есть Твоя Воля; и Твоему Делу я хочу служить отныне и до конца; и так как я люблю Тебя, — так, но еще бесконечно совершеннее, я хочу быть любимым Тобою». И одна эта молитва покажет ему, что он услышан Богом и любим Им. И он впервые убедится, что Бог есть Бог личный и живой. Ибо воззвать и быть услышанным; молиться и чувствовать, что молитва дошла и принята; раскрыть свое сердце и почувствовать себя прощенным и исцеленным — значит вступить в личное общение с личным Богом. И, памятуя об условности и несовершенстве всех земных мерил и слов, он впервые скажет о Боге «Отец», а себя почувствует «сыном» этого Отца, состоящим в его неизъяснимой и благодатной любви.

Только духом можно познать Дух, как высшее естество и существо всех вещей и людей. Только через живую, огненную любовь можно познать, что Бог есть Любовь. Только тот, кто чувствует себя «сыном» в духе и любви, может воззвать к Отцу.

И тот, кто раз испытает и постигнет это и после этого прочтет и прочувствует Евангелие, тот увидит во Христе подлинного, единородного Сына Божия и примет Его духом, любовью и верою.

3. Любовь и вера

В этом описании нет никаких отвлеченных выдумок или произвольных построений. И в том, что здесь изложено, нет безответственного фантазирования или темного суеверия. Здесь свет разума не меркнет, здесь только устранены сумерки плоского рассудка и предоставлена свобода опыту сердца. Здесь все покоится на живом, подлинном, духовном опыте. И было бы хорошо, скромно и разумно, если бы тот, кто не пережил этого духовного опыта и не хочет приобрести и пережить его, — воздержался бы от суждений и отказался бы от праздной, иронической критики. Человек, не воспринявший Иисуса Христа духом и любовью, поступил бы лучше всего, если бы судил о Христе и христианстве с чрезвычайной осторожностью и отнюдь не причислял бы себя к врагам христианства. Часто, слишком часто безбожник является безбожником только потому, что он еще не выработал в себе духовного созерцания и держится неверного мнения, будто такой душевной способности нет и не может быть. Если я не знаю, где дорога в Иерусалим, — могу ли я заключать из своего незнания, что ни Иерусалима, ни дороги к нему вообще не существует? Или если знающий эту дорогу затрудняется описать ее другому, то можно ли отсюда делать вывод, что он этой дороги совсем не знает или что он просто обманщик? Не всякий, живуший духовным опытом и духовной любовью, может научить других этому опыту и этой любви или описать их, обосновать их и раскрыть их сущность, — для этого нужны особые способности и дары. Но кто берет на себя эту задачу, тот должен

быть в самом деле мастером духовного опыта; он должен уметь жить, воспринимать и созерцать в духовной любви; ибо если он этого не умеет, то он не может быть ни учителем, ни духовным воспитателем.

Итак, духовный опыт, этот живой источник веры и религии, — не есть ни выдумка, ни суеверие. Он есть подлинная реальность; и каждый может и призван пережить его, удостовериться в нем и усвоить его (конечно, каждый по-своему и в своих пределах). И тогда он увидит, что из этого источника действительно проистекает благодатный поток в человеческую жизнь и во всю человеческую культуру.

В строении и осуществлении духовного опыта отдельные люди и народы не похожи друг на друга. Так, например, история знает целые народы, которые искали «совершенства» прежде всего и больше всего в чувственном созерцании (греки); вследствие этого они создали религию образной красоты и боги их остались пластическими, человекообразными индивидуальностями, носителями силы, духовно и нравственно несовершенными существами, несмотря на завершенность их красоты и величия. Наряду с этим история отмечает такие народы, которые искали «совершенства» в соблюдении законов и обрядов, предписанных им высшим авторитетом (иудеи); вследствие этого они создали религию строжайшей обрядности; и даже глубокие нравственные прозрения их позднейших пророков не могли ни изменить, ни отменить выработанное ими национальное понимание религии...

Еще гораздо многообразнее духовные пути отдельных людей. Есть люди, которые ухватывают край ризы Божией в искусстве и через искусство; они понимают и осуществляют искусство как особый способ видеть и изображать божественную сущность мира и человека. Наряду с ними есть другие люди, которым вдохновение благородного искусства говорит очень мало; но зато сердце их расцветает в живой любви к ближнему, так что они приходят к духовному опыту и созерцанию Бога именно на этом пути. Есть люди, которым свет Божий дается в созерцании справедливости и права, в мудром, неподкупном, художественно-чутком правосудии; другие находят тот же луч Божий в мужественном и терпеливом несении страданий; иные созерцают мудрость Божию в природе и ее таинственно-прекрасной жизни; иные вступают с Богом в непосредственное общение в излиянии простой, одинокой, искренней молитвы... Ни один из этих путей не подлежит отвержению; каждый из них может и должен привести человека в священное средоточие веры, к Богу, Отцу всяческих. Евангелие объемлет все эти пути, и всякие иные пути, говоря: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумение твоим; и всею крепостью твоею»; и затем: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мтф., 22,37; Марк., 12, 29—30; Лук., 10, 26—28).

Итак, не подлежит сомнению, что духовная любовь и духовный опыт даются не всем людям в одинаковой мере и в одинаковом виде. Они сами (и любовь, и опыт) суть дары благодати, и кому они

даются «сами собой», как бы «от природы», тот не имеет заслуги. Однако возможно и необходимо беречь этот дар, растить его, открывать ему доступ во все внутренние пространства души и предоставлять ему водительство в жизни. И подобно этому возможно и необходимо передавать этот духовный свет другим людям, никогда не думая о том, что, может быть, есть на свете такие, которые навеки лишены благодати: ибо если бы даже существовали на свете такие люди, то кто же из нас знает этих несчастных? А опыт свидетельствует о том, что огонь духа, проникая в сердце зачерствелого человека, способен зажечь его, и притом именно потому, что под ста дурными слоями таинственно тлела Божия искра.

А раз живая и подлинная вера возникнет из духовной любви и укрепится в духовном созерцании, то она непременно захватит последнюю глубину человеческого существа и проникнет из нее во все сферы личной жизни. Духовная вера как бы отверзает у человека новые очи, или натягивает в его душе новые струны и заставляет их звучать; возникают новые, более благородные, утонченные потребности; он начинает видеть и постигать то, что остается скрытым от неверующих людей, — стихию священного в человеческих душах и в мире вещественной природы. Само собой разумеется, что умеет наблюдать и неверующий; но наряду с этим и сверх этого он видит в мире и в человеческой истории некий высший смысл, другие высшие и могущественнейшие законы, правящие миром: законы Провидения, Духа и Божественных целей, а также законы человеческой свободы, подвига, правоты и греха...; в общем и целом — особый мир, таинственно скрытый в видимом мироздании; мир, в который духовно живой человек всю жизнь всматривается, как сквозь завесу, и к которому он прислушивается как бы издали. Из этого внимания, из этого зрения и слуха и возникло все великое, созданное людьми в их истории.

Вот почему мы утверждаем, что из этой области текут благодатные, творческие струи в человеческую жизнь и во всю человеческую культуру. В этом потоке, который изнутри проникает, облагораживает и освящает все человеческие дела и создания, — все рождается как бы заново, все получает священное значение, глубокий смысл, внутреннюю, неколеблющуюся опору, духовную верность и побеждающую силу. Именно к этому зовет наш ясновидящий Тютчев:

Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!
(«Весна»).

Но если этот миг придет, то он, наверное, повторится и упрочится. А если он овладеет душой, тогда вся несостоятельность безбожного искусства, богоотрицающей науки, противодуховной политики и черствой, антисоциальной общественности обнаружится воочию и покажется сущим мраком и крушением по сравнению с культурой, религиозно овеянной и освященной.

Итак, человек не может жить без веры. Но без веры в Бога жизнь человеческая становится бесплодной, пошлой и разрушительной — мнимой жизнью, ведущей к бесчисленным страданиям и всеобщему разложению.

Путь же к вере и к Богу именуется духовной любовью. И первое, что она может и должна дать, — есть свобода.

Глава третья
О СВОБОДЕ

Скажи им таинство свободы.
А.С.Хомяков

1. Внешняя свобода

Исследуя вопрос о вере, я пытался показать, что, веруя в Бога, человек создает свой реальный жизненный центр и строит, исходя из него, свою душу: благодаря этому он сам становится живым духовным единством, с единственным центром и неколеблющимся строением, — он приобретает зрелый и законченный духовный характер. На этом пути он обретает священную и главную цель своей жизни, которою стоит жить, за которую стоит бороться и в борьбе за нее — отдать свою жизнь: эта главная цель его жизни именуется делом Божиим на земле, т.е. делом религиозно осмысленной духовной культуры.

Оказывается, что вера совсем не есть просто некоторое «ощущение» или «чувство». Напротив, она есть некий целостный жизненный опыт, некое миросозерцание и система действий; она вовлекает в свой процесс и волю, и мысль, и слово, и дело — все сразу, всего человека целиком; ибо вера исходит из последней глубины человеческого существа и потому неизбежно захватывает всего человека. Только при этом условии вера становится деятельной, творческой верой: укорененной, искренней, цельной и победной.

Но для того чтобы вера возникла, и разгорелась, и приняла такую силу и обличие, — человек должен быть в своей вере свободен.

Что значит — «свободен»? Какая свобода имеется здесь в виду? Свобода от чего и ради чего?

Здесь имеется в виду прежде всего внешняя свобода человеческой личности. Не свобода делать все, что кому захочется, с тем, чтобы другие люди не смели никому и ни в чем мешать; но свобода веры, воззрений и убеждений, в которую другие люди не имели бы права вторгаться с насильственными предписаниями и запрещениями; иными словами, свобода от недуховного и противодуховного давления, от принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и преследования. Ввиду того что здесь дело идет об ограждении извне духовного опыта и веры, такую свободу можно обозначить как «внешнюю» или «отрицательную», она ограждает интимный и глубокий процесс богоискания от насилия со стороны других людей, и по-

стольку ее можно обозначить еще и как «общественную»... (Обычно ей присваивают название «свободы совести», что совсем не точно.) Ее формула может быть выражена так: «не заставляй меня насильственно, не принуждай меня угрозами, не запрещай мне, не прельщай меня земными наградами и не отпугивай меня наказаниями...; предоставь мне самому испытать божественность Божественного, уверовать в Бога и свободно принять Его закон моим сердцем и моей волею»... Эта формула требует для человека «религиозной автономии» (букв. с греческого — «самозакония»), в отличие от «гетерономии» (с греч. «чужезакония», т.е. предписания или запрещения, идущего от других людей). Только по недоразумению можно противопоставлять этому «религиозному самозаконию» (автономии) «теономию» (богозаконие); ибо всякое «богозаконие» может состояться только автономно.

Не подлежит никакому сомнению, что человек в своем общественном воспитании и в государственной жизни безусловно нуждается в гетерономных, т.е. идущих извне, предписаниях и запрещениях, причем эти предписания и запрещения должны быть часто поддержаны угрозою, а иногда подкреплены силой и принуждением. Пока люди не научатся самостоятельно преображать зарождающиеся в их собственной душе дурные влечения; пока они не научатся обессиливать чужие дурные намерения при помощи любви, ласкового взгляда и доброго слова, превращая чужую злобу в благородную доброту (а когда это будет?!. и будет ли?!.), до тех пор в этом порядке ничего не изменится. Однако если бы люди и научились этому, гетерономные приказы и запреты не исчезли бы из жизни, — ибо ни воспитание детей, ни создание прочных и больших общественных организаций, покоящихся на положительном праве (от научного общества до государства и международной организации включительно), не могут обходиться без таких гетерономных правил.

Но духовная любовь, вера в Бога и вообще личные убеждения не создаются такими приказами и запретами. Всякое чужое принуждение, — в чем бы оно ни выражалось и какие бы формы оно ни принимало, — подходит к человеку «извне» и надвигается на него в известном смысле «сверху», т.е. в порядке обязывающего авторитета; поэтому оно оказывается неспособным захватить последнюю глубину сердца, пробудить ее и обратить к Богу. На такое давление, приходящее «извне» и «сверху», внутреннее ядро человека отвечает обычно сопротивлением и возмущением или, еще хуже, ожесточением, упрямством и ненавистью. Тогда подавленный человек вместо того, чтобы пользоваться своею свободой из глубины и по существу, вместо того, чтобы строить по-своему свой духовный опыт, — начинает взывать к формальной свободе, ссылается на свое неотъемлемое право и вступает в борьбу за него; и если бы даже налагаемые на него приказы и запреты содержали самую единую и единственную религиозную истину, — то в этом случае они не только не открыли бы его душу для приятия ее, но замкнули бы его душу в слепоте и глухоте...

Запрет и принуждение, угроза и страх могут вынудить у человека только лицемерную «любовь» и лицемерную «веру»; а эти вынужденные, показные, неискренние проявления скрывают за собою или прямое лукавство, или же испуганное, мертвеющее сердце; и все усилия и нажимы власти достигают только того, что истинная любовь и истинная вера гибнут или совсем не возникают в человеческой душе: в ней все становится искусственным, натянутым, раздвоенным, фальшивым и потому — бессильным и, в сущности говоря, кощунственным; ибо священное требует искренности, и Божественное не терпит расчетливого притворства или лицемерия...

В этом ничего не меняется и в том случае, если человек, поставленный под угрозу и принуждение, принимает внутреннее решение — принудить самого себя усилием воли к «любви» и «вере», т.е. заставить себя насильственно разлюбить любимое и полюбить нелюбимое или разувериться в том, во что он верит, и поверить в то, во что ему не верится. Это не удастся ему. Ибо на самом деле в органически здоровой душе воля не может породить любовь и веру; напротив, она сама получает свое горение и освящение из священного огня невынужденной любви и свободной веры.

Несомненно, воля может жить, господствовать и вести человека и без любви, но тогда она оказывается холодной и сухой, формальной и безжалостной. Воля может обходиться и без веры, но тогда она оказывается оторванной от духа и святыни, беспринципной и безнравственной, чем-то вроде испорченного автомата или зверя, вырвавшегося из клетки. Можно даже решиться на такой опыт: не любя, притвориться любящим и действовать из притворной любви; и не веруя, симулировать веру и подражать во всем верующим, — все это в тщетной надежде, что, может быть, когда-нибудь потом, вследствие такого притворства и таких неискренних усилий, любовь и вера присоединятся к этим упражнениям; такие люди начинают с вынужденных внешних поступков и надеются привлечь этим в душу священный огонь. Иногда такие неискренние упражнения приводят к ряду общественно полезных действий, особенно в сфере так называемой «общественной благотворительности». Но ни одно из этих действий не входит полноценным звеном в живую цепь Божьего дела на земле... И если бы впоследствии священный огонь любви и веры вспыхнул однажды над такими лицемерами и мертвыми делами, то оказалось бы, что человек любит лишь с того мига, когда его сердце загорелось изнутри; и что вера его началась лишь с того момента, когда глубина его души была искренно захвачена и свободно обратилась к Богу. Все же прочее до этого оставалось системой лицемерия.

Никогда еще ни одному человеку не удалось и никогда ни одному не удастся полюбить на основании приказа или искоренить в себе веру на основании запрета. И если любовь возникает после приказа, то она возникает не по приказу, а вопреки ему и независимо от него; т.е. любовь приходит сама, а приказу не удается помешать ей и сделать ее невозможною. И если вера исчезает после запрета, то она исчезает не на основании его, но на основании других душевных пе-

реживаний, а может быть, и вследствие того, что она была мнимая и что на самом деле ее вовсе не было.

Божественный огонь в человеке, который в нем любит, верует и творит, — не может быть ни произвольно вынужден, ни произвольно погашен; все, чего здесь можно достигнуть, — и то лишь вследствие человеческой слабости и робости, — это временного умалчивания о нем, воздержания от внешних высказываний и проявлений (т.е. ухода в душевную катакомбу).

Есть закон, который надо продумать и усвоить раз навсегда: внешнее давление, со всеми его угрозами, насилиями и муками, и духовный огонь во всей его непроизвольности и священной властности — чужеродны друг другу («гетерогенны»); они суть проявления различных сил и сфер, причем высшая сила (дух) властна над низшею, она может вызвать ее к жизни и остановить ее изнутри; но низшая сфера не властна над высшей; внешней силе подчинено только внешнее. Вот почему прав Шопенгауэр, когда он говорит: «Вера подобна любви, ее нельзя вынудить. И потому это рискованная затея — пытаться ввести ее при помощи государственных мероприятий»... И прав русский поэт, сказавший о духовном творчестве:

Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет;
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!

(Граф А.К.Толстой. «Иоанн Дамаскин»).

Без этой свободы человеческая жизнь не имеет ни смысла, ни достоинства; и это самое главное. Смысл жизни в том, чтобы любить, творить и молиться. И вот без свободы нельзя ни молиться, ни творить, ни любить.

NB *Размышления И.Ильина о свободе вероисповедания лежат в русле его отношения к свободе вообще. Это звучит весьма актуально в наше время, когда мы можем наблюдать повальное увлечение религией. Безусловно, для многих людей обращение к Богу явилось естественной и абсолютно искренней потребностью. Но как много мы видим сегодня пришедших не к Богу, а за своеобразным ритуалом, духовный смысл которого ускользает от такого «потребителя» религии. Должно пройти какое-то время, чтобы «наш человек» действительно почувствовал истинную свободу духа, определяющую его осмысленный выбор. Кстати, как ни странно, средства массовой информации, и прежде всего телевидение, дают возможность видеть этот процесс в режиме реального времени. Когда мы видим всевозможные трансляции из храмов, ведущих богослужение, трансляции различных религиозных праздников, телевидение при помощи крупных планов дает возможность увидеть лица, которые говорят о многом. Возникает ясное понимание необходимости сохранения с самого раннего возраста той искренности и естественности, которые и могут привести впоследствии к осознанному выбору веры. Разрушенные традиции так скоро не восстанавливаются, требуются длительные и кропотливые усилия церкви, государства, общества.*

1. Веровать и молиться можно только самому, по доброй воле, искренно, из глубины. Нельзя молиться по приказу и не молиться по запрету. Молитва по приказу не нужна ни Богу, ни себе, ни людям; и тот, кто запрещает молиться, делает вредное противорелигиозное дело. Отсюда — свобода верования, исповедания и любви.

2. Любить можно только самому, искренно, по доброй воле, из глубины. Нельзя любить Бога, родину и людей по приказу и перестать любить в силу запрета. Вынужденное доказательство преданности, расчетливый, казенный патриотизм — есть притворство и обман; такое притворство ни к чему хорошему не ведет; такой обман никому не нужен. Любовь не загорается по повелению и не угасает по предписанию; она невынудима; и притом всякая любовь и ко всему: и к Богу, и к людям, и к делу, и к природе, и к идеям. Отсюда — свобода духовной любви и убеждений.

3. Творить можно только по вдохновению, из глубины, свободно. Нельзя творить по приказу или не творить по запрету. Вспомним жалобы Иоанна Дамаскина, которому старец запретил вдохновенное пение:

Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И в тишине, над чутким ухом
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы...
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно...
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью...

(Граф А.К.Толстой. «Иоанн Дамаскин»).

И так во всем. Как предписать законы вдохновенью? Как подавить ищущую мысль разума? Можно ли вынудить живой и полноценный нравственно-творческий поступок? Что стоит жизнь без творчества, творчество без вдохновения, вдохновение без свободы? Отсюда — свобода духовного творчества.

Не признающий этой свободы и такой свободы, как основы жизни и как духовной необходимости, — приравнивает человека животному, умаляет человеческое достоинство. Он заставляет человека лгать — Богу, себе и людям. Он искажает естество человека, превращает людей в чернь и, создавая инквизицию или тиранию, готовит себе самому и своему народу печальное будущее.

Свобода есть воздух, которым дышит вера и молитва. Свобода есть способ жизни, присущий любви. Отвергать это может лишь тот, кто никогда не веровал, не молился, не любил и не творил; но именно поэтому вся жизнь его была мраком и проповедуемое им искоре-

нение свободы служит не Богу, а бесу. Не потому ли таких людей и называют «мракобесами»?

Однако не означает ли это, что человеку подобает формальная и безмерная свобода? Не есть ли это свобода творческого разнуздания, свобода разврата в любви, свобода религиозных извращений и бесчинств?

2. Внутреннее освобождение

Понимать «внешнюю свободу» человеческого духа как формальную и безмерную было бы глубокой и опасной ошибкой: ибо внешняя свобода («не заставляй, не прельщай, не запрещай, не запугивай»...) дается человеку именно для внутреннего самоосвобождения; именно от него она получает свое истинное значение и свой глубокий смысл.

Что же есть «внутренняя» свобода?

Если внешняя свобода устраняет насильственное вмешательство других людей в духовную жизнь человека, то внутренняя свобода обращает свои требования не к другим людям, а к самому — вот уже внешне нестесненному — человеку. Свобода, по самому существу своему, есть именно духовная свобода, т.е. свобода духа, а не тела и не души. Это необходимо однажды и навсегда глубоко продумать и прочувствовать, с тем чтобы впредь не ошибаться самому и не поддаваться на чужие соблазны.

Тело человека несвободно. Оно находится в пространстве и во времени, среди множества других тел и вещей — то огромных, как планеты; то больших, как горы; то небольших, как животные и люди; то мельчайших, как пылинки, бактерии и т.д. Все это делает тело человека несвободным в движении; смертным и распадающимся по смерти; и всегда подчиненным всем законам и причинам вещественной природы. Эти законы человек может комбинировать или себе на пользу, или себе во вред, на погибель; но создавать и нарушать их он не может. Он может не знать о них или забыть об их действии, но освободиться от них он не может никогда.

Несвободна и душа человека. Прежде всего она связана таинственным образом с телом и обусловлена его здоровой жизнью. Далее она связана законами времени и последовательности (длительность жизни и отдельных переживаний, наследственность, память и т.д.). Наконец, она связана своим внутренним устройством, которого она сама не создает и нарушить не может: законами сознания и бессознательного, силою инстинкта и влечений, законами мышления, воображения, чувства и воли. Душа имеет свою природу; природа эта имеет свои законы; душа не творит сама этих законов, а подчиняется им и не может изменять их по произволению.

Но духу человека доступна свобода; и ему подобает свобода. Ибо дух есть сила самоопределения к лучшему. Он имеет дар — вывести себя внутренно из любого жизненного содержания, противопоставить его себе, оценить его, избрать его или отвергнуть, включить его

в свою жизнь или извергнуть его из нее. Дух есть сила, которая имеет дар усилить себя и преодолеть в себе то, что отвергается; дух имеет силу и власть создавать формы и законы своего бытия, творить себя и способы своей жизни. Ему присуща способность внутренне освобождать себя; ему доступно самоусиление и самоопределение ко благу. Освободить себя — значит, прежде всего, собрать свою силу, чтобы быть сильнее любого влечения своего, любой прихоти, любого желания, любого соблазна, любого греха. Это есть извлечение себя из потока обыденной пошлости; — противопоставление ее себе и себя ей; — усиление себя до победы над ней. Таков отрицательный этап самоосвобождения. За ним следует положительный этап: он состоит в добровольном и любовном заполнении себя лучшими, избранными и любимыми жизненными содержаниями...

Этот процесс добывания своей внутренней свободы может поставить человека в конфликт с потребностями его тела — ибо дух будет искать и найдет нужную ему (духу!) и верную для него (духа!) меру еды, меру питья, меру движения, меру наслаждения, меру мускульного труда; при этом он будет видеть в теле свое орудие — то непокорное, то покорное — и будет мудро комбинировать законы телесной природы в свою пользу (т.е. в пользу духа). Далее, возможны конфликты с собственными душевными влечениями — ибо дух не может помириться с теми влечениями души, которые ведут человека по пути злобы, порочности, лени, безудержных наслаждений, необузданных порывов, — словом, по пути унижения и разложения.

Найти в себе силу для такой борьбы — значит заложить основу своего духовного характера. Утвердиться в этой силе и внутренно освободить себя (сначала отрицательно, потом положительно) — значит воспитать в себе духовный характер. Это значит добыть себе «самостояние» или внутреннюю свободу; причем имеется в виду не просто бытовая самостоятельность человека, а его духовное самоопределение; и не только внешняя автономия человеческого духа, но внутренняя власть его над телом и душою; и не только это самообладание человека (оно может остаться бессодержательной «выдержкой»), но заполненность душевных пространств свободно и верно выбранными божественными содержаниями, которые приобретаются духовной любовью и религиозною верою.

Освободить себя не значит стать независимым от других людей; но значит стать господином своих страстей. Господин своих страстей не тот, кто их успешно обуздывает, так что они всю жизнь бушуют в нем, а он занят тем, чтобы не дать им ходу, но тот, кто их духовно облагородил и преобразил. Свобода от страстей состоит не в том, что человек задушил их в себе, а сам предался бесстрастному равнодушию (так думали стоики); но в том, что страсти человека сами, добровольно и целостно, служат духу и несут его к цели, подобно «серому волку», преданно везущему на себе Ивана Царевича в тридесятое царство.

Внутренняя свобода отнюдь не есть отрицание закона и авторитета, т.е. беззаконие и самомнение. Нет. Внутренняя свобода есть

способность духа самостоятельно увидеть верный закон, самостоятельно признать его авторитетную силу и самодеятельно осуществить его в жизни. Свобода не есть произвол; ибо произвол есть всегда потакание прихотям души и похотям тела. У свободного человека не произвол ведет душу, а свобода царит над произволом; ибо такой человек свободен и от произвола: он преобразил его в духовное, предметно обоснованное произволение.

Вот что значит свобода, внутренняя свобода. И вот почему я сказал, что свобода подобает духу и должна быть предоставлена именно ему. Это значит также, что внешняя свобода служит внутренней, необходима для нее и дается для нее. Внешняя свобода есть естественное и необходимое условие для водворения и упрочения внутренней. Здоровая религиозная жизнь нуждается в обеих свободах: человек пользуется тем, что его никто не «заставляет» и что ему никто не «запрещает», для того чтобы открыть себе доступ к духовному опыту, пробудить в себе духовное видение, внутренно освободить себя, воспитать в себе духовный характер и определить себя к верным, чистым, нравственным, прекрасным, божественным путям жизни... Из внешней свободы, этой необходимой основы религиозной веры и жизни, — должна возникнуть духовная самостоятельность и самодеятельность человеческой личности в ее отношении к Богу и затем к людям и природе. Тот, кто требует себе духовной свободы, не должен и не смеет понимать ее формально, напр. так: «не заставляй, не запрещай! дай мне свободу делать все, что мне заблагорассудится, хотя бы выколоть себе духовные очи, пасть и погибнуть!» Это означало бы: дай мне внешнюю свободу духа, чтобы я погубил и исказил свою внутреннюю свободу. Или еще короче: дай мне свободу духовной гибели. Детское, ребяческое требование! Именно так ребенок требует себе острое орудие, чтобы злоупотребить им. Я говорю — орудие, ибо внешняя свобода духа есть именно орудие для полного и истинного внутреннего самоосвобождения. Я говорю — острое орудие, ибо духовная автономия при злоупотреблении может стать источником бесконечного вреда и гибельных бедствий.

Люди, требующие себе внешней духовной свободы и не постигающие ее внутреннего смысла и назначения, поистине заслуживали бы того, чтобы им дали эту формальную свободу и изолировали их в пространстве и во времени, чтобы они создали где-нибудь на отдаленном острове общество формально разнузданных и духовно погибающих людей на вечное поучение потомству...

Все эти соображения уже намечают известные границы духовной и религиозной свободы; при этом я имею в виду те положительные границы, которые не стесняют и не ограничивают свободу духа, но помогают ее личному оформлению и здоровому расширению. В стеснениях и ограничениях, вообще говоря, нуждается не свобода духа, а злоупотребляющая свободою бездуховность и противодуховность...

Помочь человеку в его внутреннем освобождении и в установлении его духовной самостоятельности может прежде всего духовное общение с другими людьми.

Есть люди, у которых дух, предаваясь религиозному созерцанию и молитве, нуждается в одиночестве и поэтому удаляется от других людей в уединение. Так обстоит далеко не у всех; и под религиозной самостоятельностью человека следует разуметь не это. Человек может быть и должен быть религиозно самостоятельным везде — и в браке, и в семье, и в приходе, и в церкви. Потому что духовная свобода и религиозная самостоятельность отнюдь не исключают ни общения, ни единения людей. Напротив, истинное духовное единение возможно именно там, где каждый человек стоит духовно и религиозно на собственных ногах, т.е. носит в себе самом живые источники духовного опыта и религиозной веры. Там, где этого нет, там единение не будет на настоящей высоте; а это значит, что там необходимо стремиться к этой личной самостоятельности и внутренней свободе людей.

Вот почему духовная свобода и религиозная самостоятельность людей отнюдь не исключает воспитания и преподавания. Напротив, всякий не доросший до этой свободы должен быть воспитан к ней; и всякий, не имеющий религиозной самостоятельности, поступит правильно, если начнет учиться ей у тех, кто ее уже достиг. Было бы величайшей ошибкой, если бы кто-нибудь, ссылаясь на свободу и автономию духа, потребовал, напр., отмены преподавания Закона Божия для детей и Богословия для взрослых. Ведь самостоятельности надо еще научиться!.. Люди держатся на ногах сами и ходят самостоятельно; однако сначала их учат ходить... И кто захотел бы не учить своих детей ходьбе, а предоставить им свободу ползанья на четвереньках? И точно так же люди читают, считают и рассуждают свободно и самостоятельно, однако сначала их учат этому — в порядке обязательном и авторитетном... Кто согласился бы оставить своих детей малограмотными дикарями — во имя духовной автономии? И вот, подобно этому, человек, владеющий духовным опытом и религиозным видением, призван и обязан передавать другим свою способность и власть. Свободу духа нельзя истолковывать как свободу от духа. Свобода богосозерцания не есть религиозная слепота. И если внешняя свобода духа («не заставляй, не запрещай...») отрицает что-нибудь, то лишь насилие, принуждение, угрозу и подкуп, как средства влиять на религиозную веру людей; но она отнюдь не отрицает ни духовного воспитания, ни религиозного преподавания.

Отрицательная свобода есть лишь путь, ведущий к положительной свободе; средство, ведущее к цели. Можно ли придавать средству такое значение, чтобы настаивать на нем и в случае его негодности? Кто согласится принимать неподходящее, вредное лекарство только из уважения к его «лекарственности»? Если человек превращает свободу духа — в свободу от духа, то она будет у него отнята... Так было в человеческой истории много раз; так будет и впредь. Если внешняя свобода духа развращает человека и делает его разнузданным, то самое разнуздание его вызовет к жизни такой строй и такую власть, которые урежут или погасят эту свободу. К этому не стоит даже призывать, ибо это исторически неизбежно.

Внутреннее око человека призвано к тому, чтобы свободно, добровольно, без принуждения обратиться к духу и ко всему Божественному на земле и в небе; и высший смысл всех правовых установлений и государственных законов состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить людям эту возможность. Но пользование этой внешней свободой для совращения себя и других людей, и особенно малолетних, в бездуховное и противодуховное состояние — не может быть допущено. Свобода не есть свобода духовного растления. Глазному врачу предоставляется свобода лечить глаза пациентов по своему крайнему разумению и искусству; но предоставляется ли ему свобода выкалывать глаза своим пациентам? Подобно этому всякая соблазнительная и разлагающая пропаганда безбожия и противодуховности есть не что иное, как систематическая работа над выкалыванием духовных очей у людей наивных и доверчивых.

Акт духовного опыта, духовной любви и веры своеобразно слагается и вынашивается народами на протяжении столетий. Он созревает преимущественно в бессознательном порядке и притом медленно, передаваясь в процессе воспитания и преемства от одного поколения другому. В этом процессе каждое новое поколение получает сначала в детстве воспитательный заряд внутренней свободы, а потом, к зрелому возрасту, — все увеличивающуюся от поколения к поколению долю внешней свободы, на основе которой оно должно довершить свое воспитание — самовоспитанием. Все это совершалось и совершается совсем не для того, чтобы затмевать священные очи духа злостным издевательством над духом и кощунственным поношением святынь. При этом я имею в виду отнюдь не религиозное сомнение, честное и глубоко прочувствованное... Макс Мюллер, исследователь Востока, верующий и чуткий, глубоко прав, когда говорит: «Искреннее сомнение есть глубочайший источник честной веры. Найти может лишь тот, кто утратил...» Я имею в виду скептицизм предубежденных, злобствующих безбожников, которые стараются систематически привить взрослым и особенно детям слепое отрицание, вызвать в них безнадежное, непоправимое духовное опустошение; это есть всеразлагающая доктрина смерти; духовное оскопление, которое совершается над наивными младенцами (ибо и взрослые люди часто остаются духовными младенцами), завлекаемыми при помощи хитрости и лжи; это есть преступление, подобное тому, которое описано Шекспиром в «Гамлете»: движимый завистью и честолюбием один брат вливает в ухо другому брату (Королю), во время сна, смертельный яд; — ибо поистине дети, а нередко и взрослые подобны духовно спящим, а безбожная пропаганда разливает разрушительный и смертельный яд.

Государство обеспечивает людям права свободы; но ни одному человеку не может быть предоставлено право на преступление. Истолковывать свободу как право на злодейство могут только или совсем наивные люди, или преступники.

В вопросах религии человек может заблуждаться. Можно сказать и еще больше: эту возможность надо предоставить людям, не опаса-

ясь искренних и честных еретиков. Ибо опасность заключается не в том, что человек, искренно ищущий Бога, увидит его по-своему и окажется еретиком. Опасность в том, что человек захочет уйти от духа и Бога и вслед за тем увлечь за собою других — сначала лукавством, ложью, издевательством и мнимыми доказательствами, а потом принуждением и террором; он начнет с проповеди вседозволенности и с злоупотребления внешней свободой, а кончит тем, что окончательно повредит драгоценный процесс внутреннего самоосвобождения.

Не прав ли глубокомысленный Карлейль, когда он восклицает: «Свобода суждения! Ни одна железная цепь, никакая внешняя сила никогда не могла принудить человеческую силу к вере или к неверию; суждение человека есть его собственный свет, который нельзя отнять у него; в этой сфере он будет господствовать и веровать по милости единого Господа...» Но, добавляет он, при этом «совсем не необходимо, чтобы человек сам открывал ту истину, в которую он потом будет веровать...» «Человек может усвоить себе нечто и потом самым искренним образом вработать в свое достояние то, что он получил от другого, и притом испытывать к этому другому чувство безмерной благодарности. Ибо ценность оригинальности состоит отнюдь не в новизне, а в искренности...»

Эта высокая оценка свободы имеет истинно христианский характер. Ибо Христос пришел на землю (по выражению одного древнего христианского источника), «чтобы убедить, а не чтобы подвергнуть принуждению», т.е. чтобы свободно вовлечь человека в процесс обращения и внутреннего освобождения. А у апостола Петра читаем: «ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, — как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» (Первое послание Петра. Гл. 2, 15—16).

Нельзя обратить человека к вере посредством меча и силы. Вспомним замечательную и мудрую инструкцию, данную московским митрополитом Макарием в 1555 году первому казанскому архиепископу Гурию: «Всякими обычаи, как возможно, приучать ему татар к себе и приводити их любовью на крещение, а страхом их ко крещению никак не приводити». Меч может быть только отрицательным средством по отношению к воинствующему сатане, внешним средством для защиты внутренней священной свободы человека против разрушительного злоупотребления внешнею свободою.

Внутренние пути слагающейся, колеблющейся, заблуждающейся, крепнущей и исчезающей веры — суть пути сложные, трудные и многообразные, и людям далеко не всегда и не легко удается разбирать, что написано на путеводных камнях или столбах духа и куда они указуют. Человеческая душа, бредущая по этим путям и сбивающаяся с дороги, есть существо нежное, впечатлительное и беспомощное: она нуждается в помощи, в указании и наставлении, точно так, как об этом рассказывается в русских сказках. От кого же ждать ей помощи и наставления, если не от тех, кто уже владеет зрелым

духовным опытом и верным религиозным видением? И почему эта помощь и это наставление могли бы урезать ее свободу? Разве, заблудившись в незнакомом городе или в лесу, мы не расспрашиваем встречного доброжелательного путника о верной дороге и не пытаемся следовать его авторитетным указаниям? И кто из нас, видя, что человек тонет в полынье, не начнет спасать его? Кто из нас бросит его на произвол судьбы, ссылаясь на его «свободу» и «самостоятельность»?

Благодать духовной любви сообщает человеку искусство религиозного созерцания; это искусство может быть развито и углублено, если человек будет предаваться духовному опыту, очищая свою душу и восходя к синтезу веры, видения и разума. (Разум отнюдь не следует смешивать с оттененным рассудком, формальным, пустым, прикованным к чувственному опыту и оторванным от духа и видения.) Так возникает как бы целый хор духовно поющих индивидуальных голосов; или иначе: живое сословие учителей духовного опыта, веры, религиозной деятельности и богословского догмата — иерархия, или класс священноначалия (в различном порядке слагающийся в разных религиях и исповеданиях). Они-то и образуют руководящий религиозный авторитет в каждой церкви. Это как бы живые светильники духа и веры, художники богопознания — естественного и богооткровенного; и их авторитетное руководство и поучение в вопросах религии не только не умаляет духовную свободу, но, напротив, идет ей навстречу, укрепляет, расширяет и воспитывает ее. Ибо, повторяю, духовная свобода совсем не сводится к отрицанию чужой опытности и мудрости, но состоит в том, чтобы внутренне освободить себя для духовной жизни без внешнего насилия, принуждения и запугивания.

Вот почему дети в особенности не могут быть предоставлены на произвол «внешней» и «отрицательной» свободы; напротив, они должны быть подготовлены и воспитаны к «внутренней», «положительной» свободе. Дело не в том, чтобы «оставить их в покое» или «никак не вторгаться в их внутреннюю жизнь»; но в том, чтобы пробудить их к духовной жизни — не насилием, а любовью, не запугиванием, а живым примером. Духовная свобода ребенка совсем не состоит в том, чтобы он рос, как лопух у канавы или одичавший кролик в лесу, но в том, чтобы он приобрел внутреннюю способность — достойно пользоваться свободой и духовно заполнять свою внешнюю «невынужденность» и «незапуганность». Внешняя свобода необходима для внутреннего самоосвобождения: она священна только как верный залог внутренней свободы; но предоставлять ее человеку для унизительного и преступного заполнения — поистине нет никакой крайности. Свободен не тот человек, который предоставлен сам себе, которому нет ни в чем никаких препятствий, так что он может делать все, что ему придет в голову. Свободен тот, кто приобрел внутреннюю способность созидать свой дух из материала своих страстей и своих талантов и, значит, прежде всего — способность владеть собою и вести себя, а затем — и внутреннюю способ-

ность жить и творить в сфере духовного опыта, добровольно, искренно и целостно присутствуя в своей любви и в своей вере. Воистину свободен духовно самостоятельный человек; человек же, освобожденный только во внешнем, может злоупотреблять своей свободой и превращать ее в совершенную внутреннюю несвободу, в ужасающее внутреннее рабство.

Итак, религиозное воспитание детей в духе любви и веры пробуждает их к истинной, внутренней свободе, делает их самостоятельными и свободными людьми, закладывает в них как бы первый, священный камень их будущего духовного характера. Нужно совершенное отсутствие духовного опыта, совершенная слепота в этой области для того, чтобы вместе с современными безбожниками изображать религиозное воспитание детей как систематическое превращение их в «идиотов» или как преднамеренное воспитание их к «рабству». К слепоте ведет ребенка не тот, кто отверзает ему духовное око, но тот, кто стремится как бы выколоть ему это око. Словом, верное соотношение духа и свободы состоит не только в том, что дух (т.е. духовный опыт, любовь и вера) нуждается во внешней свободе и требует ее, но еще и в том, что дух освобождает человека внутренне, сообщая ему внутреннюю силу, самостоятельность, характер и крылья для духовно осмысленного и победоносного полета через жизнь и смерть.

Глава четвертая
О СОВЕСТИ

> Возможно ли, чтобы великая душа не имела совести, — самого существа всех действительных душ, великих и малых?
> *Т.Карлейль*

1. Утрата

Людям было бы легче уразуметь закон внутренней свободы и сравнительную условность внешней и политической свободы, если бы они чаще и радостнее прислушивались к тому, что обычно называется «голосом совести». Ибо человек, переживая это изумительное, таинственное душевное состояние, осуществляет внутреннюю, духовную свободу в таком глубоком и целостном виде, что ему невольно открываются глаза на ее подлинную природу: он сам становится духовно свободным в этот момент и начинает постигать эту свободу уже не с чужих слов, не одним отвлеченным рассудком или воображением, но собственным, удостоверенным опытом, главным и драгоценнейшим источником всякого познания. Мало того, человек, верно переживший совестный акт, завоевывает себе доступ в сферу, где долг не тягостен, где дисциплина слагается сама собою, где инстинкт примиряется с духом, где живут любовь и религиозная вера.

Совесть есть один из чудеснейших даров Божиих, полученных нами от Него. Это как бы сама Божия сила, — раскрывающаяся в нас в качестве нашей собственной глубочайшей сущности. То, на что указывает нам совесть, к чему она зовет, о чем она нам вещает, — есть нравственно совершенное; не «самое приятное», не «самое полезное», не «самое целесообразное» и т.п., но нравственно лучшее, совершенное, согласно тому, как указано в Евангелии: «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный» (Мтф., 5., 48).

Однако, говоря так о совести, я разумею не то, что нередко обозначают этим словом в повседневной жизни. Я разумею живую и не урезанную расчетом христианскую совесть, озаренную и просвещенную Христом, верную Ему и окрепшую на Его заветах. В согласии с некоторыми отцами Церкви можно было бы утверждать, что и в языческом мире, до Христа, были великие и чистые души, которые как бы предчувствовали глагол христианской нравственности, носили его в глубине своего сердца и своей мудрой воли и внимали ему чутко и во многом верно (таковы Конфуций, Лао-цзы, Будда, Зороастр, Сократ и некоторые другие). Это было как бы «естественное» откровение. Но истинное и совершенное откровение пришло после них из чистого и божественного источника; оно было дано для того, чтобы очистить все до глубины, чтобы потрясти и оживить человеческое сердце, растопить застывшую в нем тысячелетнюю льдину, умалить человеческую жестокость и открыть людям доступ к духовному акту совести во всей его чистоте и совершенстве. Здесь и было заложено начало христианской совести.

Нельзя отрицать того, что совесть присуща человеку, так сказать, «от природы». Надо также признать, что вряд ли есть на свете человек, который не носил бы в душе своей ее голоса — пусть в самом первобытном, скрытом виде, так, как если бы совесть изредка стучалась у его двери, или тишайшим голосом взывала к нему из глубины, или вдруг озаряла своим лучом его настроения и злодейства. Во всяком случае тот, кто стал бы утверждать, что на свете есть люди совершенно и окончательно бессовестные, поставил бы перед собою очень трудную задачу. Он должен был бы сам быть настоящим художником совестного акта, как бы мастером и учителем совести; он должен был бы хорошо знать все возможные формы ее проявления; и затем ему пришлось бы вступить в общение с тем, у кого он отрицает наличность совести, и испытать на нем все возможные способы духовного общения, исследования и удостоверения, прежде чем объявить свой окончательный приговор. Но опыт его вряд ли удался бы ему, и притом не только в силу формально-логических оснований, согласно коим нельзя умозаключить от «ненахождения» к «небытию» или от «отсутствия» к «невозможности» чего-нибудь, но в силу оснований содержательных и предметных. Тот, кто возьмется за такое дело, — исследовать и установить наличность или отсутствие совести у другого человека, — и приступит к нему мудро и искусно, тот, наверное, испытает и подтвердит то, что каждый христианский воспитатель и духовник испытал и отметил не раз в своей жизни, а именно: в этих ис-

пытующих беседах, полных христианской любви, проповеднического искусства и живой доказательной действенности (т.е., напр., при совместно совершаемых поступках!), человек, с виду совершенно бессовестный, начнет постепенно обнаруживать такие состояния, делать такие высказывания, как если бы совесть медленно начинала пробуждаться в нем от давнего и крепкого сна; или как если бы серые стены повседневной пошлости, черствости и себялюбия, забот и опасений стали обнаруживать некие светоиспускающие трещины; как если бы и для этого черствого, злого, жестоковыйного человека пробил час пробуждения к духовности, любви и доброте. Здесь обстоит так, как и во всей сфере духа: кто умеет вести раскопки, тот находит; кто верно взывает, тот получает ответ; кто носит в себе живую силу совести, тот сумеет отыскать в своем ближнем, — будь он совсем мрачен и ожесточен душою, — искру священного огня, а может быть, раздуть ее так, чтобы она породила живое пламя. Для того чтобы привести бессовестного человека к покаянию и обращению, необходимо, конечно, истинное искусство; но прежде всего для этого необходимо, чтобы сам обращающий не «проповедовал» отвлеченно, исходя из своей черствости, сухости и пошлости, но взывал бы, исходя из собственного жизненного пламени, уверенно и властно, действуя и как бы заклиная, зажигая огонь в чужом сердце. Тот, кто рассуждает без любви, без веры и огня, кто сам не переживает поистине потрясающую силу совести и не отдается ей, не подчиняется ее действию, — тот носит в душе как бы мертвую пустыню, и его мертвый голос не вызовет ничего, кроме мертвого отголоска из расстилающейся перед ним пустыни. Только живое родит жизнь; дух пробуждается только на зов духа; какой любви может научить нелюбящий? как может неискренний вызвать искру в угасшей душе? А совесть есть сама жизнь, и дух, и любовь, и искренность: сила страшная, и чистая, и божественная...

Беда современного человечества состоит в том, что оно как бы разучилось переживать совестный акт и отдаваться ему; что весь его «ум» и вся его «образованность» есть мертвое и отвлеченное действие рассудка, недурно соображающего о «целесообразности» разных средств, но ничего не разумеющего в вопросе о священных целях жизни. Беда в том, что современный человек научился «относиться критически» к священной, иррациональной глубине совести, ограждать себя от ее голоса и иронически подсмеиваться над совестными людьми. Среди современной интеллигенции царит не высказываемое, но молчаливо подразумевающееся и все более укореняющееся воззрение, будто «умному» человеку, собственно говоря, решительно нечего делать с совестью; у него много других дел поважнее: ему надо приспособиться к сложным законам общественности, хозяйственности и политики для того, чтобы научиться комбинировать эти законы в свою собственную пользу и на этом построить свое благополучие; жизнь становится все сложнее и труднее, борьба за существование требует все большего внимания и напряжения...; при чем здесь «совесть»? что она может дать, кроме новых, и притом бес-

плодных, осложнений и забот? Пускай над ней возятся люди «сентиментальные», «глупые» и не приспособленные к реальной жизни, а им, «умным», — не до того... Хорошо еще, если такой человек однажды, — он и сам не знает, откуда это берется и как он этому поддается, — начнет беспокоиться от каких-то странных внутренних «укоров», которые могут превратиться и в настоящие «угрызения» (а может быть, это только «нервы» начинают «пошаливать»?!..): ибо все-таки эти угрызения и муки означают, что и его великолепный, все предусмотревший ум, интересовавшийся доселе только одной целесообразностью, имеет свой предел, что и его живая душа не исчерпывается ни этим умом, ни его самодовольством...

Христианская совесть, этот драгоценный и благодатный дар христианского откровения, как бы смолкла за последние века европейского просвещения и особенно за последний век капиталистического расцвета. А это указывает на то, что «просвещенному» и безрелигиозному человеку наших дней предстоит вступить на путь больших страданий и потрясений. Ибо совесть не есть какое-то сверхдолжное и недоступное обыкновенному человеку дело «праведника» или «отшельника», ненужное рядовому человеку и бесполезное для верхнего, ведущего социального слоя. Напротив, совесть нужна каждому человеку, и не только в великие, поворотные минуты его жизни, но и в ежедневных делах и в обыденных отношениях; и то, что совсем не тронуто ее лучом, — оказывается не только недоброкачественным в смысле духовной ценности, но и жизненно непрочным, некрепким, в высшей степени подверженным распаду и в личной, и в общественной жизни.

Совесть есть живая и цельная воля к совершенному; поэтому там, где отмирает эта воля, качественность становится безразличной для человека и начинает уходить из жизни; все начинает делаться «недобросовестно», все снижается, обесценивается, становится никому не нужным: от научного исследования до фабричного продукта, от преподавания в школе до ухода за скотом, от канцелярии чиновника до уборки улиц.

Совесть есть первый и глубочайший источник чувства ответственности; поэтому там, где это чувство угасает, — воцаряется всеобщее безразличие к результату труда и творчества; что же могут создать безответственные судья, политик, врач, офицер, инженер, кондуктор и пахарь?

Совесть есть основной акт внутреннего самоосвобождения; поэтому там, где акт исчезает из жизни, внешняя свобода теряет свой смысл, а политическая свобода начинает извращаться; человек теряет доступ к свободной лояльности, и ему остаются только две возможности в жизни: или повиноваться законам из корысти и страха, уподобляясь лукавому и неверному рабу, или не повиноваться законам, всячески изощряясь в безнаказанном правонарушении и уподобляясь непойманному преступнику.

Совесть есть живой и могущественный источник справедливости; поэтому там, где ее лучи уходят из жизни, человек теряет как бы

душевный орган для справедливости и вкус к ней; во что же превратится жизнь в обществе, где этот орган и этот вкус атрофированы? что за суд сложится в этой стране? что за чиновничество? что за торговля? какую жизнь поведет богатый слой общества? какая эксплуатация низших классов водворится в этой стране? какое справедливое негодование начнет накапливаться в низах? какая революционная опасность повиснет над государством?

Наконец, во всяком жизненном деле, где личное своекорыстие сталкивается с интересом дела, службы, предмета, — совесть является главною силою, побуждающею человека к предметному поведению; поэтому там, где совесть вытравляется из жизни, — ослабевает чувство долга, расшатывается дисциплина, гаснет чувство верности, исчезает из жизни начало служения; повсюду воцаряется продажность, ваятоничество, измена и дезертирство; все превращается в бесстыдное торжище, и жизнь становится невозможной...

Вот почему я утверждаю, что совесть есть не только источник праведности и святости, но и живая основа элементарно упорядоченной или тем более расцветающей культурной жизни. Совесть есть то светящееся лоно, из которого исходят, пронизывая всю жизнь, лучи качественности, ответственности, свободы, справедливости, предметности, честности и взаимного доверия. И если бы однажды злому духу в ночи удалось погасить в душе спящих людей все лучи совести, хотя бы на сравнительно короткое время, то на земле воцарился бы такой ад, о котором самые злые сновидения не могли бы дать нам верного представления.

Отход современного человечества от христианской совести чреват величайшими опасностями и бедами. Этот отход будет продолжаться до тех пор, пока не наступит возвращение. Человечеству придется опять пробивать себе дорогу к акту христианской совести. Но сначала оно должно будет заметить эту утрату и постигнуть ее роковое значение, а для этого ему, быть может, придется пережить крушение всего современного строя... Может быть, искра христианской совести возродится только в окончательно сгустившихся сумерках безбожия и распада... Мы не должны считаться с этой перспективой как с неизбежной; напротив, надо сделать все, чтобы предотвратить трагическое крушение нашей духовной культуры. И чем скорее и глубже человечество постигнет природу переживаемого им духовного кризиса, чем яснее оно поймет, что без совести на земле невозможна ни культура, ни жизнь, — тем более бед и страданий будет предотвращено...

2. Неверные пути

Но что же такое представляет из себя акт совести? Как осуществить его? Как он переживается? К чему зовет он? О чем он вещает?

Прежде чем ответить на эти вопросы, мы должны отказаться от того, что обычно понимают под совестью; ибо то, что современные люди представляют себе, говоря о совести, есть нечто искаженное и

несоответственное, как бы духовные развалины, скудные остатки былого христианского храма.

Так, когда современные люди говорят о совести, то они слишком часто имеют в виду не силу положительного зова, но лишь так называемые «укоры совести», т.е., собственно говоря, только негативные остатки ее, болезненный протест вытесненного и не состоявшегося совестного акта. Тот, кто знает только «укоры» совести, т.е. испытывает в душе только ее неодобрительные проявления, наступающие после совершения дурного поступка, — тот, очевидно, не допускает совесть к положительным, творческим проявлениям и, может быть, сам не знает о том, что он ее вытесняет, отодвигает, не дает ее акту состояться и пронизать душу; возможно, что он искажает или извращает этот акт каждый раз, как он намечается или уже состаивается в его душе; возможно также, что он совсем не представляет себе, что это за «акт совести», как и когда он возникает, что он дает человеку и куда он ведет его. Тогда он испытывает только то своеобразное «неодобрение», которое обнаруживается лишь после совершения дурного поступка или осуществления дурного состояния. Это «неодобрение» выражается иногда в каком-то легком и отдаленном «недовольстве собою», а иногда обостряется до мучительного, невыносимого отвращения к своему поступку и к самому себе. Тогда человек переживает некий внутренний разлад, наполняющий душу унынием, тоскою и растерянностью; этот разлад раскалывает душу, повергает ее в состояние раскола и слабости, мешает жить и радоваться; и укоры, встающие невольно со дна души, бывают подчас настолько болезненны, что человек начинает думать об одном — как бы ему спастись от этих гложущих упреков и от этого внутреннего раскола. И не зная, как спастись от них, он переносит свое отвращение и ненависть на самую совесть... Вот откуда это зловещее описание совести у Пушкина («Скупой рыцарь»):

...Иль скажет сын... что меня
И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,
Незваный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают?..

Эта способность совестных укоров — доводить человека до галлюцинаций была не раз описана в мировой литературе (ср. хотя бы у графа А.К.Толстого «Князь Серебряный», «Ночное шествие»; у Шиллера «Разбойники» и у других. Ср. ямбическую сентенцию глубокомысленного римского драматурга начала нашей эры Публия Сириянина: «Nil ist misenus, quam mali animus conscius» («нет ничего более жалкого, чем душа, знающая за собою содеянное зло»).

Может быть, проще всего было бы задушить в себе это совестное неодобрение; вытеснить его туда, в ту самую бессознательную душевную глубину, в которой оно возникает и из которой появляется,

и постараться о том, чтобы оно там более не оживало... Есть люди, которым это, по-видимому, удается; но есть и такие, которых на этом-то пути и ждет крушение.

Те, которым это удается, создают в своей душе как бы некий подземный погреб, в котором они пытаются замуровать или просто похоронить свою совесть со всеми ее укорами; чем тягостнее или даже мучительнее проявлялись доселе укоры совести, чем труднее было удалить их из дневного сознания души, тем ожесточеннее ведется эта замуровывающая или удушающая борьба с совестью, с тем большим гневом или даже яростью воспринимается и вытесняется новое оживление ее укоров. Дело может дойти до того, что каждый намек на совесть или на совестный акт (у самого себя, или у других, или в искусстве) будет встречаться с затаенной иронией или прямым издевательством. Отвращение может перенестись с совестного переживания и на то, к чему оно призывает, и тогда самая идея добра, доброты, добродетели может стать человеку ненавистной и отвратительной. Душа становится циничной, черствой и холодной; и если она не лишена темперамента, то она начинает связывать свой «пафос» с отрицанием нравственности, с проповедью ненависти и мести (напр., доктрина классовой борьбы). Все, что остается в такой душе от совести, сводится к злобной иронии по отношению ко всей проблеме доброты и праведности, и, может быть, остается еще вечная потребность справлять, подобно некоторым дикарям, вызывающий танец торжества и глумления над могилою мнимо-убиенного врага. Чарльз Диккенс рассмотрел и описал этот тип ожесточенных людей с силою настоящего ясновидца; Достоевский вывел его с потрясающей силой и глубиной. Надо признать, что этот тип связан некоторым образом с эпохой капитализма, и особенно мирового капитала, и притом так, что его легко можно встретить в обоих лагерях — и в лагере самодовлеющего мамонизма, и в лагере всепопирающей революционности...

Но если человеку не удается вытеснить совестные укоры и как бы удушить самую совесть, то весь внутренний мир его остается расколотым и ослабленным. Человек чувствует себя где-то в глубине парализованным или сломленным; и это самочувствие оказывается тем более острым, чем больше этот человек был искони предрасположен к добру; чем утонченнее и чувствительнее была его душа от природы. Тогда ему приходится отыскать и установить некий компромисс. Душа жаждет равновесия и ищет спокойствия; она неспособна ни вечно обманывать себя перед лицом совести, ни спокойно выносить и созерцать свою собственную нравственную недостойность. Лучшее, что из этого могло бы возникнуть и что некоторым людям и удается, — это известная нравственная скромность как по отношению к другим людям, так и по отношению к самому себе: «все мы люди слабые и грешные, и не мне судить и осуждать других». Такой человек научается верно разуметь заповедь Христа: «не судите, да не судимы будете» (Мтф., 7., 1)...

Однако наряду с этим может возникнуть и другой, вредный и опасный процесс; а именно — понимание совести снижается или

извращается. Человек, которому не удается поднять себя до совести, начинает опускать ее до себя. Не умея примирить себя с нею, он начинает толковать и даже воспринимать ее как якобы «готовую на уступки». Те содержания, которые совесть дает или на которые она нам указывает, начинают перетолковываться в «нужном» направлении или просто искажаться; человек произвольно излагает и формулирует их, постепенно приближая к повседневным соображениям о жизненной целесообразности и житейской пользе. Отсюда возникает постепенно новое понимание совестного акта, в корне неверное и вредоносное; человек начинает не только ложно мыслить и разглагольствовать о совести, но и утрачивает самый совестный акт в его верном строении: совесть в ее чудесном полногласии и всесилии как бы умолкает в его душе. Тогда человек начинает сам говорить за свою совесть и вместо нее так, как если бы он сам был компетентен выдумывать ее таинственные указания и священные содержания или, во всяком случае, — толковать и формулировать их по своему усмотрению. Отсюда-то и возникают эти ложные ходячие выражения: «моя совесть не протестует, если я поступаю так-то и так-то»; или: «моя совесть разрешила мне то-то и то-то»; и еще: «этот компромисс я уж сумею оправдать перед моею совестью» и т.д. И вот совесть незаметно превращается в какое-то личное консультационное бюро, дающее полезные и успокоительные советы, или как бы в расписание жизненных поездов, в котором всегда указано много разных возможностей, так что человек всегда может выбрать себе самые удобные направления с самыми удобными пересадками во всех затруднительных случаях. Это значит, что акт совести совершенно искажен или утрачен; люди продолжают говорить о нем, совсем не зная, как он переживается и что он дает человеку.

Таковы два основных искажения, которым бывает подвержено у людей переживание совести: 1) вытеснение совестного акта, доходящее до полного ожесточения души; 2) снижение совестного акта в процессе приспособляющихся компромиссов, при помощи произвольного изложения и перетолковывания его содержаний. Классический пример искажения второго рода дают нам «воспоминания» Ксенофонта о Сократе: Ксенофонт не понял своего учителя; он превратил его философические исследования о совести в рассудочные соображения о целесообразном и полезном в жизни отдельных людей и целых профессий; он стал произвольно истолковывать и формулировать показания совести, оживленной в нем уроками Сократа, и создал в итоге некую своеобразную и незабываемую в своей пошлости теорию, от которой Сократ, наверное, отвернулся бы с горечью.

По тому же пути идут и «утилитаристы» всех времен и народов, поскольку они вообще хоть сколько-нибудь касаются в своем опыте проблемы добра. Принципиально говоря, вопрос о нравственно-совершенном решается совестью как особым органом духа или особым актом опытного восприятия, вопрос же о пользе и полезности (utilitas) есть совсем другой вопрос, требующий иного опыта, иных восприятий, иного рассмотрения. Эти вопросы инородны друг дру-

гу; их нельзя смешивать или сливать; недопустимо заменять один из них другим. Полезно то, что является верным средством, ведущим к известной цели; но целей у людей много; эти цели различны, относительны и условны; полезное средство есть причина или орудие, цель есть следствие или желанный эффект; и для установления всего этого нет нужды обращаться к совестному акту и его показаниям. Поистине, для условных целей человека может быть полезным многое такое, что совершенно противоречит голосу совести и нравственному совершенству... И наоборот: добро часто бывает «вредно» дурным людям; а путь нравственного совершенства, подсказываемый совестью, может стоить человеку и здоровья и жизни...

Еще один из классических ложных путей, ведущих не к совести, а от совести, есть путь интеллектуализации совестного акта. Эта ошибка состоит в том, что люди ждут от совести суждения (judicium), т.е. облеченного в понятия и слова приговора. Но для того, чтобы получить такое логически оформленное суждение, необходимо, чтобы между «приговором» и совестным актом вдвинулась функция мышления. Мысль, вдвигаясь между совестью и приговором, начинает сначала заслонять показание совести, потом насильственно укладывать его в логические формы, искажать его своими рассуждениями и даже выдавать себя за необходимую форму совестных показаний. Ум заслоняет совесть; он умничает по-земному, по-человеческому, внося свои эмпирические соображения о целесообразности, пользе и т.д. От этого человек теряет доступ к совестному акту и начинает принимать рассудочные соображения своего земного ума и земного опыта за показания самой совести. Воображая, что он имеет дело с совестным актом, он оказывается на самом деле в положении какого-то морального аптекаря перед какими-то рассудочными житейскими весами, на которых он взвешивает сначала все аргументы «за» такой-то поступок, потом все аргументы «против» такого-то поступка, а в дальнейшем, может быть, и силу доказательности каждого из этих «за» и «против». Все это разрабатывается якобы конкретно, т.е. применительно к типическим, предусматриваемым положениям возможных людей; и по всем пунктам даются более или менее «доказательные» решения и советы. Слагается целая доктрина моральной «казуистики» (от слова «cosus» — «случай»), которая не имеет никакого отношения к совести и свидетельствует только о том, что доступ к совестному акту утрачен.

Такова «моральная теология» католиков и в особенности иезуитов, где из-за умственных построений и логических выводов голос совести перестает быть слышным. Житейский ум с его рассудочной логикой застилает совесть как бы дымной завесой; соображения «за» и «против» поедают друг друга; несомненный, очевидный призыв совести заслоняется условными соображениями о «сравнительно лучшем» и «сравнительно худшем», о «вероятности» того или другого суждения, о «позволенности» такого-то образа действия, о его «сравнительной грешности» и «простительности» и т.д. Совесть перестает быть, по классическому выражению Цицерона, силою

(«vis»), она оказывается растерянною слабостью, подающею более или менее «вероятные» и «доказуемые» советы или позволения в трудных случаях жизни; — и в конце концов от нее, строго говоря, не остается ничего.

Все это блуждание и заблуждение объясняется именно тем, что совестный акт осуществляется в неверном строении, ибо в него включается препятствующая и искажающая сила отвлеченной мысли. Поэтому всюду, где мы находим соответствующие определения совести, мы должны заранее знать, куда это ведет и приведет. Так, уже определение Фомы Аквинского («совесть есть применение науки к какому-нибудь поступку») чревато всеми этими заблуждениями. Нельзя также определять совесть как «суждение ума» («indicium intellectus»); неверно определение совести как «практического предписания разума»; ошибочно начинать с того, что каждое показание совести есть «вывод из двух предпосылок», и т.д. и т.п. Нельзя сомневаться в том, что показание совести в глубине своей и содержании своем — разумно, т.е. соответствует некоторой божественной разумности, вложенной в мир людей, вещей и их отношений. Но дается и испытывается это таинственно-разумное содержание не в формах человеческого интеллекта; и в момент совестного акта сила человеческого ума, «разума» или «рассудка» должна быть приведена к молчанию. Совестный акт не есть акт интеллекта, и задача последнего состоит в том, чтобы удержать свое дыхание и предоставить таинственно-разумному содержанию совести вступить в душу в неумственных формах. В этом отношении опыт совести подобен опыту молитвы и опыту художественному, а не опыту научного анализа, синтеза и доказательства.

Таковы основные ошибки, уводящие человека от верного восприятия совести и ее показаний.

3. Верный путь

Эти критические указания дают нам возможность формулировать те положительные требования, без соблюдения которых совестный акт не может состояться во всей своей силе и свободе.

Итак, совестный акт осуществляется не в порядке рассудочного умничания, суждений, рассуждений, выводов, доказательств и т.п., но в порядке иррационального сосредоточения души. Он не нуждается ни в каких теоретических «построениях», метафизических или эмпирических обобщениях и т.п. Все это не содействует его наступлению, а мешает ему. Тот, кто хочет пережить совестный акт во всей его силе и свободе, тот должен в особенности отказаться от всякого сознательного взвешивания различных доводов «за» и «против», от умственного рассмотрения польз, нужд и целесообразностей, от попыток предусмотреть возможные последствия того или иного поступка и т.д. Все это необходимо в политике, медицине, торговле и других жизненно-практических сферах; но для осуществления совестного акта необходимо прежде всего освободить горизонт своей ду-

ши от бремени этого условного, относительного и предположительного материала. Все это остается в пределах личного знания и субъективного мнения; во все это может быть вложено много житейского опыта, ума и интуиции, но для совестного акта необходимо оставить все это в стороне, извлечь себя из всего этого и уйти в глубину иррационального чувствования... Конечно, в виде исключения, может случиться и так, что совестный акт состоится вопреки всему этому умствованию, прорвется через все эти интеллектуальные баррикады «соображений», «комбинаций», «конструкций» и доказывающих усилий и смоет их своим чистым и могучим током. Но рассчитывать на это нельзя и не следует.

Это требование «свободного горизонта души» относится не только к умственно-рассудочным соображениям, но и к воображению, особенно постольку, поскольку оно приводится в движение и руководится личным интересом и личными склонностями данного человека. Мечтая и опасаясь, вожделея и отвращаясь, человек почти всегда склонен предвосхищать воображением — то желанное, как бы зазывая и подкупая сам себя, то нежеланное, как бы отталкиваясь от него и застращивая себя им. Эти желанные образы и отвратительные фантазии повисают на душе целыми гирляндами, то помогая, то мешая всякому доказательству, окрашивая эмоционально и фантастически умственный процесс и загромождая горизонт души не менее, если не более, умственных соображений. В этом отношении Марк Аврелий был прав и мудр, когда писал: «...устрани воображение, останови влечение, подави свои склонности: предоставь Руководящему Началу господствовать над тобою» («Наедине с собою». IX, 7).

Третье требование состоит в том, чтобы человек, подготовляющий себя к совестному акту, не выдвигал готовых вопросительных формул, в которых бывает предусмотрена какая-нибудь дилемма («или — или — ...»). Например: «что мне в этом случае — говорить или промолчать?»; «идти ли мне добровольцем на войну, обрекая мою семью голоду и холоду, или посвятить себя своей семье и оставить родину на произвол судьбы?»; или еще: «если я брошусь в воду спасать этого утопающего, то я, пожалуй, чего доброго, простужусь?» и т.д. Все такие вопросы (и им подобные) — ошибочны и бесцельны. Они могут только помешать осуществлению совестного акта, и притом потому, что они замыкают его силу и свободу в произвольные, выдуманные, искусственные границы. Объем человеческого ума и опыта — узок и ограничен; а творческая сила совести велика и непредусмотрима. Не следует ставить гению, — а совесть есть именно начало нравственной гениальности в человеке, — узкие, маленькие, глупые вопросы: он на них не может и не обязан отвечать; и если не ответит, то будет прав. Все эти вопросы вращаются как бы в двух измерениях и не предвидят возможностей третьего измерения; а гению видны именно эти, как бы «сверхсметные» возможности... Люди вообще должны понять и усвоить, что искусство ставить верные вопросы нисколько не менее искусства давать верные ответы; ибо есть множество дурных, ложных вопросов, на которые вооб-

ще нельзя и не следует отвечать: все ответы на них могут быть только дурными и ложными. Например, не следует спрашивать: «в какой части тела находится душа человека?» — потому что она не находится ни в какой части тела, ибо она вообще непротяженна и непространственна, и т.п. К сожалению, повседневная человеческая жизнь изобилует такими ложными вопросами, которые нередко переносятся и в публицистику, и в философию, и в науку.

Возможно, конечно, что совестный акт осуществится, несмотря на такой дурной вопрос, и прорвется сквозь эту нелепую преграду, но тогда вопрошающий человек увидит внезапно, что все его вопрошание опрокинуто и отвергнуто и что он сам попал в великое смущение и затруднение; и тем труднее будет ему верно воспринять и постигнуть ответ совести, чем больше веса и значения он, по своей наивности, придавал с самого начала своему дурному вопросу. Однако возможен и худший исход, а именно: человек, насильственно и упорно нажимающий на свое совестное вдохновение, — а совестный акт есть именно акт нравственного вдохновения, — пресечет и обессилит его, не даст ему состояться и не получит никакого ответа. И тогда наступит описанная уже классическая опасность — произвольного искажения или субъективистической подмены совестного показания.

Четвертое требование состоит в том, чтобы человек, вопрошающий свою совесть, обращался к ней не в качестве исследователя, а в качестве деятеля. Испытание совестного акта не должно исходить из отвлеченной любознательности, желающей установить некую теоретическую истину, или (еще хуже) из праздного любопытства, желающего производить ни к чему не обязывающие наблюдения. Конечно, указания и содержания, даруемые совестным актом, могут быть впоследствии теоретически продуманы, формулированы и теоретизированы; мало того, вообще невозможно написать этику, т.е. исследование о добре и зле, без живого, творческого акта совести, ибо при отсутствии его человек лишается основного: самостоятельного и непосредственного нравственного опыта. И тем не менее человек, приближающийся внутренне к акту совести как бы к некоему алтарю, не должен делать это в качестве теоретического исследователя или философа и не должен вопрошать о каком-то отвлеченно-теоретическом жизненном случае. Если он это делает, то он превращает себя в некоторого отвлеченного субъекта познания, а сам он, как живой человек со всей его настоящей сердечной глубиной, он сам, как целостная личность, — остается где-то в стороне и в переживании совестного акта не участвует. Это значит, что он не живет совестью, а как бы подсматривает за нею; что он ограждается от нее, как бы прячется в щель, для того чтобы оттуда «спровоцировать» ее, отнюдь не отдаваясь ей, отнюдь не вводя в это событие всего себя, не бросаясь в него героически, целиком. А вследствие этого возникает опасность, что совестный акт совсем не состоится и что вместо этого «исследователь», сидя в своей засаде, придумает более-менее подходящий или правдоподобный (probabile) ответ — вместо совести и

как бы от ее лица; затем он примет этот ответ за совестное указание и уверит других в том, что так и было на самом деле. В результате совершится подмена совестного акта: содержания его окажутся не подлинными, а выдуманными; человек совершит самообман и в действительности не познает ничего.

Дело в том, что совестный акт есть состояние вдохновенное и целостное. Он не может состояться во всей своей полноте при расщеплении души или при каких-нибудь «резервациях» (оговорках, обходах, исключениях и т.п.). Всякое «постольку поскольку» вредит делу. Но больше всего вредит и затрудняет теоретический «отвод» своей собственной личности. Напротив, вопрошающий свою совесть должен сам предстать перед ней во всей своей цельности; он должен идти не от выдумки, а отправляться от самого себя, вводя в дело себя самого, и притом целиком; он должен спрашивать не про другого и не для другого, а про себя и для себя; и не «теоретически», чтобы выведать и узнать, а практически, чтобы так решить и сделать. Совесть не Пифия, дающая советы другим людям; и не теоретический справочник, вроде таблицы умножения или таблицы логарифмов, который применим и к жизни, и к выдумке. Человек должен обращаться к совести с вопросами своей личной жизни и деятельности; и притом не для знания, а для делания. Он должен собрать себя, сосредоточиться и отдаться целиком этому вопросу: «что мне сделать?»... Так должен начинаться его вопрос. И спрашивать он должен, как уже сказано, не о «самом полезном», или самом целесообразном, или удобном, или выгодном, или здоровом, или умном, или успокоительном, или легком, или приятном и т.д. и т.д., но о нравственно лучшем. Христианину будет легче всего понять, если сказать: о «христиански лучшем», или о том, что Христос-Спаситель совершил бы Сам; или за что Он одобрил бы другого; или о том, что следовало бы сделать по Его слову, для Его славы, ради Него... Есть формула у глубокомысленного художника и философа Н.С.Лескова: «Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: можно ли это сделать во славу Христову? Если можно, так делаю, а если нельзя, — того не хочу делать». («На краю света», глава V.)

Итак, вопрос, обращаемый к совести, должен был бы звучать приблизительно так: «что мне сделать, чтобы совершить нравственно лучшее?»...

Этот основной вопрос не должен подразумевать никакого житейски готового исхода и не должен предвосхищать никакого ответа. И все же он может ставиться в двух различных значениях и толковаться надвое, а именно: во-первых, можно иметь в виду определенное, конкретное жизненное положение, в котором я нахожусь в данный момент, — перед лицом этих обстоятельств, этих людей, этой необходимости действовать; во-вторых, можно иметь в виду общую и основную линию моей жизни и моего поведения. Что же вернее и предпочтительнее?

Первая форма вопроса заслуживает предпочтения в силу целого ряда оснований.

Надо признать, что область совестного опыта вообще совсем не так просто и легко доступна для нас, людей, в нравственном отношении неустойчивых и часто даже беспомощных; поэтому нам не следует браться за самое сложное и трудное, требующее великой духовной мудрости, огромного горизонта и долгого нравственного дыхания. Надо идти к великому от малого; к трудному от легкого; к общему от частного; к силе — от слабости. Между тем вторая постановка вопроса о всей жизни и об ее основной линии является весьма радикальной и трудной; она предполагает в вопрошающем человеке большую внутреннюю свободу, силу характера и, главное, большое и опытно укрепленное искусство в обхождении с совестью. Но даже и при наличности всех этих условий остается опасность, что человек не сумеет верно внять указаниям совести и впадет в теоретическое доктринерство, в отвлеченные выдумки, в чисто утопические требования и построения. Отсюда-то и родятся все эти мечтательные, преувеличенно требовательные, утопические построения, в которых нежизненность сочетается с непримиримостью, а образующаяся между жизнью и доктриною пропасть заполняется (в зависимости от личного темперамента) сентиментальными или свирепыми словами. Напротив, первая формула вопроса, направленная на исход из моего конкретного жизненного положении, начинает именно с малого, легкого, частного и слабого; она ограничивается скромными пределами личного жизненного случая; она является по силам для начинающего, а мы все, увы, все еще остаемся начинающими в сфере совестного опыта; опасность же праздного теоретизирования отпадает здесь совсем.

На свете есть немало моральных философов, которые с этой опасностью не справились; и не только в том смысле, что они желали получить ответ о всей своей жизни сразу, но и в том, что они этот якобы полученный ответ стремились отнести ко всем людям и строили нежизненную утопию.

Такова, например, судьба графа Л.Н.Толстого. Он является, несомненно, одним из замечательнейших носителей совестного акта в 19 веке. И тем не менее можно с уверенностью сказать, что если бы он держался в пределах личного и единоличного, а не теоретизировал бы об «общем» и о великих рецептах спасения всех людей от всех зол и пороков, то он не пришел бы к той парадоксальной, нежизненной и противокультурной доктрине, которая называется «толстовством»; ограничиваясь личным самосовершенствованием, не выступая в качестве пророка и всеобщего обличителя, он был бы целен в своем совестном акте: он бы стал больше действовать и поступать и меньше проповедовать и обличать; он достиг бы большего, а требовал бы меньшего; и наконец, он понял бы, что эти общеутвердительные и общеотрицательные суждения («все люди должны делать то-то, никто из людей не должен делать того-то»), в которых выражалась его доктрина, шли не от совести, а от его собственного рассудка.

Несомненно также, что другой замечательный носитель совести в 19 веке, Виктор Гюго, создал бы гораздо менее театральных поз и

аффектированных (т.е. в выражении чувства преувеличенных и потому неискренних) фраз, если бы он, не претендуя быть нравственным и социальным пророком, умерил свой неистовый темперамент до простой искренней любви и увел бы свою фантазию от театральных «общечеловеческих» эффектов к простому, но художественно чуткому описанию жизни совестных душ.

Наконец, нельзя не признать, что Иоганн Готлиб Фихте, пытавшийся создать в начале 19 века что-то вроде «религии совести» и действительно выдвинувший «метафизику совести», остался для большинства его современников и читателей непонятным, потому что интерес построения единой и логически непререкаемой философской системы возобладал у него над потребностью в искренней простоте и ясной глубине. Иногда прямо кажется, что Фихте, несмотря на его героические усилия быть «ясным, как солнце» и «вынудить» у читателя верное понимание его учения, делал все для того, чтобы укрыть живую совесть, как начало духовного самоутверждения, в непроходимом лесу метафизических хитросплетений.

Все такие попытки в действительности не облегчают человеку доступ к совестному акту, а скорее затрудняют ему этот путь. Совесть не дает человеку никаких обобщений; эти обобщения человек придумывает сам. Совесть указывает человеку прежде всего и больше всего на единый, нравственно лучший исход из данного жизненного положения; всеобщий рецепт совершенства извлекается из этого указания человеческим обобщающим рассудком. Вот откуда множество расходящихся друг с другом моральных теорий: одни люди выдумывают, совсем не обращаясь к совестному акту; другие выдумывают, неверно вопросив его, или неверно вняв ему, или произвольно обобщив его указание. Вот почему гораздо лучше и продуктивнее обращаться к совести много раз для получения единичных указаний в отдельных случаях жизни, чем требовать от нее общих правил и рецептов, которые, быть может (именно вследствие их отвлеченности и общности), удастся «помыслить» и «формулировать», но не удастся применить к жизни. И здесь, как всегда, милосердный самаритянин будет выше теоретизирующего фарисея.

Ко всему этому необходимо добавить еще одно чрезвычайно существенное разъяснение: совестный акт сам по себе совсем не нуждается ни в каких сознательно формулированных или полусознательно предносящихся «вопросах», он может осуществиться и без всякого зова или вопроса, он может состояться по его собственному почину или движению в душе у человека, который к нему не обращался, его не ожидал и, может быть, даже и не хотел его вовсе. У многих действительно хороших людей совестный акт приходит как бы сам; он сам как бы возвышает свой «голос» (на самом деле никакого слышимого «голоса», конечно, нет, это была бы иллюзия или галлюцинация), им не надо ни спрашивать, ни взывать, ни ждать ответа; совесть приходит в движение по собственному побуждению, в силу собственной власти — и указует; а может быть, она, раз осветив душу, никогда уже не угасает и не перестает посылать

свои лучи. Это бывает особенно у тех людей, у которых священные врата между любящим сердцем и сознательным деланием не закрыты и не завалены, но всегда остаются настежь отверстыми в осуществление живой и искренней доброты. И вот в эти отверстые ворота совестное содержание вступает легко и просто, подобно некоему священному и всегда желанному гостю. Тогда совесть чувствует себя в жилище сознательной души как у себя дома, она господствует в нем и распоряжается, а душа, освященная совестью, начинает сама гореть, и светить, и излучать совестные лучи. Мало того, человеческая душа может настолько сродниться с совестью, что утратит грань между собою и ею; тогда человеческое «я» перестает противопоставлять совесть себе, а себя — своей совести; ее зовы становятся «моими» желаниями; и даже этот «переход» от ее зова к моему желанию исчезает. И только тогда, когда «мне» захочется чего-нибудь совестно-неверного, — я услышу в глубине своей протестующий и осуждающий глас совести. Именно это замечательное явление подметил в себе Сократ, указывая на то, что его внутренний божественный глас (по-гречески — «даймоний») никогда не давал ему положительных, побудительных указаний («сделай то-то»), а только отрицательные, воздерживающие («не делай того-то»); понятно, почему это так было: праведная воля Сократа испытывала положительные зовы совести как свои собственные желания и побуждения и воспринимала в себе «даймоний» как нечто сверхличное — только в момент ошибочного волеуклонения. Наивные и неосведомленные люди переводят это словом «демон» и начинают утверждать, будто Сократ знался «с нечистою силою».

Вот почему так важно, чтобы у каждого из нас ворота, лежащие между совестью и нашим сознательно действующим существом, были не только не завалены, но всегда открыты. Главным средством для этого является молитва, внутреннее взывание к Богу, раскрывающее эти таинственные ворота сверху (от сознания) и прожигающее их снизу (из бессознательного) ответными лучами благодати. Пусть это будет молитва без слов и просьб, наподобие того, как молился русский святой Андрей Юродивый: он уходил в одиночество, на кладбище, и, став на колени, часами взывал из последней глубины и полноты, произнося только: «Господи! Господи!!» — и обливаясь слезами. «Ибо, — по слову апостола Павла, — мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». И нетрудно понять, почему здесь так важна молитва: самое воззвание к совести, этот вопрошающий стук у двери ее, есть само по себе не что иное, как особый вид молитвы, а совесть есть сама внутренняя сила Божия в нас, которая открывается нам как наше собственное глубочайшее существо.

4. Совестный акт

Обращаясь к самому существу совестного акта, столь простого и благодатного в переживании, но столь трудно поддающегося описанию, попытаемся установить следующее.

Прежде всего, совестный акт воздвигается (иногда лучше и точнее сказать — разражается) бессловесно, как бы вырастая из иррациональной душевно-духовной глубины, собранной и сосредоточенной надлежащим образом. Он приходит или как бы вторгается своим дыханием из священной глубины человеческого сердца, где нет обычных человеческих слов, с их общим значением, которое постигается то мыслью, то воображением и которое в то же время всегда субъективно перетолковывается; в этой глубокой сфере нет обычных слов, с их звучанием и интонацией, с их ассоциативной окраской и с их логически-стилистическими сцеплениями. Но если бы все-таки решиться говорить здесь о «словах» совести, то нужно было бы подразумевать не привычные для нас, произносимые и звучащие слова повседневности, но те сокровенные и таинственные, логически едва уловимые, беззвучные содержания, для обозначения которых ап. Павел употребил эти чудесные выражения «неизреченные воздыхания» или «стенания»; с тем отличием, что воздыхания или «стенания», о коих пишет ап. Павел, идут как бы от нас и поют о несвершившемся, недостигнутом, а совестные содержания идут как бы к нам и благовестят о состоявшихся зовах и благодатных решениях.

Итак, от совестного акта не следует ожидать ни слов, ни суждений, ни изречений, ни формул. Совестный акт подобен скорее молнии, сверкающей из мрака, или мощному подземному толчку, как при землетрясении. Здесь нет по-человечески раскрытой разумности; но есть как бы некий ослепительный свет, озаряющий внутренние пространства души, от которого человек как бы мгновенно прозревает — ибо совесть есть состояние нравственной очевидности. И в этой очевидности есть некая сокровенная, божественная разумность, которую человек может и должен пытаться перевести на язык своего земного ума; это может ему и не удаться, ибо слова и мысли, которыми он будет при этом пользоваться, будут его человеческие, субъективно использованные слова и мысли, привнесенные им в позднейшем порядке. Совестный акт «гласит» не звуками, не словами и не понятиями; и кто приписывает ему этот «язык», тот вряд ли когда-нибудь испытал его в действительности. Рационалистическое облачение ему неприсуще. Он дает разумное, определенное и очевидное, но не на языке человеческого языка и мышления.

Совестный акт состаивается в душе и проявляется в ней в виде могучего позыва к совершенно определенному нравственному поступку (или образу действий). Условимся называть аффектом пассивно-страдающее чувство, судорожно завернувшееся в себя и ушедшее в виде некоего «заряда» в глубину души; а эмоцией — активное чувство, разряжающееся, вырывающееся из судороги и из плена, наподобие душевно-вулканического извержения. Тогда мы

сможем установить, что совестный акт в своем сильном и свободном проявлении подобен не аффекту, а эмоции; не пассивно стонущему душевному заряду, а активно вырывающемуся душевному разряду. Чем свободнее он проявляется, чем шире открыты ему ворота сердца, чем меньше препятствий на его пути воздвигнуто повседневным сознанием — тем определеннее, тем сильнее, тем непреодолимее оказывается этот порыв, идущий из душевно-духовных недр; тем непосредственнее он обычно переходит в поступок. Этот позыв или порыв к совершенно определенному нравственному действию испытывается нередко как чувство, как эмоция. Однако дело не сводится здесь к одному чувству. Этот порыв его настолько же волевое состояние. Совестный акт есть с чисто психологической точки зрения акт эмоционально-волевой. Это есть как бы глубокий и искренний разряд аффекта в эмоцию и в то же время разряд поддонной волевой силы, приемлющей жизненно-нравственное решение.

Разряжающийся здесь аффект мог бы быть описан как аффект молчаливой духовной любви и в то же время как разряд воли к нравственному совершенству, который, быть может, долгое время сосредоточивался в поддонной глубине сердца и, наконец, разрядился или разразился в описанном нами совестном акте. Бывает так, что эта глубокая аффективная концентрация происходила сама собою в глубине души, так что человек даже и не знал о ней, и не замечал ее. Но бывает и так, что человек ощущает в себе этот накапливающийся заряд чувства и воли, смутно постигая его значение и предчувствуя его дальнейшую судьбу. И не раз уже на протяжении его жизни луч нравственной очевидности, озарявший его душу на мгновение, как бы бесследно исчезал в этой безмолвной тишине сердца; или слеза умиления, любви, благодарности, как бы бездейственно скатившаяся по его лицу, духовно впитывалась в эту таинственную почву. Все сосредоточивалось там: и зрелище чужих неутоленных страданий; и праведный гнев на безнаказанного насильника; и вздохи «униженных и оскорбленных»; и порыв бессильного раскаяния при мысли о непоправимом злом поступке; и радость прощения и примирения; и все — «до сухой слезинки, выплаканной во тьме беззвучной...» (И.Шмелев. «Свет Разума»). Все лучи нравственного чувствования и видения, приходившие из внешнего и внутреннего опыта, — концентрировались там в единый, мощный фокус; все сердечные раны и судороги от этих ран, посланные жизненным опытом, — как бы напрягали там одну аффективно-волевую пружину, которая долго ждала своего часа и наконец дождалась. Нужды нет, что сам человек не знал об этом: Дух совершал в нем свое дело. Все, что с виду «исчезало», на самом деле отнюдь не погибало. В бессознательной бездне сердца происходило не бесследное исчезновение, а накопление, концентрация и перегорание. И вот совестный акт есть разряд этого духовно-аффективного заряда: или как бы воспламенение этого накалившегося угля; или как бы порыв этой скрытой энергии духа; или обнаружение накопленного клада. Совесть вступает в жизнь, как разряд неутоленной духовной любви;

как воля к нравственному совершенству; как порыв к действию, достойному Бога и возводящему к Нему через уподобление Ему. (См. Мтф. 5, 48: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный».)

В тот миг, когда акт совести состаивается, человек оказывается не в состоянии решить, что это — его собственный акт, разряд и порыв или же это в нем проявляется некая таинственная, сверхчеловеческая, Божественная сила; может быть, и то и другое сразу. Но в этот миг человек совсем и не рефлектирует, не наблюдает и не задается такими вопросами; он не расколот душевно, он целен, един, непосредствен и как бы потерян в совестном акте. В этот миг жизнь его состоит в том, что он чувствует, как эта сила схватила его, потрясла, опалила и вот гонит его как бы неким духовным, необоримым ветром к такому-то, совершенно определенному нравственному поступку или образу действий, может быть, прямо бросает его в этот самый поступок... в этот миг он переживает этот поступок как нечто абсолютно необходимое и единственно возможное. Он не размышляет над ним; ему нечего взвешивать и соображать; он не колеблется, — поступает, действует. Он действует так, что сам чувствует себя в этом абсолютно необходимом поступке — совершенно свободным; и он в этом не обманывается, ибо совесть есть один из вернейших путей к внутренней, духовной свободе. И в этот «единственно возможный» поступок свой он вкладывает целиком всю свою душу, он как бы до краев наполняет этот поступок своим присутствием в нем. Это не есть «навязанный» ему поступок, предписанный чуждою силою. Нет, это его собственный поступок, которому он всецело и отдается. Он не может иначе поступить и не хочет иначе поступать, а сердце его полно непоколебимой уверенностью, что он и не должен и не смеет действовать иначе. И поэтому когда он впоследствии мысленно возвращается к этому мигу, — он убеждается, что он иначе не мог хотеть, иначе не хотел бы мочь и не смел поступать иначе. Высший закон совпал с желанием его сердца. Он сам и некая таинственно-священная Высшая Сила, дыхание которой он подлинно осязал в глубине своего сердца, — хотели одного и того же: именно того, что он совершил. Так что он, совершая, был прав перед законом этой Божественной силы, с коей он стал тогда в некое трепетное и блаженное единение.

В такую минуту человек может отдать все свои деньги ближнему, чтобы спасти его из беды; прыгнуть в омут, чтобы спасти утопающего; громко исповедать поруганную и запрещенную истину, не помышляя о том, что исповедничество может стоить ему жизни. В такой миг некий король снял свою шубу и завернул в нее замерзающего нищего. В такой час Петр Великий спасал утопающих на Лахте. В такие часы гордец побеждает свое тщеславие и самолюбие и идет к врагу, чтобы примириться с ним. Это час милосердного самаритянина, который даже не чувствует себя «жертвующим», ибо «жертва» его растворилась в потоке искреннего сострадания. И тот, кто переживал такие состояния, тот знает, что здесь нет также ни «долга», ни

«обязанности». Ибо долг как бы исчез в праведном и целостном волении, он переплавился в доброй воле и не противостоял ей тогда, и не противостоит ей и теперь. И обязанность как таковая совсем не появлялась на горизонте души; была лишь одна свободно признанная необходимость, не расщеплявшаяся на «обязанность» и «влечение». Все утонуло во вдохновенном порыве — свободы и любви...

Кто пережил совестный акт хотя бы один-единственный раз и совершил вытекавший из него поступок, тот никогда не поверит, будто слова «проклятый долг» и «тяжелая обязанность» обозначают высшую, доступную человеку нравственную ступень. Правда, нет никакого сомнения в том, что из двух возможностей «исполнить свой долг» и «не исполнить долга» — предпочтительнее первая. Если есть долг и ты его испытываешь и удостоверил, — то сделай все возможное, чтобы его выполнить. Но надо помнить, что самое «чувство» долга и самая «идея» долга появляются только тогда, когда живое хотение человека не сливается с содержанием долга, противопоставляет себя ему и настаивает на своем. Идея долга выражает такое положение дел: «я должен совершить нежеланное», а «хотел бы совершить недолжное». Именно вследствие этого «долг» становится «проклятым долгом», а «обязанность» испытывается как «тягостная обязанность». Но вот человеку доступно некое высшее состояние: когда долг исчезает в свободном и добром хотении совести, когда он тонет в потоке живой любви, текущем из совестного акта.

Тогда долг означает только остаток практически не победившего совестного зова. То, чего хотел совестный акт, в его любви к Богу и ближнему и в его воле к нравственному совершенству, и что не осуществилось, — то в дальнейшем испытывается как «должное» или «обязательное». И тогда оказывается, что за этим «должным, но не осуществленным» скрывается совесть в форме «укора» или «упрека», вызывая душевную муку и внутренний раскол... Но если выйти из этого раскола и выслушать этот упрек совести до конца, — то тотчас же окажется, что совестный акт вновь вырастает и развертывается из этого укора: ибо смысл укора сводился именно к тому, что совесть им и через него звала человека к себе, в свою священную глубину, к блаженству доброй и целостной воли. Кто может, тот пусть спешит отдаться этой блаженной цельности и совершить «должное» по доброй воле и из свободной любви. Ибо так и только так одолеваются укоры совести: им надо внять, их необходимо «выслушать» до конца и поступить согласно им; и только тогда они вернут свободу, покой, цельность и равновесие страждущей душе. Но тогда и долг утонет в стихии совести; и если появится, то уже не как «проклятый», а как желанный и благодатный.

При таком понимании совестного акта устраняется то мнимое «наблюдение» скептиков, согласно которому совесть якобы «говорит» всем людям различное, каждому свое, так, что о единой совести будто бы нельзя и говорить. Совесть, утверждают такие скептики, – не одна; она субъективна; у каждого человека — своя совесть, которая и несет ему иное, своеобразное, совестное содержание, требуя

от него других поступков. Показания совести у разных людей якобы не совпадают, а иногда и прямо противоречат друг другу...

Это мнимое «наблюдение» и этот скептический вывод выдвигают люди, которые, по-видимому, никогда сами не переживали совестного акта или же переживали его в искаженном и урезанном виде. Это обнаруживается с несомненностью, как только они переходят от общих скептических замечаний к наглядным примерам: совесть, оказывается, требует от одного, чтобы он «любил своих врагов», а от другого, чтобы он, наоборот, — «снимал с них скальпы»; совесть говорит одному «падающего поддержи», а другому — «падающего толкни», и т.д. и т.п. Примеры эти обнаруживают с очевидностью, что эти скептические «наблюдатели», наблюдая человеческую жизнь, не заметили нравственного строения и своеобразия совестного акта и сочли возможным приписать совестному источнику любой совет и любое правило, выдвигаемое людьми по любому поводу. Человеческое сознание знает много «правил» и «советов», которые совсем не связаны с совестью и никакого отношения к нравственному измерению поступков не имеют. Поэтому исследователь обязан, прежде чем относить какое-нибудь «правило» к совести, испытать внутренне совестный акт как таковой, хотя бы уже для того, чтобы на нити его «ученого наблюдения» не оказалось фальшивых жемчужин. Тот, кто хочет наблюдать проявления совести у разных людей и народов, — должен сначала прочувствовать до дна и продумать явление совести, чтобы не приписать ей, напр., воинских обычаев (вроде скальпирования) или правил приличия, предписаний полицейской власти, бытовых советов Молчалина, мнений Чичикова и повадок Гарпагона. Но такова уж судьба всех скептиков и нигилистов: они хотят писать о духе, не испытав его и не ведая его; и не подозревают того, что их ждут самые жалкие недоразумения. Вступая в сферу духа, они не создают ничего, кроме пустой и мертвой, иногда диалектически заостренной схоластики; ибо они судят вне духовного опыта и помимо его и отвергают все, что остается им предметно-неизвестным; но именно поэтому все то, что они могут высказать в этой области, может «иметь значение» только для того, кто сам лишен этого опыта и все-таки пытается судить и рассуждать...

В противоположность всему этому надо установить, что совестный акт, если только он верно пережит и осуществился сполна, несет всем людям однородные содержания и ведет их в одном и том же направлении. Это не следует, однако, понимать в том смысле, что он ведет всегда и всех людей, как бы различны и сложны ни были их жизненные положения, — к совершению одного и того же, однообразного, как бы штампованного поступка. Если бы кто-нибудь стал утверждать это, то он обнаружил бы только, что он никогда не переживал совестного акта и что он представляет его себе наподобие юридического закона, выраженного в общих логических формах и потому склонного уравнивать всех обозначенных в законе людей. А между тем совестный акт, в отличие от всякого формального закона,

имеет в виду не общее всем людям, а индивидуальное состояние одного человека; он не уравнивает людей, а зовет каждого отдельно к осуществлению всего добра, которое ему доступно, и всей справедливости, которая причитается от него другим людям. Если бы все люди стали жить по совести, то они совсем не начали бы делать «одно и то же», хотя все начали бы действовать в едином направлении, ибо совесть несла бы им всем однородные содержания. А это означает, что совесть есть начало не механическое, а органическое; не уравнивающее, а распределяющее; не мертвящее, а творческое; не рассудочное, а любовно-художественное.

Кто однажды имел это счастье — пережить сполна совестный акт, т.е. не только воспринять его зов и луч, но отдаться ему и совершить из него поступок, — тот никогда не забудет этого события своей жизни. Это событие состоит в том, что он в этот миг достиг блаженного единства, душевно-духовной цельности в своем собственной существе, и притом, что важнее всего, цельности в добре. Он не распался в душе своей на «требовательного Господина» и «непокорного, ленивого раба»; но утратил тягу к непокорности и лени и перестал быть рабом; он сам стал Господином, а Господин перестал быть требовательным; и Господин, коему не противостоит более раб, стал впервые свободным и вдохновенно-радостным.

Но этим событие не исчерпывается; это — только личное преддверие к сверхличному обстоянию. Ибо в совестном акте человек ощутил радостную близость к Богу. В самом себе, в священной глубине своего вдохновенного и трепещущего сердца он почувствовал подлинное, живое дыхание Божие, веяние Духа Святого; и, почувствовав его, — свободно и радостно предался ему; не «покорился», как раб покоряется чужому велению, а предался, как свой своему, чтобы утратить себя в единении с Ним, он стал не «орудием» Его, а, хотя бы на краткий миг, живым явлением Его воли, Ее вдохновенным воплощением; он целостно возжелал из Его желания и с блаженством осуществил Его волю как свою собственную. И может быть, теперь впервые ощутил, что значит прошение: «да будет воля Твоя»...

Возможность пережить это, хотя бы раз в жизни, столь драгоценна для человека; а действительное переживание этого события, этого целостного единения своего существа с волею Божиею, настолько значительно во всей его жизненной судьбе, что совестный акт должен быть отнесен к самым чудесным дарам Божиим, которые даны человеку. Этот акт уводит человека вглубь — к тому, что должно быть обозначено как его собственная субстанция, с которой он как бы воссоединяется; а без этой духовной субстанции (или «самосути») каждый из нас превращается в бессвязное множество пустых случайностей или в медиума собственных страстей и чужих влияний, как бы в ворох бумажных клочков, носимых туда и сюда по воле исторического ветра. Можно было бы сказать, что каждый из нас, бесспорно, имеет существование, но истинное бытие мы приобретаем только через духовную любовь и через совестный акт. Вот почему гениальный Карлейль мог сказать: «Совесть есть самая сущность

всех действительных душ, как великих, так и малых»... Это можно было бы выразить и так: совестный акт создает в человеке как бы алтарь его жизни, место его одиноких молитв и благих решений.

Таким образом, верное и целостное переживание совестного акта становится в жизни человека неким переломным пунктом. До этого мига человек был как бы проблематичен во всем своем существовании; в этот миг он закладывает твердую основу своего характера. Отныне он знает, куда он сопричислен и «чей он»; он увидел, к чему он призван, и убедился в этом; его духовное достоинство получило свое утверждение и несомнительную подлинность; он научился духовному самоуважению. Отныне он созрел к внутренней свободе и носит в себе ее живой критерий. Тем самым он проложил себе открытый путь и к политической свободе и понял те опасности, которые она несет «бессовестным» людям. Если он доселе не знал, что есть вера, как она возникает и чем она удостоверяется, то теперь он приобрел живой и священный опыт в сфере духовной любви и духовного единения с Богом и знает отныне, куда ему надлежит обратиться при возникновении религиозного сомнения, своего или чужого, и на что он может опереться. Тот, кто хоть один раз в жизни пережил совестный акт, но только верно и до конца, т.е. до поступка включительно, у того уже имеется духовный камень, на котором он может строить. И если он доселе, как «просвещенный» или «секуляризованный» человек, не мог найти подхода к Евангелию и христианству, то теперь он нашел этот подход, и притом на всю свою жизнь, и ему остается только позаботиться о том, чтобы не потерять этот подход и чтобы сделать его всегда доступным для себя и для других.

Можно себе представить, что все это изложенное здесь учение о совестном акте покажется кому-нибудь «нравственным преувеличением», а потому чем-то «отпугивающим» и «нежизненным»: «совестный акт», скажет и подумает иной трезвый реалист, «вряд ли доступен простому и обыденному человеку; он по плечу разве только праведникам, у которых от праведности исчезают всякие связи с жизнью; ибо жизнь человеческая строится не на праведности, а на живом движении инстинктивного своекорыстия и на живом сплетении противоборствующих личных и массовых интересов; жизнь не нуждается в совестном акте, а совестный акт неизбежно отвергает и разрушает нормальную жизнь»...

После того, что нами уже вскрыто, это суждение не заслуживает подробного опровержения: жизнь человеческая, а особенно духовная культура, строится на взаимном уважении и доверии людей, на чувстве собственного достоинства, на чести, служении, внутренней свободе и дисциплине; а источником всего этого является вера в Бога и совестный акт. Это уже вскрыто нами и показано. Но теперь мы можем добавить к этому еще одно общее соображение.

Совесть светит людям не только в момент совестного акта, но и всю жизнь после него. И чем ранее ребенок переживет его до конца, хотя бы всего один раз, тем лучше. Свет совестного акта имеет

свойство не угасать и тогда, когда по внешней видимости огонь его померк и не горит более; люди не представляют себе, во что превратилась бы их жизнь, если бы совесть угасла в них до конца и навеки, подобно тому как они не воображают себе того вселенского мрака, который окутал бы нас, если бы солнце угасло навсегда; ибо теперешние наши ночи не дают нам настоящего мрака, кромешного, а живут закатившимся солнцем. Пусть человеческая жизнь редко осуществляет совестный акт во всей его силе и славе; она все же остается пронизанной его зовами, его отсветами, его укорами, его обетованиями. Пусть люди суть существа житейского компромисса: эти компромиссы не компрометируют их до конца, пока в глубине сердца жива совесть. Пусть люди жадны, жестки и грешны; но Господь повелевает «солнцу» светить и для праведных, и для грешных. И часто, очень часто человек не сознает мотивов своего поступка, не отдает себе отчета в том, какое влияние на него имеет совесть и до какой степени он, падая и уже пав, спасен и пригрет ее незримыми лучами.

Дело не в том, чтобы все люди стали праведниками; и неизвестно, осуществится ли и когда это неправдоподобное блаженство. Дело в том, чтобы каждое новое поколение расчищало в себе внутренние пути, ведущие к совести, и держало бы открытыми те священные ворота, за которыми она скрывается. Ибо бессовестное поколение, если оно придет когда-нибудь, погубит жизнь человечества и его культуру на земле.

Глава пятая
О СЕМЬЕ

1. Значение семьи

Семья есть первый, естественный и в то же время священный союз, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе, научиться в нем первым совестным движениям сердца и подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения — родине и государству.

Семья начинается с брака и в нем завязывается. Но человек начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не создавал: это семья, учрежденная его отцом и матерью, в которую он входит одним рождением, задолго до того, как ему удается осознать самого себя и окружающий его мир. Он получает эту семью как некий дар судьбы. Брак по самому существу своему возникает из выбора и решения, а ребенку не приходится выбирать и решать: отец и мать как бы образуют ту предустановленную для него судьбу, которая выпадает ему на его жизненную долю, и эту судьбу он не может ни отклонить, ни изменить — ему остается только принять ее и нести всю жизнь. То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его детстве и притом самим этим детством: существуют, конечно, врожденные склонности и дары, но судьба этих склонностей

и талантов — разовьются ли они в дальнейшем или погибнут, и если расцветут, то как именно, — определяется в раннем детстве.

NB *Трудно не согласиться с Ильиным, когда он, отмечая, что невозможно предположить, чтобы все люди стали праведниками, призывает к тому, чтобы каждое поколение расчищало в себе внутренние пути, ведущие к совести. Тревога философа о будущем человечества, его культуре, оказавшихся в руках «бессовестного поколения», вызывает отклик в душе каждого педагога. Именно учитель сегодня оказывается порой один на один с проблемами, стоящими на пути «выращивания» поколения совестливого, в то время как родители пытаются заработать средства к существованию, работая в нескольких местах, возвращаясь домой, когда уже не до воспитания. К сожалению, в современном мире, когда ребенок подвергается множественному воздействию агрессивной внешней среды, оказывается, что кроме школьного учителя практически некому заниматься воспитанием подрастающего поколения, формированием такого уровня совести, который не позволит убить в человеке истинно человеческое. Это невероятно сложная задача. Здесь мало реализовывать самую совершенную образовательную программу, здесь нужно выходить на уровень формирования личности, способной к сочувствию, сопереживанию, не столько думающей о своей будущей карьере, способной обеспечить достаточный уровень материального благополучия, сколько понимающей смысл и значение таких понятий, как «совесть», «благородство», «честь», «достоинство». Важно, чтобы это воспринималось не как отвлеченные понятия, рожденные мировой литературой, а как неотъемлемые ценностные ориентиры, определяющие уровень сформированности личности. Есть даже закон о свободе совести. Задумываемся ли мы над тем, что он предусматривает? Наверное, совесть, как и многие так называемые «отвлеченные» понятия, могут пониматься по-разному в разных национальных традициях, в разные исторические периоды. Но когда читаешь, например, такие строки А.Т.Твардовского:*

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

— понятие «совесть» приобретает вполне ощутимые очертания и заставляет каждого человека обратиться к своей душе и задуматься о себе самом и собственном предназначении в этом мире, о мере собственной ответственности за свои дела и поступки. Понятие «совесть» рассматривается в нашей культуре не только в лирическом ключе. Вспоминается знаменитый фильм Т.Абуладзе времен начала «перестройки» — «Покаяние». Это сильное киноповествование произвело в свое время эффект взорвавшейся бомбы. И не только мерой открытости, поиском нового киноязыка для выражения философии притчи, но и мощным призывом, страстным обращением к совести всех тех, кто так или иначе ответствен за «дорогу, которая не ведет к Храму».

Вот почему семья является первичным лоном человеческой культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со всеми нашими возможностями, чувствами и хотениями; и каждый из нас остается в течение всей своей жизни духовным представителем своей отечески-материнской семьи или как бы живым символом ее семейственного духа. Здесь пробуждаются и начинают развертываться дремлющие силы личной души; здесь ребенок научается любить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему и чем?); здесь слагаются первые основы его характера; здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и несчастья; здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого впоследствии развивается великая личность или, может быть, низкий проходимец. Не прав ли Макс Мюллер, когда он пишет: «Я думаю, что там, где речь идет о воспитании детей, к жизни надо подходить как к чему-то в высшей степени серьезному, ответственному и высокому»; и не прав ли немецкий богослов Толук, утверждая: «Мир управляется из детской»... Мир не только строится в детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спасения, но и пути погибели. И если мы подумаем, что «следующее поколение» все время вновь нарождается и воспитывается и что все его будущие подвиги и преступления, его духовная сила и его возможное духовное крушение — уже теперь, все время, слагаются и созревают вокруг нас и при нашем содействии или бездействии, то мы сможем отдать себе отчет в том, какая ответственность лежит на нас...

Все это означает, что семья есть как бы живая «лаборатория» человеческих судеб — личных и народных, и притом каждого народа в отдельности и всех народов сообща, с тем отличием, однако, что в лаборатории обычно знают, что делают, и действуют целесообразно, а в семье обычно не знают, что делают, и действуют как придется. Ибо семейная «лаборатория» возникает от природы, на иррациональных путях инстинкта, традиции и нужды; здесь люди не задаются никакой определенной творческой целью, а просто живут, удовлетворяют свои собственные потребности, изживают свои склонности и страсти и то удачно, то беспомощно несут последствия всего этого. Природа устроила так, что одно из самых ответственных и священных призваний человека — быть отцом и матерью — делается для человека доступным просто при минимальном телесном здоровье и половой зрелости, так что человеку достаточно этих двух условий для того, чтобы не задумываясь наложить на себя это призвание... «А чтоб иметь детей — кому ума недоставало?!»...

2. О духовно здоровой семье

...Здоровая семья всегда была и всегда будет органическим единством — по крови, по духу и по имуществу. И это единое имущество является живым знаком кровного и духовного единства, ибо это имущество в том виде, как оно есть, возникло именно из этого кровного и духовного единения и на пути труда, дисциплины и

жертв. Вот почему здоровая семья учит ребенка сразу целому ряду драгоценных умений. Ребенок научается пробивать себе в жизни дорогу при помощи собственной инициативы и в то же время высоко ценить и соблюдать принцип социальной взаимопомощи; ибо семья, как целое, устраивает свою жизнь именно по частной, собственной инициативе — она есть самостоятельное творческое единство, а в своих собственных пределах семья есть настоящее воплощение взаимопомощи и так называемой «социальности». Ребенок научается постепенно быть «частным» лицом, самостоятельной индивидуальностью и в то же время ценить и беречь лоно семейной любви и семейственной солидарности; он научается самостоятельности и верности — этим двум основным проявлениям духовного характера. Он научается творчески обходиться с имуществом, вырабатывать, создавать и приобретать хозяйственные блага и в то же время — подчинять начала частной собственности некоторой высшей, социальной (в данном случае — семейной) целесообразности... А это и есть то самое умение или, лучше сказать, искусство, вне которого не может быть разрешен социальный вопрос нашей эпохи.

Само собой разумеется, что только здоровая семья может верно разрешить все эти задачи. Семья, лишенная любви и духовности, где родители не имеют авторитета в глазах детей, где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет наследственной традиции, — может дать ребенку очень мало или же не может дать ему ничего. Конечно, и в здоровой семье могут совершаться ошибки, могут слагаться в том или ином отношении «пробелы», которые способны повести к общей или частичной неудаче. Идеала нет на земле... Однако с уверенностью можно сказать, что родители, которые сумели приобщить своих детей к духовному опыту и вызвать в них процесс внутреннего самоосвобождения, будут всегда благословенны в сердцах детей... Ибо из этих двух основ вырастает и личный характер, и прочное счастье человека, и общественное благополучие.

3. Основные задачи воспитания

Все то, что мы доселе установили о духовно здоровой семье, как бы предрешает вопрос об основных задачах воспитания.

Можно было бы просто сказать, что все воспитание ребенка или, во всяком случае, его основная задача состоит в том, чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта; чтобы его духовное око открылось на все значительное и священное в жизни; чтобы его сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться на всякое явление Божественного в мире и в людях. Надо как бы повести или сводить душу ребенка во все «места», где можно найти и пережить нечто божественное; постепенно все должно стать ей доступным — и природа во всей ее красоте, в ее величии и таинственной внутренней целесообразности, и та чудесная глубина, и та благородная радость, которую дает нам истинное искусство, и неподдельное сочувствие всему страдающему, и действенная любовь к

ближнему, и блаженная сила совестного акта, и мужество национального героя, и творческая жизнь национального гения, с его одинокой борьбой и жертвенной ответственностью, и, главное, непосредственное молитвенное обращение к Богу, который и слышит, и любит, и помогает. Надо, чтобы ребенок получил доступ всюду, где Дух Божий дышит, зовет и раскрывается — как в самом человеке, так и в окружающем его мире... (Живую картину такого духовного паломничества дает И.С.Шмелев в своем замечательном произведении «Богомолье».)

Душа ребенка должна научиться воспринимать сквозь весь земной шум и сквозь всю неиссякающую пошлость повседневной жизни священные следы и таинственные уроки Всевышнего, воспринимать их и следовать им, чтобы, внемля им, всю жизнь «обновляться духом ума своего» (Ефес. 4, 23). Подобно тому, как однажды выразил это Лафатер: «Внимай тихому гласу вещающего в тебе Господа...» Чтобы ребенок, вырастая и входя в пору зрелости, привык искать и находить во всем некий высший смысл; чтобы мир не лежал перед ним плоской, двухмерной и скудной пустыней; чтобы он мог сказать миру вещей словами поэта:

Кругом обставшие меня
Всегда безмолвные предметы,
Лучами тайного огня
Вы осиянны и согреты...
(Ф.Сологуб. «Тетерников»)

И мог закончить свою жизнь словами глубокомысленного созерцателя Баратынского:

Велик Господь! Он милосерд, но прав,
Нет на земле ничтожного мгновенья...
(«На посев леса»)

Духовно живой человек всегда внемлет Духу — и в событиях дня, и в невиданной грозе, и в мучительном недуге, и в крушении народа. И, вняв, отзывается не пассивно-созерцательным пиетизмом, но и сердцем, и волею, и делом.

Итак, самое важное в воспитании — это *духовно пробудить ребенка* и указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже подстерегающих его опасностей и искушений жизни — источник силы и утешения в его собственной душе. Надо воспитать в его душе будущего победителя, который умел бы внутренне уважать самого себя и утверждать свое *духовное достоинство* и свою свободу — *духовную личность*, перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения современного сатанизма.

NB *Что такое духовно пробудить ребенка? Значит ли это только приобщить его к ценностям религии? Вправе ли мы ограничивать представление о духовном пробуждении только верой? Мое поколение сформировалось в те годы, когда само понимание «духовных ценнос-*

тей» не связывалось с ценностями религиозными. Нам еще предстоит разбираться в чистоте и точности терминологии, но думается, что дело не в терминах. Важнее всего тот смысл, который мы вкладываем в понятие «духовные ценности». В широком смысле — это для нас способность к восприятию неутилитарных ценностей, раздумьям о смысле и ценности человеческой жизни, о том следе, который мы оставляем после себя, о тех душевных качествах, которые мы способны проявить в повседневной жизни. В этом смысле важно, чтобы ребенок смог прислушаться к себе, к своему внутреннему миру, чтобы этот мир соотносился с миром внешним, имел способность отзываться на чужую боль. Вспоминаются в этой связи строки, написанные Леонидом Мартыновым:

А ты?
Входя в дома любые —
И в серые,
И в голубые,
Входя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Как бы странно и сомнительно ни прозвучало это указание для педагогически неискушенного человека, но по существу оно остается непоколебимым: самое большое значение имеют первые пять-шесть лет детской жизни; а в следующее за ними десятилетие (с шестого по шестнадцатый год жизни) многое, слишком многое завершается в человеке чуть ли не на всю жизнь. В первые годы детской жизни душа ребенка так нежна, так впечатлительна и беспомощна... Он как бы плывет в потоке наивной, непосредственной доверчивости и некоего как бы предмирного «всесмешения»: «свет и тьма», «твердь и вода» еще не отделены друг от друга, и свод, имеющий потом отделить дневное сознание от нашей бессознательной сферы, еще не создался в процессе вытеснения. (Разумею этот термин в том смысле, который придан ему основополагающими открытиями и формулами создателя современной психопатологии Зигмунда Фрейда.) Этот свод, который будет потом всю жизнь обуздывать кипение страстей и замыкать томление аффектов, подчиняя их творческой жизненной целесообразности, находится еще в стадии возникновения. В этот период жизни впечатлениям открыта последняя глубина души; она вся всему доступна и не защищена никакой защитной броней, все может стать или уже становится ее судьбой, все может повредить ребенку или, как говорит народ, испортить ребенка.

И действительно, все вредное, дурное, злобное, потрясающее или мучительное, что ребенок воспринимает в этот первый, роковой период своей жизни, — все причиняет ему душевную рану («травму»), последствия которой он потом влачит в себе через всю жизнь то в виде нервного подергивания, то в виде истерических припадков, то в виде уродливой склонности, извращения или прямой болезни. И обратно, все то светлое, духовное и любовное, что детская душа получает в эту первую эпоху, приносит потом, в течение всей жизни, обильный плод. В эти годы ребенка надо беречь, не терзать его никакими страхами и наказаниями, не будить в нем преждевременно элементарные и дурные инстинкты. Однако упускать эти годы в смысле духовного воспитания было бы столь же недопустимо и непростительно. Надо сделать так, чтобы в душу ребенка проникало как можно больше лучей любви, радости и Божией благодати. Здесь надо не баловать ребенка, не потакать его капризам, не изнеживать его и не топить его в физических ласках, но заботиться о том, чтобы ему нравилось, чтобы его умиляло и радовало все то, что есть в жизни божественного, — от солнечного луча до нежной мелодии, от жалости, сжимающей сердце, до прелестной бабочки, от первой, лепетом сказанной молитвы до героической сказки и легенды... Родители могут быть твердо уверены: здесь ничто не пропадет, ничто не канет бесследно; все даст плоды, все принесет хвалу и совершение. Но пусть никогда ребенок не будет для родителей игрушкой и забавой; пусть он будет для них нежным цветком, который нуждается в солнце, но который так легко может быть незаметно надломлен. Именно в эти первые годы детства, когда ребенок считается «несмышленышем», родители должны помнить при всяком обхождении с ним, что дело не в их родительских восторгах, наслаждениях и забавах, а в состоянии детской души, *абсолютно впечатлительной* и (именно вследствие «несмыслия» своего) *абсолютно беспомощной*...

Итак, до пяти-шести лет, т.е. до самого «вытесняющего» перелома в детской душе, ребенка нужно душевно беречь, как нежный цветок, с тем чтобы затем постепенно изменить весь тон воспитания: ибо после периода *душевной теплицы* должен наступить период *душевного закала*; ребенок должен приучаться внутренне к *самообладанию и к высоким требованиям*; и этот процесс дастся ему тем легче, чем меньше «травм» он вынесет из первого периода. В нежнейшую эпоху своей жизни ребенок должен привыкнуть к семье — к любви, а не к ненависти и зависти; к спокойному мужеству и самодисциплине, а не к страху, унижениям, доносам и предательству. Ибо воистину — мир можно пересоздать, перевоспитать из детской, но в детской же можно его и погубить.

Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребенку потребность в *чистой любви, склонить к мужественной искренности и способность к спокойной и достойной дисциплине.*

Чистота любви, о которой здесь идет речь, имеет в виду эротическую сторону жизни.

Вряд ли есть что-нибудь более вредное для жизни и для всей судьбы ребенка, как слишком раннее эротическое пробуждение его души, в особенности если это пробуждение происходит в той форме, что ребенок начинает воспринимать жизнь пола как что-то низменное и грязное, как предмет тайных мечтаний и постыдных забав, или еще — если это пробуждение вызывается неосторожностями или прямыми грубостями со стороны нянек, воспитателей или родителей...

Вредность преждевременного эротического пробуждения состоит в том, что на юную душу возлагается непосильная задача, которую она не может ни разрешить, ни изжить, ни достойно понести или устранить. Тогда ребенок оказывается без вины виноватым и безысходно обремененным; начинается бесплодная и нечистая работа воображения, сопровождающаяся судорожными попытками вытеснить весь этот непосильный заряд и в то же время — болезненными напряжениями нервной системы. Начинаются внутренние конфликты и страдания, с которыми ребенок не может справиться; ему приходится отвечать за невольные настроения и поступки; и ответственность эта превышает его душевные силы; в последней родовой глубине инстинкта начинается болезненное смятение, о котором ребенок не может даже совсем высказаться, — и весь организм души и тела оказывается выведенным из равновесия. Большинство так называемых «дефективных» детей проходит этот страдальческий путь без всякой вины и очень редко встречает со стороны взрослых чуткое понимание и помощь...

Нередко бывает и хуже, именно, когда кто-нибудь из «товарищей» или взрослых, испорченных дурным опытом, начинает «просвещать» (т.е. портить) ребенка в вопросах половой жизни. Там, где для чистой и целомудренной души, собственно говоря, нет ничего «грязного» («ибо всякое творение Божие хорошо». — Тимофею. I, 4, 4), несмотря на все человеческие несовершенства, заблуждения и болезни, — потому что «грязное», *чисто* воспринятое, есть уже не «грязное», а больное или трагическое; — там в душе такого несчастного ребенка *искажается жизнь воображения и развращается жизнь чувства*, причем это искажение и развращение может излиться и в настоящее неисцелимое душевное уродство... Помимо всего этого, должны быть особо упомянуты те разрушительные для семейной жизни взаимные «супружеские измены» со стороны родителей, которые дети подмечают с таким ужасом и переживают так болезненно: иногда такие события переживаются детьми как настоящие душевные катастрофы. Родители всегда должны помнить о том, что дети не просто «воспринимают» отца и мать, ...они в глубине души *идеализируют их, мечтают* о них и втайне жаждут видеть в них *идеал совершенства* (это настроение глубоко и тонко изображено в «Подростке» и «Неточке Незвановой» Достоевского). Конечно... совершенных людей нет, совершенство принадлежит одному Богу. Но это неизбежное разочарование не должно приходить к ребенку слишком рано, оно не должно быть слишком острым и глубоким,

оно не должно обрушиваться на ребенка в виде катастрофы. Тот час, когда ребенок утрачивает уважение к отцу или матери, — хотя бы никто не заметил этого крушения, хотя бы и сам ребенок пережил его в молчаливом разочаровании или даже отчаянии, — этот час обозначает собою духовную катастрофу семьи; и редкой семье удается оправиться впоследствии от этой катастрофы.

Словом, счастливый ребенок наслаждается в счастливой семье эротически чистой атмосферой. Для этого родителям необходимо *искусство духовно-целомудренной любви.*

Второй особенностью здоровой семьи является атмосфера *искренности.*

Родители и воспитатели не должны лгать детям ни в каких важных, значительных обстоятельствах жизни. Всякую ложь, всякий обман, всякую симуляцию или диссимуляцию ребенок подмечает с чрезвычайной остротой и быстротой: и, подметив, впадает в смущение, соблазн и подозрительность. Если ребенку нельзя сообщить что-нибудь, то всегда лучше честно и прямо отказать ему в ответе или провести определенную границу в осведомлении, чем выдумывать вздор и потом запутываться в нем или чем лгать и обманывать и потом быть изобличенным детской проницательностью. И не следует говорить так: «это тебе рано знать» или «этого ты все равно не поймешь»; такие ответы только раздражают в душе ребенка любопытство и самолюбие. Лучше отвечать так: «я не имею права сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные секреты, а допытываться о чужих секретах неделикатно и нескромно». Этим не нарушается прямота и искренность и дается конкретный урок долга, дисциплины и деликатности...

Родителям и воспитателям совершенно необходимо понять, что переживает ребенок, встречая с их стороны ложь или обман. Ребенок прежде всего теряет непосредственное доверие к родителям; он наталкивается на стену неправды в них, и чем холоднее, изворотливее, циничнее преподносится ему эта неправда, тем ядовитее она оказывается для детской души. Поколебавшись в доверии, ребенок становится подозрителен и ждет новой лжи и обмана; он колеблется и в своем уважении к родителям. В силу естественной подражательности он начинает отвечать им тем же, постепенно замыкается от них и приучается сам лгать и обманывать. Это переносится и на других людей; у ребенка появляется склонность к хитрости и неверности вообще. В нем исчезает ясность и прозрачность души; он начинает жить сначала мелкими, а потом и крупными самообманами. Кризис доверия вызывает (рано или поздно) и кризис веры, ибо вера требует душевной цельности и искренности. Итак, все основы духовного характера приходят у ребенка в состояние кризиса или оказываются просто подорванными. В душе водворяется та атмосфера *лукавства, притворства и малодушия*, к которой человек постепенно привыкает настолько, что перестает замечать ее, а из этой атмосферы и вырастают потом все большие *интриги и предательства.*

Никогда из лживой, пролганной семьи не выйдет искренний, верный и мужественный человек, — разве только в порядке отвращения к своей семье и духовного преодоления ее наследия. Ибо ложь растлевает человека незаметно, незаметно проникая из невинных пустяков в глубину священных обстояний; и удержать ее действие на поверхности житейских пустяков могут только люди с уже сложившимся духовным характером, люди, уже утвердившиеся в Боге. И если в современном мире все кишит открытой ложью, обманом, неверностью, интригой, предательством и изменой своей родине, то это несчастье имеет свои корни в двух явлениях: во всеобщем *религиозном кризисе* и в атмосфере *семейной лживости*. Из семьи, где все построено на фальши и трусости, где сердце утратило искренность и мужество, в общество и в мир вступают только фальшивые люди. Но там, где в семье царит и ведет дух прямоты и искренности, там дети оказываются предрасположенными к честности и верности. Лживость в детской ядовита тем, что она приучает человека к нечестности наедине с собою и к подлости с другими.

Есть особое *искусство правдивости и искренности*, которое нередко требует от человека больших совестных напряжений внутри и большого такта в обхождении с людьми и, сверх того, всегда — мужества. Это искусство дается нелегко, но в здоровых и счастливых семьях оно процветает всегда.

Наконец, особенностью здоровой и счастливой семьи является *спокойная, достойная дисциплина*.

Такая дисциплина не может возникнуть из атмосферы родительского террора, от кого бы он ни исходил — от отца или от матери. Такая система террора, поддерживаемая криками и угрозами, моральным гнетом или телесными наказаниями, вызывает у здорового ребенка чувство возмущения, легко переходящее в отвращение, ненависть и презрение. Ребенок чувствует себя унижаемым и не может не возмущаться; эта система изливает на него поток оскорблений, и он не может не противостать им. Эти унижения и оскорбления он может, что называется, «проглатывать» и сносить молча; но его бессознательное никогда не изживет этих травм и не простит их родителям. Там, где семейная власть осуществляется угрозами и страхом, там на каждом шагу ощущается враждебная напряженность; там воцаряется система «защитного обмана» и лукавства; там оба поколения остаются, быть может, еще в состоянии пространственного рядом-жительства, но семья как живое, органическое единство, держащееся силою взаимной любви и доверия, оказывается разрушенной. Дети, униженные угрозами, наказаниями и вечным страхом, защищаются *всеми* средствами и постепенно приучаются, иногда сами того не замечая, *к внутренней вседозволенности*. И если эта атмосфера вседозволенности устанавливается в их отношении к родителям, то что же можно будет ждать от них в их отношении к другим, посторонним людям? Восстание против родителей перевертывает в человеческом сердце все нормальные основы общежития — чувство ранга, идею свободно признанного авторитета, начала лояльности,

верности, дисциплины, чувство долга и правосознание; и семейный террор оказывается одним из главных источников *общественной деморализации и политической революционности*. Семья становится школой вечного, несытого *бунтарства*; и проявления его могут стать фатальными в жизни народа и государства.

Настоящая, подлинная дисциплина есть по существу своему не что иное, как внутреннее самообладание, присущее самому дисциплинированному человеку. Она не есть ни душевный «механизм», ни так называемый «условный рефлекс». Она присуща человеку изнутри, душевно, органически; так что если в ней есть элемент «механизма» или «механичности», то дисциплина все-таки органически предписывается человеком самому себе. Поэтому настоящая дисциплина есть, прежде всего, проявление *внутренней свободы*, т.е. духовного самообладания и самоуправления. Она принимается и поддерживается *добровольно и сознательно*. Труднейшая часть воспитания и состоит в том, чтобы укрепить в ребенке волю, способную к автономному самообладанию. Способность эту надо понимать не только в том смысле, чтобы душа умела сдерживать и понуждать себя, но и в том смысле, чтобы это было ей нетрудно. Разнузданному человеку всякий запрет труден; дисциплинированному человеку всякая дисциплина легка: ибо, владея собой, он может уложить себя в любую благую и осмысленную форму. И тогда владеющий собою способен повелевать и другими. Вот почему русская пословица говорит: «превысокое владетельство — собою владеть».

Однако эта способность владеть собою, которая дается человеку тем труднее, чем страстнее и разностороннее его душа, не должна превращать внутреннюю жизнь в какое-то подобие тюрьмы или каторги. Поистине настоящая дисциплина и организация имеются лишь там, где, образно выражаясь, последняя капля пота, вызванная дисциплинирующим и организующим усилием и напряжением, стерта с чела, или, еще лучше — где усилие было легко и напряжение совсем не вызвало ее. Дисциплина не должна становиться высшей или самодовлеющей целью: она не должна развиваться в ущерб свободе и искренности в семейной жизни; она должна быть *духовным умением* или даже *искусством* и не должна превращаться в тягостный догмат или в душевное каменение; она не должна парализовывать любовь и духовное общение в семейной жизни. (Этими крайностями нередко грешит английское воспитание, покоящееся на волевом подавлении эмоций.) Словом, чем *незаметнее* прививается детям дисциплина и чем менее она при соблюдении ее *бросается в глаза*, тем удачнее протекает воспитание. И если это достигнуто, то дисциплина удалась и задача разрешена. И, может быть, для ее удачного разрешения лучше всего положить в основу самообладания свободный совестный акт.

Итак, есть особое искусство повеления и запрета, оно дается нелегко. Но в здоровых и счастливых семьях оно цветет всегда.

Однажды Кант высказал о воспитании простое, но верное слово: «Воспитание есть величайшая и труднейшая проблема, которая мо-

жет быть поставлена человеку». И вот эта проблема, действительно, раз навсегда поставлена огромному большинству людей. Разрешение этой проблемы, от которой всегда зависит будущность человечества, начинается в лоне семьи, и заменить семью в этом деле ничто не может: ибо только в семье природа дарует необходимую для воспитания *любовь*, и притом с такою щедростью, как нигде более. Никакие «детские сады», «детские дома», «приюты» и тому подобные фальшивые замены семьи никогда не дадут ребенку необходимого: ибо главной силой воспитания является то *взаимное чувство личной незаменимости*, которое связывает родителей с ребенком и ребенка с родителями связью единственной в своем роде — таинственной связью *кровной любви*. В семье и только в семье ребенок чувствует себя единственным и незаменимым, выстраданным и неотрывным, кровью от крови и костью от кости — существом, возникшим в сокровенной совместности двух других существ и обязанным им своей жизнью, личностью, раз навсегда приятною и милою во всем ее телесном — душевном — духовном своеобразии. Это не может быть ничем заменено; и как бы трогательно ни воспитывался иной приемыш, он всегда будет вздыхать про себя о своем кровном отце и о своей кровной матери...

Именно семья дарит человеку два священных первообраза, которые он носит в себе всю жизнь и в живом отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: *первообраз чистой матери*, несущей любовь, милость и защиту, и *первообраз благого отца*, дарующего питание, справедливость и разумение. Горе человеку, у которого в душе нет места для этих зиждительных и ведущих первообразов, этих живых символов и в то же время творческих источников *духовной любви и духовной веры*! Ибо поддонные силы его души, не пробужденные и не взлелеянные этими благими, ангелоподобными образами, могут остаться в пожизненной скованности и мертвости.

Суровой и мрачной стала бы судьба человечества, если бы однажды в душах людей до конца иссякли эти священные источники. Тогда жизнь превратилась бы в пустыню, деяния людей стали бы злодеяниями, а культура погибла бы в океане нового варварства.

Эту таинственную связь человека *со священными* силами, или «прообразами», которые открываются ему в недрах его семьи и рода, с дивною силою почуял и выговорил Пушкин: один раз — в язычески-мифологической форме, именуя эти прообразы «пенатами» или «домашними божествами»; другой раз — в обращении к тому, что знаменует жилище семьи и священный прах предков.

...Еще единый гимн —
Внемлите мне, пенаты! вам пою
Ответный гимн, советники Зевеса...

Примите гимн, таинственные силы!...
Так, я любил вас долго! Вас зову
В свидетели, с каким святым волненьем
Оставил я людское стадо наше,

Дабы стеречь ваш огнь уединенный,
Беседуя один с самим собою. <Да,>
Часы неизъяснимых наслаждений!
Они дают нам знать сердечну глубь,
В могуществе и в немощах сердечных
Они любить, лелеять научают
Не смертные, таинственные чувства,
И нас они науке первой учат:
Чтить самого себя. О, нет, вовек
Не преставал молить благоговейно
Вас, божества домашние.

(Этот неоконченный набросок я привожу с некоторыми сокращениями. Курсив Пушкина.)

Так, из духа семьи и рода, из духовного и религиозно осмысленного приятия своих родителей и предков родится и утверждается в человеке *чувство собственного духовного достоинства...*

Глава шестая
О РОДИНЕ

3. Что есть патриотизм

Патриотизм есть чувство любви к родине, и потому он, как и всякое чувство, а особенно чувство любви, уходит корнями в глубину человеческого бессознательного, в жилище инстинкта и страстей, куда далеко не всякий любопытный глаз имеет доступ. Однако есть ступень духовного опыта и сила духовного видения, которая этот доступ открывает. Тогда обнаруживаются следующие формы и законы.

Прежде всего, обретение родины должно быть пережито каждым из людей самостоятельно и самобытно. Никто не может предписать другому человеку его родину — ни воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни государственная власть, ибо любить и радоваться, и творить по предписанию вообще невозможно. Патриотизм, как состояние радостной любви и вдохновенного творчества, есть состояние духовное, и потому он может возникнуть только в порядке автономии (свободы) — в личном, но подлинном и предметном духовном опыте. Всякое извне идущее предписание может помешать этому опыту и привести к злосчастной симуляции. Любовь возникает «сама», в легкой и естественной предметной радости, побеждающей и умиляющей душу. Эта свободная предметная радость или осеняет человека — и тогда он становится живым органом любимого предмета и не тяготится этим, а радуется своему счастью; или она минует его душу — и тогда помочь ему может только такое жизненное потрясение, которое раскроет в нем источники духовного опыта и любви.

Так называемый «казенный», внешне принудительный, официальный патриотизм далеко не всегда пробуждает и воспитывает в душе чувство родины, нередко даже повреждает его. А между тем

опытный и тактичный воспитатель может действительно пробудить в ребенке настоящий патриотизм. Но именно пробудить, а не навязать. Для этого он сам должен быть искренним и убежденным патриотом и уметь убедительно показывать детям те глубины и прекрасности родины, которые на самом деле заслуживают любви и преклонения. Он должен не «проповедовать» любовь к родине, а увлекательно исповедовать и доказывать ее делами, полными энергии и преданности. Он должен как бы вправить душу ребенка в духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и приучить ее пребывать в нем и творчески расцветать в нем. Тогда патриотическое самоопределение осуществится свободно и непосредственно. И ребенок станет незаметно живым органом своей родины.

В основе такого слияния или сращения лежит всегда некоторая однородность в путях и способах духовной жизни: человек может узнать свой народ, прислушиваясь к жизни своего личного духа и к духовной жизни своего народа и узнавая свое творчество в его путях, а его пути в своем творчестве. Это дает ему радостное, уверенное чувство, которое можно выразить словами: я — как он; он — как я...

Или еще:

Мой дух — как его Дух; его Дух — как мой дух.

И, следовательно: я есмь дух от Духа его; я принадлежу ему, а потому — ему моя любовь, моя воля, моя жизнь.

Вникнем в этот процесс основательнее и глубже, и мы найдем следующее.

Патриотическое единение людей покоится на некоторой сопринадлежности их, столь необходимой, естественной и священной, сколь необходим, естественен и священен человеку сам духовный предмет и духовный способ жизни. Люди связуются в единую нацию и создают единую родину именно в силу подобия их духовного уклада, а этот духовный уклад вырабатывается постепенно, исторически из эмпирической данности — внутренней, скрытой в самом человеке (раса, кровь, темперамент, душевные способности и неспособности), и внешней (природа, климат, соседи). Вся эта внутренняя и внешняя эмпирическая данность, полученная народом от Бога и от истории, должна быть проработана духом, причем она и со своей стороны формирует дух народа, то облегчая ему его пути, то затрудняя и загромождая их. В результате возникает единый национально-духовный уклад, который и связует людей в патриотическое единство.

Бремя эмпирического существования вообще преодолевается только творчеством, т.е. созданием новых ценностей в страдании, в труде, во вдохновении. Человека вообще освобождает только прорыв к духу, только осуществление духовных состояний. Личный страх и опасность, личное страдание и гибель перевешиваются и превозмогаются только тою любовью и тем радованием, которые посвящены негибнущему, божественному содержанию. И вот в этом творчестве, и особенно в этом духовном творчестве, каждый народ

имеет свои специфические особенности, образующие его национальный духовный уклад или, выражаясь философически, его национальный духовный акт. (Само собою разумеется, что этот акт включает в себя и всю глубину бессознательного, жизнь инстинкта, страстей и наследственного уклада жизни.)

Так, каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает; по-своему ленится, трудится, хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; по-своему улыбается, смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и создает живопись; по-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует; по-своему строит дома и храмы; по-своему молится и геройствует... Он по-своему возносится и падает духом; по-своему организуется. У каждого иное чувство права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале, иная политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа иной и особый национальный духовный акт.

Самые узлы исторически данного характера — инстинкта, страстей, темперамента, чувства, воображения, воли и мысли — распутываются и расплетаются у каждого народа по-своему; и по-своему же он превращает эти нити в духовную ткань. В борьбе души с ее ограниченностью и с ее несчастьем, с ее страстями и с ее невозможностями каждый индивидуальный человек слагает себе особый духовный путь; но именно этот путь выстраданной духовности роднит индивидуальную душу сходством и близостью с другими душами единого национального лона.

Замечательно, что нити душевного и духовного подобия связуют людей глубже, а потому и крепче других нитей. Самый путь и способ личного одухотворения, самый ритм духовной жизни в ее созерцании и действии, самый характер умственного интереса, самая степень духовной жажды и удовлетворения, самый подъем отчаяния и славословия — все скрепляет души единого народа подобием и близостью. Это подобие ведет к тому, что люди связываются взаимным, глубоким тяготением, заставляющим их дорожить совместною жизнью, устраивать ее и совершенствовать ее организацию. Сходство в духовной жизни ведет незаметно к интенсивному общению и взаимодействию, а это, в свою очередь, порождает и новые творческие усилия, и новые достижения, и новое уподобление. Духовное подобие родит духовное единение, и обратно. И весь этот процесс духовного «симбиоза» покоится в последнем счете на сходном переживании единого и общего духовного предмета. Нет более глубокого единения, как в одинаковом созерцании единого Бога, но истинный патриотизм и приближается к такому единению.

Это не значит, что все сыны единой родины должны быть одного религиозного исповедания и принадлежать к единой церкви. Однако патриотическое единение будет несомненно более тесным, ин-

тимным и прочным там, где народ связан не только единой территорией и климатом, не только государственной властью и законами, не только хозяйством и бытом, но и духовной однородностью, которая доходит до единства религиозного исповедания и до принадлежности единой и единственной церкви. Патриотическое единение есть разновидность духовного единения, а поклонение Богу есть одно из самых глубоких и сильных проявлений человеческого духа.

Эту религиозную основу патриотизма культивировали еще древние, языческие народы. ...Так, в древности начало религиозного единения и начало патриотического единения просто совпадали: единый народ творил единую духовную культуру и имел единую веру. В дальнейшем процессе исторической дифференциации появились патриотические общины, не связанные единой религией, а также религиозные союзы (церкви), члены коих принадлежат к различным нациям, родинам и государствам.

Различие между религиозной и патриотической общиной состоит в том, что в религии люди любят Бога и верят в Бога, а в патриотическом единении люди любят свой народ в его духовном своеобразии и верят в духовную силу и в духовное творчество своего народа. Народ — не Бог, и возносить его на уровень Бога — слепо и грешно. Но народ, создавший свою родину, есть носитель и служитель Божьего дела на земле, как бы сосуд и орган божественного начала. Это относится не только к «моему» народу (кто бы он ни был), но и ко всем другим народам, создавшим свою духовную культуру. Следовательно, это относится и к моему народу, а это для меня теперь важнее всего.

И вот, если мы взглянем глубже и пристальнее, то мы увидим, что каждый духовный акт имеет свое особое душевно-духовное строение, слагаясь по-своему из инстинктивных влечений, чувства, воли, воображения, мысли, ощущения и внешних поступков. Так обстоит и в религиозной вере, и в познании, и в нравственности, и в искусстве, и в правосознании, и в труде, и в хозяйственной деятельности, словом, во всей духовной жизни человека. Оказывается, что так обстоит дело не только в личной жизни каждого данного человека, но и в жизни целых народов. Каждый народ вынашивает и осуществляет в своей истории душевно-духовные акты особого национального строения, которые и придают всей его культуре своеобразный характер. И каждое создание этой культуры — начиная от резного украшения на избе и кончая ученым трактатом, начиная от национальной пляски и кончая музыкальной сонатой, начиная от простонародного костюма и кончая национальным героем или собором, — расцветает и цветет в его духовном саду и слагается как бы в духовную гирлянду, которая связует его в единство крепче всяких законов или оков. Каждое духовное достижение народа является единым, общим для всех очагом, от которого размножается, не убывая, огонь духовного горения; так что вся система национальной духовной культуры предстает в виде множества общих возжженных огней, у которых каждый может и должен воспламенить огонь своего

личного духа. И пламя это, перекидываясь на новые очаги, сохраняет свою изначальную однородность — и в ритме, и в силе, и в окраске, и во всем характере горения. Так народы слагаются в своеобразные духовные единства, а отсюда — всякая внешняя эмпирическая связь (расовая, пространственная, историческая) получает свое истинное и глубокое значение.

Вот почему национальный гений и его творчество оказываются нередко предметом особенной патриотической любви.

Жизнь народного духа находит себе в творчестве гения сосредоточенное и зрелое выражение. Гений говорит от себя, но не за себя только, а за весь свой народ; и то, о чем он говорит, есть единый для всех, но неясный большинству, а многим, может быть, и недоступный предмет; и то, что он говорит о нем, есть истинное, подлинное слово, раскрывающее и природу предмета, и сущность народного духа; и то, как он говорит это слово, — разрешает скованность и томление народного духа, ибо слово его рождено духовным актом национального строения и несомо подлинным ритмом народной жизни.

Гений подъемлет и несет бремя своего народа, бремя его несчастий, его исканий, его жизни, его исторического и естественного существования, и, подняв его, он несет его творчески к духовному разрешению всех его узлов и трудностей. Он одолевает это бремя, он торжествует, он одерживает победу, и притом так, что его победа становится — на путях непосредственного или опосредствованного общения — источником победы для всех, связанных с ним национально-духовным подобием. Гению свойственна даже та мощь, о которой томились и ради которой страдали целые поколения в прошлом; и от этой мощи исходит и будет исходить духовная помощь и радость для целых поколений в будущем...

Глава седьмая
О НАЦИОНАЛИЗМЕ

1. Идея нации

...Преодоление общественного атомизма состоит не в том, что человек перестает быть самостоятельным, обособленным и замкнутым существом («монадой»). Нет, обычный, данный ему от природы способ бытия сохраняется. Но наряду с ним возникает могучее творческое единение людей в общем и сообща творимом лоне — в национальной духовной культуре, где все мы одно, где все достояние нашей родины (и духовное, и материальное, и человеческое, и природное, и религиозное, и хозяйственное) — едино для всех нас и общее всем нам: и творцы духа, и «труженики культуры», и создания искусства, и жилища, и песни, и храмы, и язык, и лаборатории, и законы, и территория... Каждый из нас живет всем этим, физически питаясь и душевно воспитываясь, огражденный другими и обороняя других, получая и принимая дары во всеобщем взаимном обмене. В жизни и в ткани нашего общества мы все — одно, а в ее духовной

сокровищнице объективировано то лучшее, что есть в каждом из нас. Ее созданиями заселяется и обогащается и творчески пробуждается личный дух каждого из нас; родина делает то, что душевное одиночество людей отходит на задний план и уступает первенство духовному единению и единству.

Такова идея родной нации. И при таком понимании ее обнаруживается воочию, что человек, лишенный ее, будет действительно обречен на духовное сиротство или безродность; что обретение ее есть поистине акт жизненного самоопределения; что иметь родную нацию есть поистине счастье, а утратить с нею связь есть великое горе; что тоска по ней естественна, а отчаяние в своем народе противоестественно; и что, наконец, человеку подобает блюсти на всех путях достоинство своего народа, гордиться его признанием, его величием и его успехами.

Есть закон человеческой природы и культуры, в силу которого все великое может быть сказано человеком или народом только по-своему, и все гениальное родится именно в лоне национального опыта, духа и уклада. Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к священным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны: в них заложены и живут целые века всенародного труда, страдания, борьбы, созерцания, молитвы и мысли. У римлян изгнание обозначалось словами: «воспрещение воды и огня». И действительно, человек, утративший доступ к духовной воде и к духовному огню своего народа, становится безродным изгоем, беспочвенным и бесплодным скитальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным интернационалистом. Горе ему и его детям: им грозит опасность превратиться в исторический песок и мусор.

Национальное обезличение есть великая беда и опасность в жизни человека и народа. С ним необходимо бороться настойчиво и вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо с детства.

Напрасно было бы указывать на то, что национализм ведет к взаимной ненависти народов, к обособлению, «провинциализму», самомнению и культурному застою. Все это относится к больному, уродливому, извращенному национализму и совершенно не касается духовно здоровой любви к своему народу. И в самом деле, кто захотел бы выслушивать с серьезным видом такие, например, возражения против гимнастики и спорта: гимнастика вредна и опасна, ибо она воспитывает в человеке ненависть к умственному труду, содействует общему огрубению души, ведет к эмфиземе легких, к переутомлению сердца и к вывиху рук и ног? Или подобные же возражения против искусства: искусство вредно человеку, ибо оно прививает ему отвращение к мысли и здоровому физическому труду, приучает его к беспочвенному фантазированию, к лени, праздности, вину и разврату и убивает в нем вкус к общественной деятельности? По такому способу можно против всего возражать и все отвергнуть: достаточно только приписать больные проявления — здоровому делу и как можно ярче описать последствия неумных злоупотреблений так, как если бы это дело только и могло сводиться к злоупотребле-

ниям... Злоупотреблять, как известно, можно всем — не только ядом, но и здоровой пищей, не только трудом, но и сном; не только глупостью, но и умом. Злоупотреблять можно и аргументацией в полемике, и приведенные возражения против национализма являются тому наглядным примером.

NB *Рассуждения Ильина о национальном воспитании очень важны сегодня, когда мы пытаемся в условиях многонационального государства, с одной стороны, сохранить исконно национальные традиции, с другой стороны, сформировать у подрастающего поколения уважение к другой культуре, другим национальным традициям. Мы много говорим сегодня о толерантности, а в реальной практике постоянно сталкиваемся с агрессивным проявлением национализма. Только разумно построенная система воспитания, основанная на гуманистических традициях, устойчивое отношение общества к проявлениям национализма способны сформировать у ребенка чувство национальной гордости, сочетающееся с уважительным отношением к представителям других национальностей. Вся наша история демонстрирует, насколько трудно решается эта задача. Говоря о национальном воспитании, Ильин рассматривает прежде всего русское национальное воспитание. Что такое русское национальное воспитание сегодня? Мы ежедневно сталкиваемся с разнообразными прочтениями смысла национального воспитания. Это изучение народной культуры на уроках музыки, изобразительного искусства, это организация специальных экскурсий и факультативов, проведение тематических классных часов и попытки ввести в массовую школу изучение курса «Русская православная культура». Спору нет. Мы должны помнить собственные корни, понимать, на какой основе сформировалась вся русскоязычная культура. Не хотелось бы только, чтобы в погоне за утраченными ценностями мы не добились прямо противоположного результата. Мы уже имеем в Москве вылазки «бритоголовых», которые все свои акции проводят под замечательными национальными лозунгами. Так что нам пока далеко до сложившейся системы национального воспитания. И на этом пути, конечно, необходимо восстанавливать традиции народных праздников, изучение народной культуры, когда это является исподволь сформированной потребностью, а не «запланированным мероприятием». Конечно, важно максимально использовать такие предметы, как литература, мировая художественная культура, сам материал которых является носителем высоких художественных и национальных качеств.*

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.
Русь опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,
Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел, —

так писал А.Блок, в какой-то мере развивая традицию Ф.Тютчева в отношении непознаваемости России. И нам, учителям литературы и мировой художественной культуры, очень важно провести «связующую нить», демонстрирующую значимость образа родины в разные исторические периоды не только для поэтов и художников, но и для всех нас.

2. О национальном воспитании

Итак, есть глубокий, духовно верный, творческий национализм, и его необходимо прививать людям с раннего детства.

Мы установили уже, что национальность человека определяется не его произволом, а укладом его инстинкта и его творческого акта, укладом его бессознательного и, больше всего, укладом его бессознательной духовности. Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать», как ты любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, — скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного.

А этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде всего и больше всего — в детстве. Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту, укрепление в нем их сердца, их воли, их воображения и их творческих замыслов.

Бороться с национальным обезличиванием наших детей мы должны именно на этом пути: надо сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду подвига, волю к качеству, — были национальными, у нас в России — национально русскими; и далее: чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею — всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей. Получив в дошкольном возрасте такой духовный заряд и имея в своей семье живой очаг таких настроений, русские дети, где бы они ни находились, развернутся в настоящих и верных русских людей.

В особенности следует обогащать их следующими сокровищами.

1. *Язык*. Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. Все это ребенок должен получить вместе с молоком матери (буквально). Особенно важно, чтобы это пробуждение самосознания и личностной памяти ребенка (обычно на третьем-четвертом году жизни) совершилось на его родном

языке. При этом важен не тот язык, на котором говорят при нем другие, но тот язык, на котором обращаются к нему, заставляя его выражать на нем его собственные внутренние состояния. Поэтому не следует учить его чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своем национальном языке. Это относится и к чтению: пока ребенок не зачитает бегло на родном языке, не следует учить его никакому иному чтению. В дальнейшем же в семье должен царить культ родного языка: все основные семейные события, праздники, большие обмены мнений должны протекать по-русски; всякие следы «волапюка» должны изгоняться; очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по возможности на церковно-славянском языке, и русских классиков, по очереди всеми членами семьи хотя бы понемногу; очень важно ознакомление с церковно-славянским языком, в котором и ныне живет стихия прародительского славянства, хотя бы это ознакомление было сравнительно элементарным и только в чтении; существенны семейные беседы о преимуществах родного языка — о его богатстве, благозвучии, выразительности, творческой неисчерпаемости, точности и т.д.

2. *Песня.* Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение несет ему первый душевный вздох и первый духовный стон: они должны быть русскими. Пение помогает рождению и изживанию чувства в душе; оно превращает пассивный, беспомощный и потому обычно тягостный аффект — в активную, текучую, творческую эмоцию: ребенок должен бессознательно усваивать русский строй чувств и особенно духовных чувствований. Пение научит его первому одухотворению душевного естества — по-русски; пение даст ему первое «не-животное» счастье — по-русски. Русская песня глубока, как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение; в наши черные дни, как под игом татар, она даст детской душе исход из грозящего озлобления и каменения. Надо завести русский песенник и постоянно обогащать детскую душу русскими мелодиями, — наигрывая, напевая, заставляя подпевать и петь хором. Всюду, по всей стране, надо создавать детские хоры — церковные и светские, организовывать их, объединять, устраивать съезды русской национальной песни. Хоровое пение национализирует и организует жизнь — оно приучает человека свободно и самостоятельно участвовать в общественном единении (при этом разумеется, конечно, дифференцированное, многоголосное пение, а не унисонный рев толпы).

3. *Молитва.* Молитва есть сосредоточенная и страстная обращенность души к Богу. Каждый народ совершает это обращение по-своему, даже в пределах единого исповедания; и только для поверхностного взгляда православие русского, грека, румына и американца — одинаково. Живое многогласие и многохваление Господа, идущее от мира, требует, чтобы каждый народ молился самобытно; и эту самобытную молитву надо вдохнуть ребенку с первых лет жизни.

Молитва даст ему духовную гармонию, пусть он переживет ее по-русски. Молитва даст ему источник духовной силы — русской силы. Молитва научит его сосредоточивать чувство и волю на совершенном — по-русски. Молитва даст ему религиозный опыт и поведет его к религиозной очевидности — по-русски. Ребенок, научившийся молиться, сам пойдет в церковь и станет ее опорой — русской опорой русской церкви. Он найдет пути — и в глубину русской истории, и на простор русского возрождения. Неправославный может быть верным русским патриотом и доблестным русским гражданином, но человек, враждебный православию, не найдет доступа к священным тайникам русского духа и русского миропонимания, он останется чужеродным в стране, своего рода внутренним «неприятелем».

4. *Сказка.* Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство героического — чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды и кривды». Она заселяет его душу национальным мифом, тем хором образов, в которых народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ схоронил свое вожделенное, свое ведение и ведовство, свое страдание, свой юмор и свою мудрость. Национальное воспитание неполно без национальной сказки. Ребенок, никогда не мечтавший в сказках своего народа, легко отрывается от него и незаметно вступает на путь интернационализации. Приобщение к чужеземным сказкам вместо родных будет иметь те же самые последствия.

5. *Жития святых и героев.* Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет пленено живыми образами национальной святости и национальной доблести, тем лучше для него. Образы святости пробудят его совесть, а русскость святого вызовет в нем чувство соучастия в святых делах, чувство приобщенности, отождествления, она даст его сердцу радостную и гордую уверенность, что «наш народ оправдался перед лицом Божиим», что алтари его святы и что он имеет право на почетное место в мировой истории («народная гордость»). Образы героизма пробудят в нем самом волю к доблести, пробудят его великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться, а русскость героя — даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Все это, вместе взятое, есть настоящая школа русского национального характера.

Преклонение перед святым и героем возвышает душу; оно дает ей сразу — и смирение, и чувство собственного достоинства, и чувство ранга, оно указывает ей — и задание, и верный путь. Итак, национальный герой ведет свой народ даже из-за гроба.

6. *Поэзия.* Стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они подчиняют душу, пленяют ее гармонией и ритмом, заставляют ее прислушиваться к сокровенной жизни вещей и людей, побуждают ее искать законы и формы, учат ее духовному восторгу. Как только ребенок начнет говорить и читать, так классические национальные

поэты должны дать ему первую радость стиха и постепенно раскрыть ему все свои сокровища. Сначала пусть слушает, потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать — искренно, прочувствованно и осмысленно. Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, где мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. Русский поэт одновременно — национальный пророк и национальный музыкант. И русский человек, с детства влюбившийся в русский стих, никогда не денационализируется.

В меру возрастания и в меру возможности необходимо открывать ребенку доступ ко всем видам национального искусства — от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски до театра, от музыки до скульптуры. Тогда душа его всесторонне раскроется для восприятия того, что впервые дали ей песня, сказка и поэзия. Понятно, что наиболее доступным, наиболее увлекающим и непосредственно национализирующим видом искусства останется русская пляска со всей ее свободой и ритмичностью, со всем ее лиризмом, драматизмом и неистощимым юмором.

7. *История.* Русский ребенок должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин... и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенесшего великие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъему и расцвету...

При этом национальное самочувствие ребенка должно быть ограждено от двух опасностей: от националистического самомнения и от всеосмеивающего самоунижения. Преподаватель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых сторон национального характера; но в то же время он должен указать ему все источники национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему народу и его истории должен быть исключен из этого преподавания. История учит духовному преемству и сыновней верности; а историк, становясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его призвание. Тогда только он сможет быть истинным национальным воспитателем.

8. *Армия.* Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства; оплот моей родины; воплощенная храбрость моего народа; организация чести, самоотверженности и служения — вот чувство, которое должно быть передано ребенку его национальным воспитателем. Без армии, стоящей духовно и профессионально на надлежащей высоте, — родина останется без обороны, государство распадется и нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку иное понимание — значит содействовать этому распаду и исчезновению.

9. *Территория.* Русский ребенок должен увидеть воображением пространственный простор своей страны, это национально-государственное наследие России. Национальная территория не есть пустое пространство «от столба до столба», но исторически данное и взятое духовное пастбище народа, его творческое задание, его живое обето-

вание, жилище его грядущих поколений. Русский человек должен знать и любить просторы своей страны: ее жителей, ее богатства, ее климат, ее возможности, — так, как человек знает свое тело, так, как музыкант любит свой инструмент, так, как крестьянин знает и любит свою землю.

10. *Хозяйство.* Ребенок должен с раннего детства почувствовать творческую радость и силу труда, его необходимость, его почетность, его смысл. Он должен внутренне испытать, что «труд» не есть «болезнь» и что работа не есть «рабство»; что, наоборот, труд есть источник здоровья и свободы. В русском ребенке должна пробудиться склонность к добровольному, творческому труду, и из этой склонности он должен почувствовать и осмыслить Россию как бесконечное и едва початое трудовое поприще. Тогда в нем пробудится живой интерес к русскому национальному хозяйству, воля к русскому национальному богатству, как источнику духовной независимости и духовного расцвета русского народа. Пробудить в нем все это — значит заложить в нем основы духовной почвенности и хозяйственного патриотизма.

Таков дух национального воспитания, необходимый русскому и каждому здоровому народу. Задача каждого поколения состоит в верной передаче этого духа, и притом в формах возрастающей одухотворенности, национального благородства и международной справедливости. Только на этом пути человечеству удастся соблюсти священное начало родины и в то же время одолеть соблазны — как больного национализма, так и всеразлагающего интернационализма.

Из всего сказанного должно быть уже ясно, в чем состоит связь между родиной и нацией.

Родина есть Дух народа во всех его проявлениях и созданиях; национальность обозначает основное своеобразие этого духа. Нация есть духовно своеобразный народ; патриотизм есть любовь к нему, к духу, его созданиям и к земным условиям его жизни и цветения.

Истинный патриот любит дух своего народа, и гордится им, и видит в нем источник величия и славы именно потому, что выше Духа и прекраснее Духа на земле нет ничего, и еще потому, что его личный дух следует путям его народа. И вот каждый народ есть по духу своему некая прекрасная самоосиянность, которая сияет всем людям и всем народам и которая заслуживает и с их стороны любви, и почтения, и радости. Каждое истинное духовное достижение — в знании, и в добродетели, в религии, в красоте или в праве — есть достояние общечеловеческое, которое способно объединить на себе взоры, и чувства, и мысли, и сердца всех людей, независимо от эпохи, нации и гражданской принадлежности. Нам ли, русским, надо доказывать это, нам ли, проливающим с детства слезы над мучениями негра дяди Тома и зачитывающимся сказками Шехерезады; способным трепетать сердцем при виде скульптуры Праксителя или картины Леонардо да Винчи, умеющим молиться вместе с Бетховеном, созерцать вместе с Конфуцием и Платоном; отчаиваться вмес-

те с Иовом и бушевать вместе с Шекспиром? Нам открыт дух всех народов; мы с детства привыкали и привыкли чтить и любить их гениев. Мы знаем по опыту, что истинное духовное достижение всегда национально и в то же время всегда выходит за национальные подразделения людей, а потому и уводит самих людей за эти пределы, отнюдь не колебля и не угашая свет родины, но обогащая его новыми восприятиями и лучевыми отражениями. Всякое истинное достижение и создание духа свидетельствует о некотором высшем и глубочайшем сродстве их, о некотором подлинном единстве рода человеческого, пребывающем несмотря на все разделения, грани и войны. Оно свидетельствует о том, что самый патриотизм, отверзая человеку его духовное око, тем самым бесконечно и благотворно расширяет его духовный горизонт, и что есть вершина, с которой человеку может действительно открыться общечеловеческое братство, братство всех людей перед лицом Божиим.

NB *И.Ильин высказал важнейшую мысль о том, как сокровища мировой культуры обогащают восприятие всех людей. По сути дела речь идет о том, что все, что создано человечеством, — есть общемировая сокровищница. Именно она подтверждает единство человеческого рода, как бы ни различались между собой страны и народы. И.Ильин подошел к этому вопросу именно с точки зрения наличия так называемых «общечеловеческих ценностей». Его позиция выражает понимание значимости тех явлений художественной культуры, которые были озарены духовным светом, благодаря которому стали близки и понятны представителям разных культур. В этом отношении приятно осознавать, что не так давно вошедший в программу общеобразовательной школы предмет «Мировая художественная культура» как раз и основывается на необходимости приобщения учащихся к духовным, нравственным и эстетическим ценностям произведений мирового искусства. И целью данного предмета является формирование ценностных ориентиров в воспитании и развитии учащихся.*

ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ

Предисловие
О НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Современный мир идет навстречу духовному обновлению. Многие еще не видят этого: одни — потому, что не изжили своих старых заблуждений и продолжают считать их «последним словом» жизни и правды; другие — потому, что страдания и лишения нашей эпохи слишком велики и поглощают у людей все их силы. Есть и такие, которые почувствовали необходимость духовного обновления, но не видят нового, верного пути и не знают, что начать... Но близится тот «день», когда духовное обновление начнется само собою и притом потому, что старые пути и направления окажутся исчерпавшимися, разочарование охватит души и человеческие лишения и страдания покажутся невыносимыми...

Ввиду этого было бы важно предвидеть, каковы же будут эти иные, новые пути и что нам надо ныне делать для того, чтобы вступить на них без сомнений и колебаний. Человеку недостойно пребывать в беспомощности и пассивности, предаваясь своей непонятной «судьбе» с покорностью младенца. Человек должен разуметь свои ошибки и заблуждения, свободно судить их, а не предаваться изжитому психозу, принесшему уже столько бед. Человек призван овладевать своей душой и ее слабостями, освобождать себя из состояния духовной слепоты и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. Трагические события истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на самом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о нашей творческой свободе и отыскали в самих себе нашу собственную духовную глубину, с тем чтобы из нее повести наше обновление — свободно, мужественно и активно.

И прежде всего нам надо сосредоточиться на том, что мы утратили. Человечество попыталось за последние два века создать куль-

*Последняя книга И.Ильина, его философское завещание (1954). Работа была опубликована в 1957 г. в Мюнхене. В данном томе печатается (в сокращении) по изданию: Путь к очевидности. М., 1993. — (Мыслители XX века).

туру без веры, без сердца, без созерцания и без совести; и ныне эта культура являет свое бессилие и переживает свое крушение.

Люди не захотели больше веровать, потому что они уверили себя, будто вера есть противоразумное, научно несостоятельное и «реакционное» состояние души. Люди отреклись от сердца, потому что им стало казаться, что сердце мешает инстинкту, что оно есть разновидность «глупости» и сентиментальности, что оно подрывает человеческую деловитость и ставит человека в смешное положение; а «умный» человек больше всего боится показаться смешным; он желает «делать дела» и утверждаться в земной жизни. Люди отвергли созерцание, потому что их трезвый, прозаический «ум» презирает человеческую «фантазию» и считает, что самое важное в жизни есть «эмпирическое» и «прозаическое». Они вытеснили из жизни начало совести, потому что ее живоносные призывы и укоры совершенно не укладываются в контекст хладнокровных расчетов и деловых планов. И за всем этим, наряду с черствым себялюбием и самомнением, скрывался ложный стыд и ложный страх: люди боятся остаться в бедности и неизвестности, они боятся прослыть ребячливыми, несерьезными и смешными... Холодное самочувствие, тщеславие и честолюбие соединяются здесь с робостью перед «общественным мнением»...

Этот ложный стыд будет преодолен и устранен великими лишениями и страданиями нашей эпохи. Ибо страдание есть подлинная и могучая реальность, оно приобщает человека к бытию настолько, что люди научаются быть, а не казаться, и их тщеславное желание «прослыть» и «прославиться» отходит на задний план. Но это и значит, что современному человеку предстоит еще мучиться и терпеть, и может быть, еще в неизведанных им формах гнета и унижения, до тех пор, пока не отпадет все кажущееся, условное и мертвое и пока не вырвется наружу исток внутренней реальности и творческой силы. Человек должен снова возжелать подлинной реальности, субстанции всяческого бытия и всякой жизни. Тогда в нем оживет и раскроется сердце; тогда он свободно и решительно отдастся сердечному созерцанию; на этом он вновь обретет Бога, примирится со своей совестью и начнет создавать новую культуру, — обретая новую веру во Христа, слагая новую науку, созидая новое искусство, формулируя новое право и водворяя новую, отнюдь не социалистическую социальность...

Нельзя ни предусмотреть, ни предсказать, когда именно начнется это духовное обновление и когда наступит час творческого прорыва и постижения. Отдельные носители и осуществители его жили во все века и совершают свое дело и ныне. Во всяком случае, мы должны и теперь уже искать верного диагноза для современного духовного кризиса и намечать верные пути, ведущие к духовному обновлению.

К этому призвана особенно философия, как любовь к мудрости, как потребность в божественных содержаниях, как ответственнейшее исследование, как воля к очевидности в делах высшей и пре-

дельной важности. И философы нашей эпохи поступят правильно, если они забудут свои субъективно-произвольные «конструкции» и всякие «гносеологические» и «диалектические» комбинации и отдадут свои силы предметному созерцанию.

Тогда они прежде всего увидят и укажут духовные раны современной культуры, начиная с утраты священного во всей человеческой жизни и кончая исследованием тех бездн, в коих гнездится зло мира.

Вслед за тем им придется установить диагноз нашего культурного кризиса и показать, как современное человечество переоценивает чувственную жизнь и чувственные наслаждения, как оно создает бессердечную культуру и погружается в хаос духовного затмения.

Обращаясь к путям духовного обновления, они должны будут заняться прежде всего вопросами воспитания, чтобы указать его важнейшие, забытые и запущенные в нашу эпоху задания: надо будить духовное начало в детском инстинкте, приучать его к чувству ответственности, укреплять в людях предметную силу суждения и волю к духовной цельности в жизни.

Надо верно оценить то бремя земного существования, которое мы несем через всю жизнь, и найти естественные и справедливые способы для социального облегчения его.

Особенно важно понять и объяснить людям сущность творческой жизни. Это величайшая задача для поколений, идущих нам на смену. Строение творческого акта, созидающего культуру, должно быть постигнуто до глубины и обновлено из самой глубины, и притом — во всех областях и духовных призваниях.

И для того, чтобы разрешить все эти задания, людям надо обеспечить себе доступ к первоначальным основам духа и жизни. Человек будущей культуры должен снова возлюбить духовную свободу, предаться живой сердечной доброте, взрастить в себе драгоценное смирение как источник подлинной силы, преклониться перед тайной Божьего мироздания, укрепить в себе силу сердечного созерцания, научиться радости благодарения и восстановить в себе подлинную религиозность.

И то, что он тогда будет излучать в мир, освятит его личную жизнь и поведет его культуру по путям истинного христианства.

Часть первая
1. БЕССЕРДЕЧНАЯ КУЛЬТУРА
Из переписки двух ученых

Вот что стояло в его письме:

«Достоуважаемый коллега!

Не понимаю, чего Вы, собственно говоря, требуете от современного человечества?.. Чем дальше идет развитие культуры, тем напряженнее, тем интенсивнее она становится. Культура есть вообще воплощение интенсивности: «многое» собирается и сосредоточивается (аккумуляция) и затем действует в формах концентраций (интенсив-

ность). Это составляет самую сущность культуры. Именно бескультурность выражается в рассеянии, в рассредоточенности; и именно поэтому варварство есть явление распада, бесформенного множества, экстенсивности, вялого бессилия. Напротив, кто хочет творить культуру, тот должен собрать свои силы, научиться концентрации, вниманию, единению; он должен все взвешивать, вкладывать в дело все свои силы и стойко держаться до конца. Без этого никакая культура невозможна. Но это и есть приговор для всякой наивности, непосредственности и бессознательности. Мысль и воля должны проснуться, сосредоточиться, подчинить себе воображение и создать необходимое. При чем тут так называемая «жизнь чувства» или, как еще говорят, «сердца»? Что она может дать? — Она будет только отвлекать, уводить, мешать умственной концентрации, ослаблять волевую энергию...

Стоит только перебрать по очереди отдельные области человеческой культуры — и все сразу обнаружится.

Возьмем ли всеопределяющую ныне технику, великую основу всякого культурного начинания. Она строится на математическом естествознании и руководится соображениями экономии сил, полезности и дохода. Здесь чувство ничего не может; оно будет только мешать и должно быть устранено...

Возьмем ли хозяйство, и в частности деловой оборот: две великие сферы реальной необходимости и целесообразной организации; царство трезвого расчета, хладнокровного взвешивания и предвидения. Здесь все решается верной калькуляцией, конкуренцией, рекламой и быстро принятым решением. Где здесь место для любви? Она только спутает все, растворит, разложит и подорвет; она поколеблет и остановит весь хозяйственно-общественный механизм, заставит человека наделать нерасчетливых глупостей и разорит его. Человек борется с человеком за свое существование, — и на этом держится все хозяйство. Здесь господствует инстинкт самосохранения и соперничество. И кто предается чувствам и чувствительности, тот пропащий человек...

Посмотрите на науку — этот главный двигатель всей современной культуры. Здесь все построено на объективном наблюдении и бесстрастном анализе. Жизнь чувства, с его неустойчивостью и капризной субъективностью, внесла бы в науку только туман и пристрастие; и потому она должна быть здесь подавлена или, во всяком случае, устранена. Чем меньше «симпатии» и «антипатии», волнения и негодования, тем успешнее идет научное исследование. Ненависть и любовь только плодят научные ошибки. «Сердцу» просто нечего делать в науке.

А если взять культуру как политику, то тут уже совсем не будет места для «сентиментальности». В политике царит личный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и дерзкая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и зоркий учет сил, дисциплина и удачная интрига; и конечно — искусная реклама. Политик должен блюсти равновесие в народной жизни и строить «па-

раллелограмм сил» в свою пользу. При чем тут чувство? Сентиментальный политик никогда не дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит. Здесь все решается волей и силой; и любви здесь нечего делать. Сентиментальность погубит всякий государственный строй...

Заговорите о любви в современном искусстве, и на Вас все обернутся как на устаревшего чудака-профана. Современное искусство есть дело развязанного воображения, технического умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой век; это был век пастушек и романтиков. Ныне царит изобретающее и дерзающее искусство, с его «красочными пятнами», звуковыми пряностями и эффективными изломами. И современный художник знает только две «эмоции»: зависть при неудаче и самодовольство в случае успеха.

И вот от всей культуры остается только религия, которая ныне, кажется, поколеблена в самых своих основах. Но западные европейцы давно уже уяснили себе, что в религии должны господствовать воля, дисциплина и богословское доказательство. Для того чтобы иметь веру и религию, человек должен захотеть веры и подавить свои сомнения. Он должен подчинить себя церковной дисциплине и погасить свои субъективные симпатии. Самостоятельное, свободное кипение чувств и разнуздание личных мнений только подрывает и разрушает религию. Здесь нет места ни сомнению, ни произволу; и если церковь хочет быть сильною, то она должна устранить сердце из религии.

Вот почему культура вообще не нуждается в жизни чувства: последнее должно быть обуздано, укрощено и преодолено. Распущенное чувство есть прямой признак некультурности, пережиток варварских времен...»

Я отвечал ему:

«Ваши определения, почтенный коллега, очень ясны и чрезвычайно поучительны. Они удивительно освещают всю проблему. Именно из того, что Вы вскрыли, у современных поколений западного человечества возникла нынешняя бессердечная культура. И все мы должны постоянно думать о том, сможет ли она дальше существовать в таком виде и как можно было бы спасти ее... Потому что предварительные итоги ее развития являют картину сущего крушения, а может быть, и величайшей катастрофы...

Культура последнего века покоится на некоторых основных предпосылках, которые редко выговариваются открыто, но которые внушаются современному «культурному человеку» с самого детства как нечто само собой понятное и не допускающее никаких сомнений. Именно поэтому он впитывает их в себя как бы с молоком матери и живет ими всю жизнь. Вот эти предпосылки.

— Сердце существует только для глупых людей; умные люди не считаются с ним и не поддаются его нашептам. Совесть есть выдумка блаженных; с нею носятся только сентиментальные люди; только нежизнеспособные фантазеры дрожат перед этим призраком добродетели. Вера изжита и стала пережитком; она простительна только наивным и непросвещенным людям; а умные и образованные люди

могут только притворяться верующими, и притом в силу расчета и лукавства. Любовь есть или здоровый половой инстинкт, нужный для деторождения, или же старомодная сентиментальность, лицемерная фраза, остаток первобытного прошлого, которому нет места в современной культурной жизни...

Как сложились, как окрепли эти предпосылки современной культуры — это долгая история: все развитие западноевропейского человечества дает ответ на этот вопрос; и было бы чрезвычайно поучительно проследить кристаллизацию этих основ из столетия в столетие. Однажды появится русский ученый, который выполнит эту работу. Под многовековым влиянием языческого, а потом католического Рима люди культивировали волю и мышление; они старались овладеть воображением, столь неосторожно проснувшимся в эпоху Возрождения, и подчинить его; и пренебрегали жизнью чувства, во всей его благодатной глубине, свободе и силе. От всего чувства оставалась одна чувственность: эротика без любви. Только от времени до времени вырывались из земли и поднимались к небу — совсем индивидуально и самовластно — личные «гейзеры» чувства, горячие источники любви и совести, которые при жизни не встречали ни понимания, ни сочувствия; а после смерти их личного носителя их дело искажалось или предавалось забвению (таков был Франциск Ассизский в Италии, таков был Мейстер Экхарт в Германии, таков был Томас Карлейль в Англии). Мы, конечно, отметим и признаем в современной культуре начало общественной благотворительности; но при ближайшем рассмотрении окажется, что в основе ее лежит волевая дисциплина, соображение о пользе и умелая организация, — а совсем не любовь, не совесть и не чувство. Общественная благотворительность на Западе обдуманна и умна; почти всегда хорошо налажена и приносит немало пользы; но она почти всегда жестка и холодна, нелюбовна и неделикатна, ограничена определенными социальными группами и никак не связана с живою добротою... Она благотворит с выхолощенным сердцем.

Именно в этом все дело: западноевропейская культура сооружена как бы из камня и льда. Здесь религия, искусство и наука (за немногими гениальными исключениями!) холодны; а политика, техника, хозяйство и деловой оборот — жестки и суровы и вменяют себе эту жесткость в великую заслугу («высший уровень культуры!»)... Любовь мешает уму и воле; а культура считается именно делом воли и ума. Проявлять жизнь чувства ребячливо, несерьезно, просто — смешно! А стать смешным — это самое страшное дело для «серьезного» человека... Культура есть дело строгое; а строгость формальна, холодна и жестка.

Умный английский философ Гоббс формулировал однажды социологический закон: «человек человеку — волк» (homo homini — lupus). Было бы несправедливо сказать, что это и есть закон современной культуры. Однако «культурное приличие» требует того, чтобы люди обращали друг на друга как можно меньше внимания: не обременяли друг друга ненужным наблюдением и общением. Человек человеку — прохожий. Или, как тонко подметил Чехов, человек

человеку не то запертый сундук, не то источник недоразумений. Люди подобны деревянным шарикам, которые чокаются друг о друга и отскакивают в разные стороны. Люди друг другу — соперники или конкуренты; и каждый опасается чужого недоброжелательного ока и осуждающего разговора. Они заботятся друг о друге лишь в меру ожидаемой от другого имущественной или служебной пользы, или в меру своего тщеславия, или еще — в меру чувственного влечения. А использованного человека «списывают со счета» и при первом удобном случае предают. И делают это совершенно сознательно и довольно ловко. И зная это, для приличия время от времени декламируют о гуманности; и расчетливо, с навязчивой рекламой, организуют «гуманные заведения». А в прочем люди, как деревянные шары, случайно наталкиваются друг на друга, отскакивают и катятся дальше своею случайной дорогой Люди относятся друг к другу так, как если бы их нормальное «рядом-жительство» было подготовительной стадией для столь же нормального «взаимного нападения». Но именно поэтому, как только дело доходит до борьбы, так оказывается, что «человек человеку — волк»...

Поэтому эти судорожные спазмы современной культуры — революции, гражданские и международные войны — не случайны: они суть естественные выражения сердечной жесткости, алчности, зависти и ненависти. Жестокость этих столкновений уже заложена в повседневной жесткости и бессердечной жизни. И неудивительно, что антракты между революциями заполняются систематической подготовкой новых революций; и что революция стремится захватить всю вселенную. И антракты между войнами заняты изобретениями новых оружий, и «наука» уже торгует своими военными изобретениями, продавая их из страны в страну. Оружия эти становятся все более разрушительными, убийственными и мучительными; и уже направляются на мирное население. И уже работают везде школы взаимного выслеживания, замучивания и искоренения. И все это не случайно, а заложено глубоко в бессердечии современной культуры.

Вот почему надо признать и громко выговорить, что двигаться по этому пути далее невозможно. Бессердечная культура подрывает сама себя: в изобретении атомной бомбы она дошла до вселенского самоубийства, а изобретение это, наверное, не составляет последнего слова разрушительной техники. Источники и основы современной культуры должны быть в корне пересмотрены. Человечество творит свою культуру неверным внутренним актом, из состава которого исключены сердце, совесть и вера, а сила созерцания — заподозрена, осмеяна и сведена к подчиненному, почти подавленному состоянию. Так создаваемая культура есть больная культура; и то, что мы переживаем ныне, все наши бедствия, страдания и тревоги, суть естественные последствия этой больной культуры».

NB *И.Ильин не принимает ту культуру, которая «строится с отстраненным и заглохшим, омертвевшим сердцем». Это неприятие понятно, но трудно согласиться с его утверждением, что наша советская*

культура таковой и является. Конечно, пути развития культуры после Октября 1917 года определялись совершенно другими целями и задачами, чем в дореволюционной России. Но ведь недаром существует такое модное ныне понятие, как «менталитет». Можно создать какие угодно творческие союзы, деятельность которых регламентируется партией, можно наладить карательную машину, но нельзя истребить сущность души русского человека. Это ведь тоже относится к загадкам Руси или России, которые даже и сейчас, когда мы устремились в погоню за западными ценностями, все равно присущи нашей стране, «нашему» человеку, и понять их по-прежнему достаточно трудно. Безусловно, «мышление без сердца», о котором говорит И.Ильин, может быть только циничным. Но развитие нашей литературы или кино в XX века дает много примеров, когда стук этого сердца нельзя не услышать. Оно стучит в «Котловане» А.Платонова, в «Круглянском мосту» В.Быкова, в повести «А зори здесь тихие...» Б.Васильева, в «Сашке» В.Кондратьева, оно стучит в фильмах «Служили два товарища», «Летят журавли», «Иваново детство», «Андрей Рублев», как и во многих произведениях других видов искусства.

2. ОБРЕЧЕННЫЙ ПУТЬ

Вся современная культура, «социалистическая» и «несоциалистическая», потрясена в своих основаниях; ей грозит разложение и гибель. Это объясняется тем, что она создавалась и ныне по-прежнему строится с отстраненным и заглохшим, омертвевшим сердцем. Ее породил душевный акт неверного строения, и это вело и ныне ведет к самым тягостным, извращенным, трагическим последствиям. Современное человечество, «христианское» и противохристианское, должно понять и убедиться, что это есть ложный и обреченный путь, что культура без сердца есть не культура, а дурная «цивилизация», создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь.

Пренебрежение, с которым современное человечество относится к «сердцу», объясняется целым рядом причин. В основе его лежит неверное представление о творческом акте, который трактуется материально, количественно, формально и технически. Для того чтобы жить в качестве вещи среди вещей (или, что то же, в качестве тела среди других тел), человек, по-видимому, не нуждается в «сердце», т.е. в живом и деятельном чувстве любви к Богу, к человеку и ко всему живому; такое существование может явно обойтись без этой необходимой и важнейшей силы. Человек может отдавать свой интерес пище, питью, чувственным удовольствиям, внешним удобствам и впечатлениям или, наконец, лечению, не вовлекая своего сердца во все эти дела и занятия, оставаясь холодным, черствым и самодовольным «счастливцем». Подобно этому человеку, понимающему творчество не качественно, а количественно, безразличному к нравственному, религиозному, художественному и социальному совершенству жизни, — нет особенной надобности

вовлекать («инвестировать») в свои дела и отношения начала чувства и любви, обилие имущества и денег, повышение фабричной продукции и увеличение сбыта, умножение слуг и рабов, — все это достигается волею, рассудком, расчетом, мыслью, интригою, жестокостью и преступлениями гораздо легче, чем любовью, которая может оказаться прямым препятствием во всех этих делах. Точно так же формальное отношение к жизни и творчеству облегчает человеку достижение «успеха» чуть ли не на всех поприщах: формальное трактование права требует только мысли и воображения и возможно без совести, без чести, без патриотизма и жалости; формальное отношение к религии превращает ее в дело пустого обряда и памяти; формальное восприятие искусства уже породило современный модернизм во всех его видах, не нуждающийся ни в сердце, ни во вдохновении, ни в предметосозерцании; формальная политика есть дело власти (воли) и дисциплины, и современное тоталитарное государство есть ее прямое порождение; и так во всем, во всех человеческих делах и отношениях. Что же касается техники, то она является сущим средоточием материализма, количественности и формализма; здесь сердцу, по-видимому, решительно нечего делать.

И вот человек, так понимающий и осуществляющий творческий акт, естественно и неизбежно предается наивно-животному своекорыстию, жажде обладания, власти и почестей и в довершение усваивает совершенно ложное понимание человеческого достоинства, столь характерное для современных поколений.

Современный человек, чувствуя, что ему грозит бедность с ее лишениями, и ослепляясь мнимой мощью капитала, старается как можно больше нажить и как можно меньше утрудить себя. Он гонится за «прибылью», он желает получать и иметь много, но не желает давать со своей стороны. Он хочет жить долго и наслаждаться много и потому старается отделываться от своих занятий по возможности формально, поскорее и полегче управляться с ними, не связывать себя ничем и вовлекать свои чувства в дела возможно меньше. Он считает выгодным сторониться по возможности от всего, что могло бы обременить его: он склонен считать все «относительным», «пустяками», «вздором»... И такая установка становится для него «защитной» и «бережливой» привычкой.

Кроме того, ему кажется, что такой подход к жизни наиболее соответствует его мужскому и профессиональному достоинству. «Настоящий» мужчина деловит и важен; он принимает свою серьезную деловитость за настоящую жизненную «предметность». Он не живет чувством и не принимает всерьез сердечных побуждений (исключение делается только для эротических увлечений, и то не всегда). Он избегает всего «субъективного», «личного»; он боится показаться смешным. У него нет времени для «сентиментальностей». Он хочет «импонировать» людям, а для этого надо быть в жизни независимым, важным, чопорным. Поэтому он старается отделаться от «чувства» совсем. Он выступает в жизни как человек деловой и холод-

ный и не придает значения «сердцу». Ибо он боится больше всего — показаться слабым и стать смешным...

Вот почему люди нашей эпохи стыдятся положительных и добрых чувств и не предаются им. И самая благотворительность становится у них делом расчета, черствого ума, организации, делом показным и недобрым. И самые разговоры их о «гуманности» звучат фальшиво и толкуются партийно и двусмысленно. Но если человек не живет сердцем, то нет ничего удивительного, что оно глохнет и отмирает и что это отмирание становится наследственно-потомственным. При этом люди не замечают, однако, что отрицательные чувства, дурные и злые (гнев, злоба, зависть, мстительность, ревность, жадность, тщеславие, гордость, жестокость и др.), остаются и беспрепятственно расцветают, тем более что они, по-видимому, проявляют силу человека. Они импонируют большинству людей, ибо обнаруживают в человеке энергию, волю, настойчивость и властность; они внушают окружающим сначала опасение, а потом и страх, и даже незаслуженное уважение... Отсюда эта жалкая картина: современный «культурный» человек стыдится своей доброты и нисколько не стыдится своей злобы и порочности.

Так развернулась больная культура наших дней: она строилась и созидалась при бессилии добрых чувств, из заглохшего и омертвевшего сердца. И тот, кто присмотрится к этому своеобразному душевному состоянию, тот неизбежно придет к следующим выводам.

Современный человек привык творить свою жизнь — мыслью, волею и отчасти воображением, исключая из нее добрые побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не замечает, куда это ведет: он не видит, что создаваемая им культура оказывается безбожною, впадает в пошлость, вырождается и близится к крушению.

Мышление без сердца — даже самое умное и изворотливое — остается в конечном счете безразличным: ему все равно, за что ни взяться, что ни обдумать, что ни изучить. Оно оказывается бесчувственным, равнодушным, релятивистическим (все условно! все относительно!), машинообразным, холодным и циничным; особенно — циничным, а потому характерным для карьеристов, для людей пролазливых, льстивых, пошлых и жадных. Такое мышление не умеет вчувствоваться в свои предметные содержания; оно не созерцает, оно лишено интуиции; его главный прием есть умственное разложение жизни, как бы умственная «вивисекция» живых явлений и существ. Поэтому оно остается аналитическим, оно действует разлагающе и так охотно занимается пустыми «возможностями» и «построениями» (конструкциями). Это делает его беспредметным в истинном и глубоком смысле слова; но люди этого не замечают. Отсюда возникает формалистическая и схоластическая наука — формальная юриспруденция, разлагающая психотерапия, бессодержательная эстетика, аналитическое естествознание, парадоксальная математика, абстрактная и мертвая филология, пустая и безжизненная философия. Наука становится мертвым и ложным делом, а человек вынашивает беспочвенное, разнузданное, обманчивое миросозерцание...

Бессердечная воля — сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни — является в конечном счете лишь животной алчностью и злым произволением. «Освободившись» от любви, воля оказывается бесцеремонной и безудержной, но воображает о себе, будто она «могущественна» и «свободна». В действительности же она является безжалостной, напористой и жестоковыйной. Успех для нее — все; мучительство и убийство для нее — дело простое и обычное. Это — злая энергия души. Она живет всецело в трезвости земных похотей: это есть воля к обладанию и к власти, и расценивать ее надлежит не как духовную потенцию, а как опасное явление природы. Это и есть именно та воля, для которой поставленная цель оправдывает всякое средство. Это есть воля ненасытного властолюбия, воля тоталитарного государства и «единоспасительной церкви», антисоциального капитализма, коммунистическою деспотизма, империалистических войн за колонии; такова воля всех карьеристов и тиранов.

И наконец — воображение в отрыве от сердца, как бы картинно и ослепительно оно ни изживалось, остается в конечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством. Никогда еще оно не создавало истинного и великого искусства; никогда еще ему не удавалось узреть глубину жизни и высоту духовного полета; и никакой успех у толпы, если он бывал, не доказывал обратного. Фантазия, лишенная любви, есть не что иное, как разнуздавшееся естественное влечение, неспособное творить культуру; — или же изобретательный произвол, не имеющий никакого представления о художественном совершенстве. Поэтому безлюбовное воображение есть не дух, а подмена духовности, ее суррогат. Его «игры» — то похотливы и пошлы, то конструктивны, беспредметны и пусты. Это воображение, которое разрешает себе все, что доставляет ему удовольствие, и которое готово на всякий и даже самый гнусный заказ, диктуемый ему хозяйственной или политической «конъюнктурой»... Именно оно, духовно слепое, формальное и релятивистическое, породило в истории искусства современный «модернизм», со всем его разложением, снижением и кощунством...

Еще недавно казалось, что людям бессердечной лжекультуры никак не докажешь обреченности этого пути; они просто не хотели слушать наших возражений и обличений. «Почему же этот путь должен считаться обреченным, если история избрала именно его и осуществляет его? Все превосходно развивается, наука делает замечательные открытия, техника идет вперед и создает невиданное, промышленность процветает, медицина являет все новые достижения, юриспруденция вытачивает свою систему понятий, химия и физика производят миропотрясающие, а может быть, даже мироразрушительные опыты и т.д. В чем же обреченность этого пути?!»...

Стоя непосредственно перед крушением, в преддверии близящейся мировой катастрофы, люди не хотели видеть, что это не победоносное шествие, а скольжение в пропасть; что формализм и разнуздание суть гибельные координаты; и что властолюбию дают-

ся в руки такие средства, которыми оно будет злоупотреблять во всеобщее унижение и порабощение... И вот события последних десятилетий показали, что путь этот есть действительно обреченный путь.

Теперь люди скоро убедятся в том, что мнимый «прогресс» есть в действительности разложение культуры. События заставят их пересмотреть свои воображаемые «достижения» и обновить свой творческий акт. Сердце и созерцание, любовь и интуиция должны быть реабилитированы и возобновлены и соответственно получат руководящую силу. Наряду с чувственным наблюдением внешнего мира, наряду с холодной и жесткой волей к власти должно расцвести особое сердечное созерцание, свободное от предрассудков прошлого, не компрометируемое псевдонаучной мыслью, воспринятое и осуществляемое в культурном творчестве. Это сердечное созерцание переродит и окрылит чувственное наблюдение мира; оно свяжет и облагородит холодную и жестокую волю к власти и укажет ей ее высшие цели и задачи.

Человек должен научиться этому новому созерцанию, воспринимающему и природу, и человека, и высшие предметы потустороннего мира — любовью; любовь, по завету Евангелия, должна стать первою и основною движущею силою и создать новую культуру на земле. Человек должен понять, что привычные для него вопросы — «а какая мне от этого польза?» и «как использовать мне данное положение вещей против других?» — суть вопросы, достойные животного, а не человека и что такая установка души не может создать великую и жизнеспособную духовную культуру. Культурное творчество требует от нас предметного служения, духовной преданности и жертвенности, т.е. сердца и любви. Оно требует от нас выбора истинной цели, верности вчувствования и свободной совести, т.е. опять-таки любви и созерцания. И эту творческую любовь и это творческое созерцание нельзя ничем заменить или подменить: ни суровой дисциплиной, ни идеей долга, ни авторитетными велениями, ни страхом наказания. Ибо любовь имеет в виду свободно избранный и любимый предмет; она индивидуализирует все отношения человека и воспитывает в нем культуру предметности; она интуитивна, созерцательна; она невынудима и свободна; она исходит от совести, движется вдохновением и творит. Тогда как долг есть начало рассудочное и формальное, а дисциплина действует силою авторитета, она не выбирает своего предмета и довольствуется внешней исполнительностью. Конечно, при отсутствии любви — лучше долг, чем произволение, и лучше дисциплина, чем разнуздание. Но ни долг, ни дисциплина не могут заменить любви.

Вот почему культура без любви есть пустое и мертвое понятие, мнимая культура или прямое лицемерие. И путь этот есть обреченный путь.

3. О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Человек, как духовное существо, всегда ищет лучшего, ибо некий таинственный голос зовет его к совершенству. Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он... Он, может быть, чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чем же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот внятен ему и властен над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к совершенству придают человеку достоинство духа, сообщают его жизни духовный смысл и открывают ему возможность творить настоящую культуру на земле.

А человек призван быть на земле именно духом, — не просто живым существом наподобие животных и насекомых, и не только одушевленным созданием, удачно соображающим и желающим для себя всякой пользы, капризно и разнообразно чувствующим и нестесненно фантазирующим. Все эти душевные способности даются ему, но не для злоупотребления ими, а для благого и ответственного служения. И вот первое, что необходимо каждому человеку, желающему творить культуру, это чувство своего предстояния, своей призванности и ответственности. Можно было бы сказать, что люди делятся на две большие категории: одни безответственно ищут в жизни или своего наслаждения (это люди «поглупее»!), или своей пользы (это люди «поумнее»!), другие же чувствуют себя предстоящими чему-то Высшему и Священному, так что, даже не умея сказать, что это за Высшее и где обретается это Священное, они не сомневаются в самом своем предстоянии Ему. Мир не есть для них «вольное пастбище», данное им для личного прокормления и устройства; он не есть для них и случайное нагромождение «впечатлений», «явлений», удовольствий и неприятностей. Они чувствуют и прозревают великий смысл мирового вращения и своей собственной жизни; и не успокаиваются на том потоке «ничтожной суеты» и «мелкого сора» (А.К.Толстой), в котором тонут столь многие.

Это чувство предстояния и призванности сразу успокаивает их и тревожит: успокаивает — ибо дает им ощущение высшей «водимости», творческой основы, жизненного смысла несобственного достоинства; тревожит — ибо вызывает в них живое чувство духовного задания, высшей ответственности и собственного несовершенства. Это возлагает на них обязанность не мириться со всем тем, что происходит в них и во внешнем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к дисциплине и к вдохновению.

Такое удостоверение в собственной духовности и приятие ее есть первооснова живой религиозности. Ибо то Высшее, чему человек предстоит, есть Господь, Его зовы и Его божественные излучения. И призвание человека определяется именно свыше. И духовное измерение человеческой жизни и всех ее дел имеет тот же единый источник. И ответственность человека есть в последнем измерении всегда ответственность перед Богом.

Само собою разумеется, что человек не всегда отчетливо сознает это и редко может точно выговорить ощущаемое. Но это ничего по существу не меняет. Сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная. И закрепление в слове глубоких и священных жизненных сил дается не каждому человеку, дается не всегда и не легко. Здесь важно и драгоценно не умствование и не словесное описание, а твердое и глубоко укорененное чувство предстояния, призванности и ответственности. Духовность человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферою слов и высказываний. Духовность глубже всего этого, могущественнее, богаче, значительнее и священнее.

Духовность человека состоит прежде всего в уверенности, что в пределах его собственной души есть лучшее и худшее, на самом деле лучшее; такое, качество и достоинство которого не зависит от человеческого произвола; такое, которое надлежит признать и перед которым подобает преклониться. К этому лучшему и высшему надо прислушиваться, сосредоточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. И по мере того, как человек осуществляет это, он убеждается в том, что это высшее и лучшее совсем не исчерпывается его личными пределами, но является в нем самом как бы излучением и энергией действительно Высшего и Совершенного Начала, которому он и предстоит на протяжении всей своей жизни. Приобщаясь этому Началу, духовный человек не может не радоваться ему, не может не возжелать его и не полюбить его. И очень скоро он удостоверяется в том, что это радование естественно и целительно, что это желание драгоценно и жизненно необходимо, что эта любовь открывает ему настоящий доступ к жизненному свету, к истинной свободе, к подлинному бытию и личному духовному достоинству. В этом делании духовный человек научается преклоняться перед Богом, чтит самого себя, видит и ценит духовность во всех людях и желает творческого раскрытия и осуществления духовной жизни на земле. Это и есть сущая культура.

Все это можно было бы выразить так: в основе подлинной духовной культуры лежит личная, искренняя религиозность культурно-творящего человека. Религиозность есть живая первооснова истинной культуры. Она несет человеку именно те дары, без которых культура теряет свой смысл и становится просто неосуществимой: чувство предстояния, чувство задания и призванности и чувство ответственности.

NB *Наверное, И.Ильин прав, когда говорит о том, что в основе подлинной духовной культуры лежит искренняя религиозность. Но тем не менее было и есть немало художников, которые работали на поле духовной культуры в России советской без декларированной религиозности. Значит ли это, что их творчество нельзя назвать духовным? Повторюсь — не в терминах суть. И.Ильин не принимает творчества модернистов, отказывает им в духовности. Это его позиция. Наверное, можно по-разному относиться к творчеству Пикассо и других ху-*

дожников авангарда. И тем не менее не является ли «Герника» Пикассо произведением духовным, если мы подразумеваем в этом понятии способность выражения человеческой боли и страдания? Очевидно, мы сталкиваемся здесь с необходимостью соотнесения формы и содержания художественного произведения. Художники-авангардисты склонны к провокации, к агрессивному неприятию отживающих форм в искусстве. Значит ли это, что их произведения лишены идеи, нравственной и художественной концепции? Модернизм открыл XX век поисками новых форм, о которых так мечтал герой чеховской «Чайки». Скорее всего, дело в том, что эти поиски нового выразительного языка в живописи, музыке, литературе отпугнули защитников классики и они не узнали в новых образах все те же «вечные» идеи.

Мне голос был, он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Так писала акмеистка А.Ахматова, принимая решение остаться в послереволюционной России. Она обрекла себя на творчество, лишенное права на свободу самовыражения. Она вынуждена была зарабатывать на жизнь переводами, как и многие другие поэты, оставшиеся в советской России. У нас возник новый вид литературного творчества: «писание в стол». Но поэты-авангардисты А.Ахматова, М.Цветаева, Б.Пастернак, В.Маяковский любили и воспевали родину не меньше, чем их собратья-реалисты.

Можно вспомнить, как одухотворенно воспевал чувство любви футурист В.Маяковский:

Любить —
это значит
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Ивановны,
считая своим соперником.

Предстояние Высшему есть первый дар религиозности. Напрасно думать, что это чувство «унижает» человека или придает ему «рабские черты». Такое мнение свидетельствует о том, что данному человеку далеко до истинной свободы: он боится попасть в «рабское» положение именно потому, что он все еще чувствует себя сам «недавним рабом», или «полурабом», или, если угодно, «вольноотпущенником». Человек, нашедший свою свободу и утвердившийся в ней, знает, что никакие условия, ни внешние, ни внутренние, не могут отнять у него этой свободы; ибо от того, что другие люди будут обходиться с ним как с рабом, его свобода не угаснет, а только углубится до пределов внешней недосягаемости; сам же он никогда не усвоит рабскую установку. Свобода, вообще говоря, не «дается», а «берется»; она берется духом, как его неотъемлемое достояние, и соблюдается им как неотчуждаемая святыня. Но для того чтобы это совершилось, свобода должна найти свой источник в том Высшем, которому она имеет счастье предстоять и от которого исходит всяческая духовность и всяческая свобода. Именно это имел в виду мудрый Томас Карлейль, когда писал: «В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, что выше его...» «Человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или иной форме...» Надо сказать еще больше: человек не может творить культуру, не чувствуя себя предстоящим именно тому, что он должен осуществить в своем культурном творчестве. «Творящий» без верховного Начала, без идеала, перед которым он преклоняется, не творит, а произвольничает, «балуется», тешит себя или просто безобразничает (наподобие Пикассо и других модернистов). Новые поколения, следующие за нами, должны признать, что поклонение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и возвышает его. Человек же, который «ничему не поклоняется», обманывает сам себя, ибо на самом деле он поклоняется себе самому и служит своей бездуховной и противодуховной похоти. И культура его будет не культурой, а беспредметным посяганием и произволением, лишенным главного, не способным ни познать истину, ни создать художественное, ни совершить любовное, благое и чистое, ни узреть и раскрыть справедливое право.

Предстоящий измеряет себя именно тем, чему он предстоит. Именно это надо иметь в виду, читая евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мтф. 5, 48). Предстоящий Богу измеряет и оценивает себя лучами Божественности. Предстоящий совершенству судит себя высшим, доступным человеку критерием. Предстояние подъемлет сначала взор человека, потом сердце его и волю его; оно вызывает в нем новые мысли, новое понимание себя, других людей и всей вселенной. Строение его души, доселе бывшее как бы одноэтажным домиком, надстраивается и возвышается. Его око начинает видеть новые «пространства», усваивает их и приобщает их к своей жизни. Или можно сказать: душа его переживает некое священное окрыление. Сердце его воспринимает новые, горние лучи и научается радоваться им, ожидать их и

трепетать от этого ожидания. Воля его научается выходить из всего чисто личного, мелкого и пошлого и сосредоточивается на лучшем, на объективно лучшем, на совершенном: она научается представлять себе это лучшее не только «вверху», но и «впереди»: она находит в нем жизненное задание для своего будущего.

Так пробуждается и крепнет в человеке живая совесть. Не совесть, угрызающая за несовершение в прошлом добра или за совершение в прошлом зла; но совесть как творческая энергия, энергия любви и воли, направленная вперед, в будущее, к предстоящим совершениям. Она же и дает человеку то высшее счастье на земле, которое выражается словами — духовное достоинство и призвание.

Духовное достоинство состоит в том, что «предстоящий» человек утверждает свою жизнь приятием Божественного, любовью к Нему и верностью Ему. Он приемлет Его лучи, и эти лучи проникают в его душу до самого дна. Он проникается ими, как бы питается и животворится ими, и они сообщают ему свой огонь, свой свет и свое тепло. В них он находит свое бытие; так, что самое существо или естество его личности определяется и освящается ими. В глубине его души как бы строится храм, а в храме этом утверждается алтарь и престол с неугасающим светильником. И не в том смысле, чтобы этот храм, и престол, и светильник были бы «доступны» ему, как иное — иному, как извне приходящему «прихожанину»: но в том смысле, что этот храм есть его собственная обитель, и престол этот есть его собственная святыня, и светильник этот есть его собственное горение. Не только «в нем есть пламя», но он сам в полноте своего духовного бытия есть это пламя. И это пламя есть его Главное, от которого он не может отказаться, которым он дорожит превыше всего своего «прочего» и которому он не может изменить. И чувствуя это удостоверение, он начинает постигать, что значит «чтить самого себя» (Пушкин!) и что такое есть чувство собственного достоинства.

Вот где скрывается последний и безусловный корень духовной ответственности, без которой человеку недостойно жить на земле и невозможно создавать духовную культуру.

Человек, как свободное и зрелое существо, отвечает за свою жизнь, за ее содержание и за ее направление. Это духовно-естественно и неизбежно. Дух есть живая сила, энергия, которая чувствует себя выбирающей, решающей и действующей; и это самочувствие его не иллюзия и не обман. Тайна свободы, — или, как обычно говорят, «свободы воли», — состоит в том, что сила духа способна сосредоточиваться, укреплять себя, увеличивать свою силу и превозмогать свои внутренние затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека «свободен» не в том смысле, что на него «ничто не влияет» или что он не несет никакого бремени «воздействия» и «причин»: но в том смысле, что ему дан дар самоусиления, самоосвобождения, который он должен принять и в пользовании которым он должен искуситься и укрепиться. Обычная воля человека есть не более чем потребность, влечение, страсть или упрямство. Но духов-

ная воля человека есть дар освобождать себя от всякого неприемлемого и отвергаемого воздействия, как внутреннего, так и внешнего. Человеческому духу присуще это живое чувство: «я мог в прошлом поступать иначе», и соответственно «я и в настоящем могу выбрать, решить и осуществить свое решение». Повторяю: это не иллюзия и не самообман, ибо эта мощь самоусиления своей мощи действительно присуща человеческому духу. Неискушенному и неопытному может казаться, что он «не умеет» или «не знает», как начать; что он «слаб» и «беспомощен». Но ему будет казаться это лишь до тех пор, пока он будет сохранять «душевную», а не «духовную» установку. Ибо душа человека может действительно «духовно не уметь» и чувствовать себя «духовно слабой и беспомощной»; ей неизбежно пребывать «под давлением обстоятельств» и «влечений», для нее естественно колебаться, откладывать, не дерзать, искать оправданий и ссылаться на «среду», которая ее «заедает». Но для духа все это неестественно, чуждо, странно и мертво. Дух есть живая энергия; ему свойственно не спрашивать о своем умении, а осуществлять его; не ссылаться на «давление» влечений и обстоятельств, а превозмогать их живым действием. Как сказал однажды Карлейль: «Начинай! Только этим ты сделаешь невозможное возможным». Свобода эта состоит в том, что не его определяют «влечения» и «обстоятельства», а он определяет сам себя, то расценивая свои влечения и видоизменяя свои обстоятельства, то извлекая из себя решения и свершения, идущие наперекор всем обстоятельствам и влечениям. Свободы полной, тотальной, абсолютной нет и быть не может; и можно только радоваться тому, что человек лишен таких свойств и способностей. Ибо трудно себе даже представить, что за кошмарное создание представлял бы из себя человек, способный ежесекундно к проявлению какого-то метафизического произвола, обреченный на такие свойства, как невоспитываемость, непредусмотримость в решениях и поступках, невменяемость, хаотическая капризность и способность в любой момент провалиться в невиданную бездну зла. Общение с такими людьми исключило бы всякое взаимное доверие, всякое воспитание, всякий правопорядок и всякое участие в прекрасном космосе и в Царстве Божием. Можно только благодарить Бога за то, что такая свобода не дана человеку. На самом же деле свобода есть сила и искусство человека определять себя самого и свою жизнь к духовности, согласно своему предстоянию, своему призванию и своей ответственности.

Вот откуда у человеческого духа эта бессознательная, но твердая уверенность: «я мог иначе, но не сделал того, что мог»; или «я должен был совершить такой-то поступок и мог это сделать, но не сделал»; и соответственно: «многое в моем настоящем и будущем дается мне как готовое и неизменимое, но мой личный образ действий зависит от моего выбора и решения, а следовательно, от моего призвания и от моей ответственности». При таком самочувствии и понимании явления зовущей совести и явления укоряющей совести получают свой полный смысл и значение. Призывы совести беско-

нечно расширяют горизонт человеческих возможностей, утверждая в каждом из нас способность найти путь к совершенству и вступить на него, возвращаться на него после ошибок и падений и всегда созерцать ту даль, в которой это совершенство нас ожидает. А укоры совести освещают нам те ошибки и падения, которых мы не сумели избежать; мало того, они как будто указуют нам, почему именно эти ошибки и падения состоялись, каких именно усилий наша свободная воля не совершила «тогда» для того, чтобы избежать уклонений и неудач, и какие именно усилия надо осуществить «теперь», чтобы укрепить себя для будущего. И смысл христианского покаяния и исповеди «на духу» состоит именно в том, чтобы оживить в душе человека чувство предстояния, энергию совести, веру в свое призвание, жажду духовной свободы и чувство ответственности... Отсюда уже ясно, какое великое значение имеет «священное недовольство» человеческого духа самим собою, а также трезвое, честное, искреннее самоосуждение, которым «заболевает» духовно выздоравливающая душа.

Итак, предстоящий дух призван, а призванный человек ответствен; и в основе всего этого лежит дар к самоосвобождению, сообщенный человеческому духу свыше.

Как это просто, ясно и бесспорно: человеку подобает жить не состояниями, а действиями, и соответственно отвечать за эти действия. Дух человека подобен не воде, бесформенно растекающейся и безвольно плещущейся в своем ложе. Он не подобен и песку, пассивно лежащему, пока лежится, и пассивно осыпающемуся, «сползающему», когда потянет вниз. Дух человека есть личная энергия, и притом разумная энергия; разумная не в смысле «сознания» или «рассудочного мышления», а в смысле предметного созерцания, зрячего выбора и действия в силу духовно-достаточного основания. Так созерцал; так возлюбил; так выбрал; так совершил; и потому признаю это деяние моим деянием, поддерживаю его основания и мотивы и принимаю на себя ответственность за совершенное, признаю свою ошибку за ошибку, свое «заранее обдуманное намерение» признаю за таковое, — и вина моя, и заслуга (если она есть) моя, и последствия мною совершенного я готов нести и за них отвечать. Неспособный к этому не может считаться ни деятелем, ни человеком с характером, ни морально зрелой личностью, ни творцом культуры, ни воспитателем, ни врачом, ни священником, ни солдатом, ни судьей, ни политиком, ни гражданином. Он есть робкий обыватель, трус, карьерист или ловчила. Он сам себе не доверяет; а потому и ему не следует доверять. В старой Руси про таких людей говорили: «бегун и хороняка». Да и что может быть более жалкое, чем безответственный чиновник или политик, имеющий полномочия, призванный действовать, обязанный решать — и мечтающий об одном: занести себе «на приход» свои жизненные успехи и уклониться от «расплаты» по закону об ответственности?..

Отсюда уже ясно, что необходимо различать — предварительную ответственность и последующую ответственность.

Предварительная ответственность есть живое чувство предстояния и призванности и в то же время — живая воля к совершенству. Человек еще не совершил деяния; может быть, и не решил еще, что делать; может быть, даже и не избрал своей высшей ценности и не наметил своей высшей цели. Он только чует в себе активную силу и волевую энергию, он предвидит возможность и неизбежность будущих деяний — и связывает их намерением и внутренним обязательством осуществить «наилучше наилучшее». Он ставит себя перед Лицо Божие и «предстоит»; он слышит призыв к совершенству и осмысливает его как «свою призванность»; он приемлет эту призванность и как бы «заряжает» свою душу волею к совершенству. Еще не свершив, он уже знает о своей ответственности. И это чувство своей ответственности — сразу дисциплинирует его, сосредоточивает его и вдохновляет.

Значение этой предварительной ответственности в культурном творчестве основополагающе и велико. Чтобы убедиться в нем, достаточно представить себе человека, который борется за какое-нибудь творческое дело и лишен предварительной ответственности. Что создаст живописец, который не знает ничего высшего и священного над собою, не чувствует своей призванности сказать верное, зоркое и значительное и нисколько не намеревается создать «наилучше наилучшее»? Он будет только тешить свою живописную похоть, писать кое-что и кое-как, капризничать, демагогировать или дразнить воображаемого зрителя, произволять и безобразничать. Не так же ли обстоит дело с поэтом, музыкантом, скульптором и архитектором? Именно отсюда возник весь современный «модернизм» в искусстве... Что познает безответственный ученый, который не связал себя внутренне аскетической клятвой — созерцать неутомимо, исчерпывать все возможные средства и пути для удостоверения, не щадить опытных усилий, не выдавать гипотезу за истину и утверждать с силою окончательности только достоверное и очевидное? Страшно и гадко думать о том, во что превратится у него научная культура. Чего можно ждать от безответственного судьи, не требующего ни верного правосознания от себя самого, ни очевидности в изучении факта, ни прозрения в душу подсудимого, ни точного знания закона? Такой судья, не ведающий ни предстояния, ни призвания, ни желания осуществить «наилучше наилучшее», создаст режим произвола, коррупции и кумовства. Безответственный политик есть интриган и карьерист, деятель столь же отвратительный морально, сколь пагубный в общественном отношении; а между тем современная государственность кишит такими людьми — и в демократиях, и в тоталитарных государствах. Кто захочет лечиться у безответственного врача? Кто поручит своих детей безответственному воспитателю? Кто захочет принимать молитвы и таинства от безответственного священника? Какой полководец выиграет сражение, командуя безответственными офицерами, ведущими в бой безответственных солдат? Люди, не ведающие, что есть чувство предстояния и призванности и что есть воля осуществить «наилучше

наилучшее», — не способны творить настоящую духовную культуру. В этом приговор и им, и создаваемой ими лжекультуре...

Такова сущность, таков смысл ответственности — и предварительной, и последующей — в деле творческого обновления и углубления грядущей духовной культуры. И тот, кто продумает это, тот примет на себя обязанность изъяснить это другим. А русский человек сразу поймет, что это всего важнее в деле возрождения России.

4. О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта. Если дух в глубине бессознательного будет пробужден и если инстинкт будет обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни ребенка совершится важнейшее событие и дитя справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо «ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не станет «волком». Но если в детстве это не состоится, то впоследствии всякие уговоры, доказательства и кары могут оказаться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, страстями и пристрастиями не примет духа и не сроднится с ним: он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов восстать на него и осуществить свои желания. Это будет означать, что инстинкт утверждает в себе «волка»; он знать не знает «ангела» и отвечает на его появление недоверием, страхом и ненавистью.

В этом состоит секрет воспитания, его живая тайна. Но именно это и упущено нашей эпохой: последние поколения человечества разучились воспитывать в детях духовность инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагогическое искусство.

Не следует сводить человека к его «сознанию», мышлению, рассудку или «разуму»: он больше всего этого. Он глубже своего сознания, он проницательнее своего мышления, могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность человеческого существа — утонченнее и превосходнее всего этого. Его определяет и ведет не мысль и не сознание, но любовь, даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорожно преобразуется в ненависть и окаменевает в злобе. Человек определяется тем, что он любит и как он любит. Он есть бессознательный кладезь своих воззрений, безмолвный источник своих слов и поступков; он есть подземный ручей своих пристрастий и отречений, своих мечтаний и страстей; он есть гармония и дисгармония своих «неодолимых» влечений. Именно поэтому сознательная мысль не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности; и голос разума так часто бывает подобен «гласу вопиющего в пустыне»; и потому образование не воспитывает человека, а полуобразованность прямо развращает людей.

Воспитание человека начинается с его инстинктивных корней. Оно не должно сводиться к разглагольствованию или к проповеди;

NB *Нельзя не согласиться с автором в его размышлениях о воспитании человека, которое не может «сводиться к разглагольствованию или к проповеди». Вопрос о самой возможности воспитания является в современной педагогике чрезвычайно актуальным и дискуссионным. Поэтому мысли философа о необходимости «сообщения ребенку нового способа жизни» путем зажигания сердца очень важны для любого педагога, ищущего свой путь к сердцу своего воспитанника. Условия успешности этого поиска — предельная искренность взрослого, его неподдельный интерес к тому, чем живут его воспитанники, умение найти с ними тот язык, который позволит, не снижая планки уровня общения, быть для них человеком, которому можно доверить то, что лежит на душе. Вслед за И.Ильиным нельзя не признать, какую важную роль играют произведения искусства, способные оказать на открытую душу такие художественные впечатления, которые смогут озарить ее духовным светом, дать возможность приобрести опыт восприятия и переживания, обогащающего юную душу. Учитель сможет создать такую ситуацию общения и приобщения к художественным произведениям, способным оказать такое воздействие на ребенка. В нашей художественной педагогике есть такой опыт у учителей музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры.*

оно должно сообщить ребенку новый способ жизни. Его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании «интеллекта», а в зажигании сердца. Обогащенная память и подвижная мысль — при мертвом и слепом сердце — создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; оно развязывает и поощряет в человеке «волка».

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта.

Но, говоря о духовности или о духе, не следует представлять себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно-непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из нас не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно; но только один переживал духовные состояния и содержания с радостным наслаждением, другой — с холодным безразличием, третий — с отвращением или даже со злобой. Дух не есть ни привидение, ни иллюзия. Он есть подлинная реальность, и притом драгоценная реальность, — самая драгоценная из всех. Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении своего опыта: не о наполнении своей памяти из чужих книг и не об изощрении своего ума умственной гимнастикой; но о разыскании в непосредственной жизни всего того, что придает жизни высший смысл, что ее освящает. Один найдет этот творческий смысл жизни в природе, другой — в искусстве, третий — в глубине собственного сердца, четвертый — в религиозном созерцании. Каждый должен найти свою собственную дверь, ведущую в это царство; каждый должен найти ее сам и самостоятельно пересту-

пить через ее порог. Но это лишь первый шаг: это только вход, обретение, начало; это только первый луч восходящего солнца. И чрезвычайно важно, чтобы этот шаг был сделан в самом раннем детстве, ибо — это надо всегда помнить — все последующие шаги человека до известной степени подобны его первому шагу. Первый луч солнца должен озарить детскую колыбель; только тогда дитя станет «солнечным ребенком», а взрослый человек понесет через жизнь «лучезарное сердце».

Дух живет повсюду, где появляется или переживается людьми — Совершенство; и даже там, где человек искренно стремится к совершенному или хотя бы к объективно-лучшему (Божественному), не достигая его и не осуществляя его. Мудрый римлянин был прав, когда сказал: «In magnis et voluisse — sat est». В великом и божественном — весит и желание: сердцем хотел, но совершить не сумел, и зачтется благое желание по пасхальному слову Иоанна Златоуста.

Этот свет Совершенства в жизни природы и человека, это влечение к Божественному составляет духовный смысл природного естества и человеческой жизни; и притом не только в значении внешней и далекой «цели», но и в значении внутренней и реальной творческой причины. Совершенное может быть уподоблено не только дальней, зовущей звезде, но и сокровенной органической силе, творчески определяющей жизнь природы и человека. Кто увидит это в духовном созерцании, тот скажет: мир имеет смысл, потому что ему светит Совершенство; и более того: мир имеет бытие, потому что в нем живет и его направляет стремление к Совершенству. И всюду, где мы находим это, мы обретаем духовное измерение вещей и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; приемля это, усваивая это и включая в свою жизнь, мы становимся сами духовными существами, «чадами духа». Без духа и вне духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову Гоголя, «существователями»...

Но если кто-нибудь принял в себя начало духа и начал духовную жизнь, то перед ним открываются новые горизонты и он вступает в новый план бытия. Он убеждается в том, что дух есть «воздух» и «хлеб» человеческой жизни, ибо человек задыхается и изнемогает без него. Дух есть дыхание Божие в природе и в человеке; сокровенный, внутренний свет во всех сущих вещах; — начало, во всем животворящее, осмысливающее и очистительное. Он освящает жизнь, чтобы она не превратилась в мертвую, невыносимую пустыню, в хаос пыли и в вихрь злобы; но он же сообщает всему сущему силу, необходимую для того, чтобы приобщиться духу и стать духовным. А это и есть самое важное в воспитании.

Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на них они строили, к ним они взывали, их старались оживить и укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая земную очевидность как «при-

поминание» идей, предвечно созерцавшихся человеком в мире сущего бытия.

Где-то в глубине человеческого бессознательного находится то «священное место», где дремлет первоначальное духовное естество инстинкта. В детстве его сон нежен и чуток; душа еще не обросла тою грубою «корою», которая будет образовываться и нарастать на ней в течение дальнейшей жизни; душевная оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна. Подобно алмазу в хрустальной чаше, покоится в младенческой душе дух инстинкта и как бы ждет луча благодати, чтобы взыграть светом; или, подобно ребенку в колыбели, ожидает он, чтобы Божие солнце разбудило его своим светом. И это должно совершиться; и это должно повторяться, чтобы дух человека пробудился раз навсегда для всежизненного бодрствования и не заснул бы уже никогда.

Маленький ребенок прозябает в непосредственной беспомощности и живет потребностями своего маленького организма, в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и глубокие впечатления извлекают его из этого сумеречного состояния, иногда толчками, и проясняют сначала его сознание, а потом и самосознание. Этого «пробуждения» не следует ускорять нарочно и искусственно. Но как только эти проблески сознания начнутся, необходимо позаботиться о том, чтобы пробуждающие впечатления имели характер благостный и духовный, чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе духовные состояния. Впоследствии у ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяжелых, и болезненных, и даже мучительных: будут и настоящие духовные травмы (ранения). Но первые детские ранения не должны потрясать инстинкт, не пробуждая его духовную глубину. Детский инстинкт, раз потрясенный, во всей своей беспомощности, грубым и жестоким впечатлением, раненный в своей слепоте, может пережить неизлечимую или почти неисцелимую душевную судорогу, если у него не будет необходимой и драгоценной духовной опоры. Поэтому педагогически так важно, чтобы духовность инстинкта была пробуждена до этих неизбежных потрясений и ранений.

И вот воспитатель (мать или отец) имеет великую и ответственную задачу пробудить детскую душу при первой возможности лучом божественной благости и красоты, любви и радости, чтобы она очнулась из своих забвенных сумерек, от чувственного наслажденчества и пережила благостное пробуждение. Ласковый взор и голос матери уже начинают это дело. В глубине инстинкта должно открыться духовное око, чтобы, трепеща от счастья, воспринять Божий луч, идущий к нему из мира, и влюбиться в его сияние: — чтобы душа раз навсегда поверила в благую силу мироздания и восхотела новой красоты, новой радости и новой гармонии; — чтобы она полюбила Божественное и уверовала в Бога. Ребенка надо приобщить к божественному счастью на земле — как можно раньше; — тогда, когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира; когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни суровости природы;

когда он полон естественной доверчивости и богат первозданной чистотой.

В мире есть чудесные сочетания красок — естественно-гармоничные, для вкуса безупречные, нежные и разнообразно богатые; надо показать их ребенку и радовать его ими. В мире есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие когда-то Леонардо, венецианцев и Рембрандта; надо, чтобы веяние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть простые и нежные мелодии, — их так много в русских народных песнях, колыбельных, свадебных и хороводных, — которые ребенок должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая их своему младенцу, начинает его истинное воспитание: это дух ее инстинкта обращается к духовности его инстинкта, рассказывая ему о возможности любви и счастья на земле. Какие чудесные колыбельные были пробуждены этим пением в младенческой душе и потом возвращены миру в композициях великих музыкантов! Душа засыпающего ребенка пела эти песни вместе с матерью и воспринимала сквозь них первозданное пение ангелов (Лермонтов); и потом унесла их в жизнь, как благословение материнской любви. Простой народ верит, что бывают люди с «злым глазом», которые могут «сглазить» ребенка, повредив ему душевно, духовно и телесно. В этом поверии кроется доля живой природной мудрости. В самом деле, бывают человеческие глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетически перенапряженные и гипнотически сосредоточенные: они действительно в состоянии психически ранить впечатлительную, доверчивую и ничем не защищенную детскую душу. Заряд злобы бывает у таких людей слишком велик; внушающая сила слишком действительна; младенческая душа слишком обнажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не обороноспособна. Поэтому правы те матери, которые ограждают своих детей от таких противодуховных, душевно ранящих и разлагающих взоров; ибо злоба людская на самом деле гораздо более распространена и могущественна, чем думали доселе духовно неопытные люди.

Но если ребенку минуло три года, если он начал наблюдать внешний мир и чувствилище его открылось для новых восприятий и переживаний, то надо дать ему целое богатство духовных впечатлений. Надо направить его внимание на самые красивые и изящные явления природы и на их таинственную целесообразность. Рано еще затруднять его «объяснениями»; достаточно, чтобы он заметил совершенство, скрытое и явленное в мире. Пусть залюбуется красотою бабочек и цветов, их нежными тонами, их изысканной, но хрупкой формой; пусть всматривается в величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрелище облаков; пусть вслушивается то в рокот соловья, то в ликование иволги, то в ласковые переливы жаворонка; пусть полюбит молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест березы, ропот дуба; пусть всмотрится в добродушную задумчивость коровы и научится ласково говорить с ней; пусть оценит своевольный ум коня, лукавое изящество кошки, верный взгляд собаки и ночной клич петуха. Пусть почует тайну природной жизни:

дивную судьбу зерна, величие грозы, красоту инея, строгость мороза и ликование весны. И пусть понесет в сердце благоговение, чуткость и благодарность.

Ребенок должен как можно раньше почуять реальность чужого страдания и научиться вчувствоваться в него, чтобы жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную помощь. Необходимо найти прямой и близкий путь к его сердцу и научить его хотеть добра и стыдиться зла. Пусть навертываются у него слезы на глазах от русской жалующейся песни; пусть он научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. После пяти-шести лет он должен услышать о героях своей страны и влюбиться в них; он должен научиться «стоять» вместе с ними, бороться, побеждать и не искать награды. Надо, чтобы он научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, и вместе с Гоголем — радостно дивиться на гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скромно, но уверенно гордиться своей русскостью, тем лучше.

Ребенку необходим поток мужественной и братски-товарищеской любви от отца и женственно-ласковой, религиозно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений; но в сердце его должна навсегда расцвести почтительная и нежная благодарность к родителям, пробудившим его сердце и укрепившим его духовность. Он должен открыть свое сознание голосу совести и научиться внимать его бессловесным призывам к совершенству; и, что важнее всего, он должен несколько раз по собственному почину отдаться этому голосу и осуществить в жизни его требования, чтобы познать совесть не только через угрызения за грех, но через творческое осуществление ее зова.

И после каждого духовного пробуждения, восприятия, потрясения и свершения надо говорить ему о том, что есть благостный Господь, знающий его и любящий его; так, чтобы ему самому захотелось молиться; и тогда научить его лучшим и кратчайшим молитвенным словам и несколько раз помолиться при нем и с ним вместе — огнем своего взрослого сердца. Потом надо показать его сердцу — Христа, Сына Божия. И сердце его узнает Его — само, безошибочно и навсегда.

Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духовность и «ангел» входит в сокровенную глубину его сердца. И что особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия не превращались в скучные уроки, набивающие голову и принудительные для инстинкта; напротив, надо, чтобы из каждого такого переживания инстинкт извлекал свою сущую, искреннюю радость. Инстинкт должен радоваться духовному совершенству, — встречать его умилением, благодарностью, любовью. Пусть «волк» инстинкта воззрится на духовного «ангела», и встретится с Его взором, и узнает в Нем свое собственное высшее и лучшее естество; и восчувствует к нему доверие и благодарность, и привяжется к нему любовью и верностью: ибо «ангел» взирает кротко и благостно, и «волк» должен получить от него этой благости и кротости. Тогда они найдут друг друга и соединятся

на всю жизнь. «Волк» предоставит в распоряжение «ангела» всю свою инстинктивную силу. Он будет нести радостно свое служение, и глаза его не будут сверкать злобой. А «ангел» не будет горестно и беспомощно плакать о погибшем человеке.

Киплинг рассказывает, что когда животные в Индии ищут друг у друга помощи, то они приветствуют друг друга кличем «мы с тобою одной крови»; и это заклинание всегда оказывается действительным и отказа в помощи не бывает: ибо звери и птицы признают высшее, объединяющее их кровное родство. И вот подрастающий ребенок должен пережить дважды соответствующее духовное сродство. Сначала — до встреч «волка» с «ангелом»: «ангел, я твой преданный волк!»; «волк мой, а я — твое собственное духовное естество»... А потом — в обращении к Богу: «Я есмь искра Твоя, о священное Пламя мира»; или по-христиански: «Отче, я Твой верный и благодарный сын»... Тогда человек утвердит себя в духовности и станет религиозно цельным.

Это и есть важнейший акт воспитания. Ибо «воспитать» значит сделать из ребенка не преуспевающего человекоугодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нем как можно раньше духовный «уголь»: чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте. Это откроет ему путь вверх и даст ему духовную свободу. И тогда может однажды настать тот прекрасный день, когда им действительно овладеет сверхличное пламя духа и он явится людям как Божие орудие — как светящий и призывающий факел своего народа.

Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Напротив, дух есть высшее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но органически-целесообразная сила самого духа. Раздвоение их, а тем более противоборство — болезненно, опасно и совсем не соответствует великому замыслу Божию. Дух человека совсем не призван к тому, чтобы оставаться мертвой возможностью или же отвлеченным, неосуществляющимся долженствованием: безжизненным законом над бездной греха. Дух человека призван к живому творчеству; он должен будить, побуждать и вести человеческий инстинкт, в том смысле, как выразился однажды римский оратор Квинтилиан: «instinctus divino spiritu» — «побуждаемый божественным Духом»... (Слово «инстинкт» происходит от латинского глагола «instinguere», что значит «побуждать», «возбуждать», «двигать».)

Инстинкт же не должен предаваться своим разнузданным влечениям. Он призван нести бремя мира и служить осуществлению божественной ткани в пределах мироздания. Он должен принять эту задачу свободно и творить с радостным усердием. Ибо человеческий дух есть дух инстинкта; а человеческий инстинкт есть инстинкт духа.

И может быть, близится счастливое время, когда люди поймут этот закон, примут эту истину и пойдут по этому пути. От этого зависит все будущее нашей культуры.

5. СПАСЕНИЕ В ЦЕЛЬНОСТИ

Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Он остается несчастным и тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое желание его исполняется. То, что ему удается, не радует его и не дает ему удовлетворения, ибо одна часть его существа не участвует в этом удовлетворении. Исполнение его желаний тоже не дает ему радости, потому что он и в самом желании своем остается расколотым и не способным к цельной радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, потому что он внутренно несчастлив от своего распада. Никакой жизненный успех не дарует ему ни наслаждения, ни успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, чтобы быть счастливым. Этот внутренний орган называется гармонией, согласованной тотальностью (т.е. целокупностью) влечений и способностей, единением инстинкта и духа, согласием между верой и знанием.

Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не знает счастья. Его ждет вечное разочарование и томление. Он обречен на вечную и притом безнадежную погоню за новыми удовольствиями; и везде ему предстоит неудовлетворенность и дурное расположение духа. Добиваясь и не получая, требуя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного, но приятного раздражения, и всякое «обещание» обманывает его. Он начинает измышлять неслыханные возможности; он утрачивает вкус, искажает искусство, извращает чувственную любовь; и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, перерыть все углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себе новое наслажденьице или, по крайней мере, раздраженьице и испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя помочь; ему трудно помешать; он должен выпить до дна чашу своей немощи и своих заблуждений, что ныне и происходит в мире... В том виде, который ему внутренно присущ, он не найдет разрешения, цельной и успокаивающей радости; и никогда не постигнет, что такое блаженство. Тот, кто обречен на частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в сумерках уныния: его не обрадует никакая радость, и солнце не даст ему своих лучей.

Было бы великой ошибкой толковать это вечное недовольство как знак более утонченной и благородной натуры, которая не может удовольствоваться банальными жизненными путями и обычными, «земными» удовольствиями. Внутренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецельность совсем не есть какое-то «высшее достижение», перед которым надо только преклоняться и которому надо подражать; напротив, это есть болезнь духа, которую необходимо преодолеть, от которой надо исцелиться. Хотя психологически нетрудно понять, что такие расщепленные и, в сущности, духовно больные люди любят воображать и изображать себя как неких «сверхчеловеков»... Нам нисколько не импонирует, когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным самочувствием, как если бы их меланхолия или ипохондрия превращала их в каких-то «полу-

богов». Напрасно было бы преклоняться перед Фаустом как перед сверхчеловеком только потому, что Гете сообщает о «живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой», и потому, что он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями. Люди восемнадцатого и девятнадцатого века имели мужество осознать и громко выговорить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это мужество внушило им самоуверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться; и в результате внутренний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверхчеловека и новой эпохи. Разногласие между верою и рассудком существовало в Европе уже давно. Но в дальнейшем постепенно сложилась апология разложения и распада, неприкрытое восстание против Бога и всего Божественного, систематическое опустошение жизни от всякой святыни и категорический разрыв с христианством. В конце концов этот разрыв с христианством был выражен у Ницше тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и нашел себе практическое осуществление и завершение в событиях последних десятилетий (1917—1953).

Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности. Если истина вступила в его сознание, то его чувство молчит и не отзывается на нее, и он отвертывается от нее, объявляя ее «неочевидным содержанием сознания», каковых в жизни имеется многое множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием и не способен принять приобретенное им богатство. Увидев Свет, он знает, что это «свет», но он не созерцает радостную светлость этого света и остается к нему безразличным. Так он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой; и, чтобы закрепить эту иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек вообще не способен к достоверному знанию (агностицизм) и обречен на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и признавать «релятивно» (релятивизм). Отсюда возникает систематически воспитываемое и поддерживаемое малокровие познания, принципиальное «ни да — ни нет», т.е. бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек оказывается духовно обессиленным человеком. Он не способен иметь убеждения. В вопросах, требующих исповедания, он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслабленный человек.

И таким он является во всех областях духовной культуры. Так, например, проблему добра и зла он подменяет вопросом об относительно полезном и сравнительно вредном (утилитаризм) и решает этот вопрос в зависимости от случайных, рассудочных соображений. А в глубине души он считает, что «умные люди» вообще не занимаются этим пустым и компрометирующим вопросом — о зле и добре.

Если ему приходится говорить об отечестве и патриотизме, о правовой свободе, о справедливости, то он и здесь становится на

NB *И.Ильин много размышляет о судьбе культуры в XX веке, лишенной Бога. Мы все помним формулу, выраженную Ф.Ницше: «Бог умер». Конечно, можно с раздражением отмечать раскол, произошедший в культуре, направленность модернизма «на успех и признание». Но все же важно попытаться понять, почему культура XX века отмечает кризис, распад многих ценностей, накопленных предыдущими эпохами. XX век — век мировых войн, социальных и экологических катаклизмов. Кардинально изменилось отношение к ценности человеческой жизни. Все это не могло не найти отражения в искусстве. Само историческое время вызвало к жизни искаженную, деформированную форму, в которой воплотился новый смысл, выражающий неприятие многих явлений в жизни. Образ теряет реалистическую форму, но приобретает все более символический смысл. Вместе с тем мы наблюдаем на протяжении нескольких десятилетий очевидное сосуществование разных стилей в искусстве, позволяющее выражать отношение к миру художников разных философских взглядов, изменяющееся под влиянием социальных и экологических потрясений. Для педагогики здесь важнее всего суметь показать детям, что самое авангардное искусство имеет такую же природу, что и искусство класси-*

«умную» точку зрения релятивизма, и притом потому, что его патриотизм и его правосознание настолько же расколоты, нецельны, неискренни и ослаблены, как и его очевидность.

Религии он вообще не имеет, религиозность его мертва, потому что вера требует от человека целостной очевидности сердца и не удовлетворяется никакими частичными компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью; все, что он может найти в себе для религии, — это «вежливое невмешательство в чужие воззрения», но за этой «вежливостью» на самом деле скрывается презрение к обскурантам, и это «невмешательство» может в любой момент превратиться в агрессивную «борьбу с предрассудками, суевериями и клерикализмом».

Единственная область духовной культуры, которую он готов поощрять, это искусство, особенно если оно забывает о своем великом служении и стремится угождать его капризам. Но тогда оно должно отречься от своих здоровых и глубоко укорененных традиций, требующих целостного созерцания и вдохновения, — и вступить на путь частичных, условных и относительных замыслов: искусство должно заняться своим чувственным нарядом и как можно заманчивее, как можно эффектнее разукрасить его; оно должно предаться опьяняющему «импрессионизму», или дико-невиданному «футуризму», или вымученному, острому и пряному «модернизму»; чтобы получить успех и признание, оно должно стать наружно-внешним, притязательным, экстравагантным, оно должно вызывать у пресыщенной и безразлично-сонной публики нервную щекотку...

Все это создает выродившуюся культуру, и в основе этой выродившейся культуры лежит выродившаяся жизнь, душа расколотая, духовно-бессильная, малокровная и нервно-растрепанная,

ческое, важно суметь передать корневую связь разных искусств в исторической проекции и их роль в жизни человека. Конечно, наш мир, в котором образовательные структуры больше озабочены введением большего времени на изучение предмета «Охрана безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), а не на освоение предмета «Мировая художественная культура» (МХК), нельзя назвать абсолютно здоровым. Но тем более важно найти способ освоения художественной культуры как носителя вечных духовных ценностей, в какой бы образной форме эти ценности ни проявлялись.

беспочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которые он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так охотно предается под именем «настроения». Если ему удается держать кое-как равновесие между тем и другим, то его существование становится выносимым; если это ему не удается, то он становится жертвой ипохондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, что начать, и главной целью его становится обогащение; все иное, высшее — недоступно ему, ибо более глубокие источники и настоящие святыни жизни не существуют для него. Отсюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным «цивилизованным», но культурно и духовно опустошенным человеком.

Если он любит, то он всегда не уверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем, одностороння и частична. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы — случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови...

(«Дума»)

Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным и подозрительным призраком смотрит «нет»; но если он отрекается и говорит «нет», то и отречение его столь же условно, относительно, срочно, не окончательно и недостоверно. Его слова следует воспринимать как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении он может сказать и поступить «так», но может — и совсем иначе, ибо слова и решения его духовно беспочвенны и высшей необходимости в жизни он не знает; да и связывать себя — ему нет охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера: единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни.

Зрелый духовный характер подобен укрепленному городу, в центре которого находится кремль: здесь построен храм Божий, с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и есть священный

центр города, откуда заимствуют свой огонь все семейные очаги «огнищан». Здесь все соединяется и все объединяются; отсюда исходят все важные решения: отсюда излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая; здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается верность, отсюда светит разум.

Расколотый человек совсем не может себе и представить такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутреннее несогласованное «многосмешение», в котором протекает его жизнь, — эта собственная дисгармония, эта ничем-несвязанность, этот капризный произвол, — и он объявляет эту душевно-духовную смуту «высшей дифференциацией духа»... В нем сосуществуют рядом несколько «центров»; он ни одному из них не обещает верности и воображает поэтому, будто он выше всякой измены и всякого предательства. Как только один из этих «полуцентров» (или, вернее, одна из этих «точек зрения») оказывается неудобным или неудовлетворительным, так он «переезжает в другую квартиру» и опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему готовый, ни во что не верующий, ничего не любящий, скорый и легкий в предательстве и всегда самодовольный. И при всем том он совсем не понимает ни своего действительного состояния, ни своей великой беды; и если бы кто-нибудь стал объяснять ему его недуг, он не захотел бы ни слушать, ни верить, а если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился бы, чтобы не увидеть правду.

Этот раскол в современном человеке был с самого начала чреват грядущим разложением. Он возник в ту эпоху, когда европеец отверг авторитарную религию и предался свободному исследованию и свободной мысли. Свободное исследование было бы вполне соединимо и согласуемо с христианской религией, — путь, на который указал Василий Великий в своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было дано и указано от Бога воспринимать божественное откровение не только из Священного писания и не только из личного духовного делания — из любви, из совести, из молитвы и из культурного творчества, — но еще и из созерцания богосозданной природы и твари, в сокровенном существе которой заложен великий замысел ее Творца. Однако исторически развитие пошло иным путем. Начался процесс секуляризации: — католическая церковь не питала доверия к свободно исследующему человеку и стремилась ограничить или совсем подавить эту опасную свободу; а исследователи стали испытывать церковную опеку как неудобоносимое бремя. И вот люди обратились к природе с напряженным любопытством и с естественной любознательностью, но отвернулись от церковного христианства; а раз отвернувшись от христианства, они отвергли и его дары, — и прежде всего христианскую любовь и сердечное созерцание. Так, созерцание было заменено наблюдением, а наблюдение стало светским, близоруким и самодовольным; оно велось с величайшим усердием и подъемом, но в обращении к чувственному миру оно стало уходить все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобождалось все больше от религиозных предпосылок, при-

знавая их «эмпирически ненужными гипотезами» или даже прямыми помехами, и поставило себе задачу — все понять и все объяснить без Бога. Наблюдающее изучение природы не нуждалось уже в понятии «Бога» как объясняющей гипотезе и признало наконец, что его «объяснения» оказываются тем более удачными и успешными, чем последовательнее оно отказывается от идеи Божественного вообще. И только философы пытались еще говорить о Боге; однако и у них эти высказывания становились все более неопределенными и скудными, ибо рационализм все повышал свои запреты и все строже требовал «последовательности», постепенно превращая идею Бога то в идею «субстанции вообще», то в идею «духа» вообще, избегая касаться вопроса об «абсолютном» и впадая в скудоумный релятивизм.

Так сердечное созерцание христианства и боголюбивый и боговзыскующий созерцательный разум превратились постепенно в отвлеченный рассудок, в сухое, наблюдающее и анализирующее мышление, в «индукцию», оторванную от созерцания сердца и вчувствования. Этот метод вытачивался сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир; и последовательное применение его не могло не повести к оскудению и опустошению знания. Внешние связи чувственного мира успешно устанавливались и оказывались практически полезными; самодовольное наблюдение оправдывалось с точки зрения техники, получавшей все большую самостоятельность в отрыве от истинного и глубокого познания. Но внутренние реальности духа и утонченная «ткань» человеческой души упускались из виду в отвлеченно-холодном трактовании, столь характерном для механистического мировоззрения. Расколотый человек вырабатывал раскалывающую доктрину, неспособную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разумности, и растеривал последние остатки своей духовности в бессердечном и поверхностном «самонаблюдении»... Его собственное естество сводилось постепенно к анализирующему рассудку, к беспочвенной и развязанной воле и бездуховному инстинкту самосохранения. Все иное иронически отвергалось: и «суеверная» вера, и творческое созерцание с его «беспочвенной фантастикой», и только иногда там и сям можно было подметить ложный стыд, когда заглохшее и осмеянное сердце давало знать о себе.

Таков современный культурный кризис. Это кризис нецельного духа, расколотого, расщепленного человека. Чем раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, чем отчетливее и строже это будет формулировано, принято во внимание и продумано до последних выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоединиться в своем собственном существе. Он должен собрать распавшиеся части и члены своего естества и спрыснуть их «живой водой» исцеления, наподобие того, как это описывается в русской народной сказке. Но здесь воссоединится не тело человека, а его дух — и для этого исцеления он должен выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа.

Человеческий ум должен найти путь к вере, — не к суеверию, запугивающему нас, и не к пустоверию, проявляющему нашу глупость, — а к созерцательной вере, разумной и светлой, к вере «достаточного основания». Человек должен победить в себе ложный стыд и не стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться с творческим, предметным воображением и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Аутистическая фантазия должна пройти через школу предметной интенции и духовной ответственности. Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести... Тогда рассудок научится взирать и видеть и станет разумом, а созерцающий разум станет повиноваться сердцу, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца. Ибо сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль суть три великие силы нашего будущего, которые справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для бессердечной свободы, так и для противосердечного тоталитаризма Для разрешения их нужен цельный, целостный, исцеленный человек, заповеданный нам Евангелием.

И тот, кто взглянет вдаль духовно-отверстым оком и воззовет к нашему будущему с надеждою, тот прочтет над тесными вратами нашего будущего простой и мудрый призыв: «Ищи исцеления!»

Часть вторая
7. О ТВОРЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Вот кто с полным правом требует себе свободы, притязает на нее и добивается ее. Она должна быть ему предоставлена и обеспечена, чтобы никто не смел ему ничего предписывать и чтобы никакая человеческая власть на земле не запрещала ему творить, как ему Бог на душу положит... Никакое внешнее указание не должно ограничивать его духовное созерцание; ему не следует говорить «твори так» и «не создавай того-то». Ибо всякая предварительная цензура мешает его творчеству и всякое предписание пресекает его вдохновение. Если только он достаточно проникнут чувством ответственности, то всякое постороннее вмешательство излишне. Ибо творчески облагодатствованный человек предстоит высшей власти в высшем измерении; он от нее получает свое направление и ей повинуется, и потому ему должна быть предоставлена свобода творческого усмотрения. Это не есть свобода злодейства или преступления. Это не есть и разнуздание ко вседозволенности. Это не есть и право на разврат, на пошлость и на безвкусие. Но это есть право на свободную творческую молитву; это есть свобода совестного и ответственного Богохваления...

Для таких людей надо делать все, чтобы расширить им их земные возможности и облегчить им процесс их творчества. Если такому человеку необходим творческий покой, то надо ему обеспечить тишину и беззаботность. Если ему нужна эта мраморная глыба, чтобы создать из нее «Давида» Микель-Анджело, то надо позаботиться о доставлении этого мрамора в его мастерскую. Если он мечтает о

новой, невиданной скрипке, которая будет петь ангельскими голосами, то надо помочь ему в осуществлении этой мечты. Если ему нужен в его лаборатории новый аппарат для регистрации человеческой ауры, то нужно сделать все возможное, чтобы исполнить его желание. Его общение с внешним миром — с природой или с людьми — должно быть по возможности облегчено ему. Надо избавить его от нужды. Надо оградить его от грубых, пошлых, навязчивых людей. Нельзя допускать, чтобы он, подобно Леонардо да Винчи, всю жизнь подыскивал себе прозаический или вульгарный заработок помимо своего вдохновенного призвания. Он не должен терпеть всю жизнь нужду и биться с долгами подобно Рембрандту, Бетховену, Гоголю и Достоевскому. Нельзя мириться с тем, что его, подобно Шопену, преждевременно сведут в могилу бедность и голод. Непозволительно оставлять его беззащитным в тот опасный час, когда какой-нибудь порочный и злой авантюрист, наподобие Дантеса или Мартынова, покусится на него, как на Пушкина и Лермонтова, чтобы убить его на поединке. Напротив, его жизненный путь должен быть огражден и сглажен, чтобы он мог свободно предаваться своему вдохновению, создавая свои лучшие произведения и выговаривая свои видения для вечности. Ибо в таком человеке поистине струится Божий поток, а к его словам и песням прислушиваются ангелы.

Аристотель сказал однажды, что человек «свободен от природы» тогда, если он способен иметь свои мысли, а не только воспринимать чужие; если же он свободен от природы и вынашивает свои собственные мысли, то он нуждается в «досуге», чтобы вынашивать эти творческие идеи. Понятно, что здесь дело идет не о простых и кое-каких мыслях, но об идеях и концепциях, которые воспринимаются духовным оком и духовным слухом из самой сущности мироздания.

«Досуг» рабочего человека отводится ничегонеделанию, развлечениям и наслаждениям, спорту или дремоте. Досуг творческого человека посвящается сосредоточенному созерцанию, напряженному труду, истинному созиданию, — подчас великой муке, иногда сплошному блаженству. Предаваясь своему «досугу», творческий человек отводит все несущественное, механическое и случайное, чтобы жить только существенным, органическим и необходимым. Он живет не рассеянно, не развлеченно, а сосредоточенно. Он освобождает себя от всех субъективных капризов и произволений. Он погружает свой взор во «внутреннее», в глубину; но не просто в пространства своих субъективных переживаний, воспоминаний и фантазий, но в сферу предметного бытия, чтобы воспринять его сущность, чтобы удержать ее и выразить ее в верной и точной форме. Именно поэтому окружающим его людям кажется, что он «отсутствует» и не видит ближайшего; но это означает только, что он присутствует где-то в иных «местах». Они считают его нередко «мечтателем» или «фантазером» и причисляют его к «грезящим поэтам»...

Лишь немногие, причастные духовному опыту, знают, что он переживает и что в нем происходит, зачем ему нужна свобода и чем он

заполняет свой досуг. Ибо на самом деле его внешнее освобождение и его кажущаяся «рассеянность» служат некой внутренней связующей необходимости, и его драгоценные досуги, которые Пушкин любил обозначать словом «лень», заполнены напряженным созерцанием или духовным вслушиванием. Он, свободный, связан, как никто другой, и его свобода служит ему для того, чтобы постигать эти внутренние необходимости и следовать их требованиям. Он совсем не волен выдумывать что угодно; ему не предоставляется произвольно изобретать или «построять» по собственному усмотрению. Он должен внимать — «созерцать» и «вслушиваться». Он призван «погружаться» в предмет до тех пор, пока этот предмет не овладеет им. Тогда он почувствует себя в его власти, или, познавательно говоря, он почувствует, что видит предмет с силою очевидности. В этом состоянии он должен пребывать до тех пор, пока предмет не захочет говорить через него, а сам он не почувствует себя готовым стать «орудием» своего предмета, как бы зажить его «пульсом» и «дыханием». Тогда он получит право и основание выразить пережитое содержание — излить его в форме сонета, романа, сонаты, статуи, картины, исследования, философского «описания», богословского трактата, проповеди, нового закона или зрелого совестного поступка. И тогда его произведение возникнет через него, а не только из него. Тогда он окажется как бы «цевницей» своего предмета, его посредником и возвестителем. Может быть, даже кто-нибудь услышит в нем арфу Божию.

То, что он воспринимает и созерцает, есть объективная, предметная сущность бытия, к которому человек должен проникнуть, — каждый человек, каждый из нас; ибо каждый из нас призван жить на земле из самой субстанции и ради нее, из главного и для главного, а не пылить, задыхаясь от собственной пыли. В самом деле, наша земная жизнь состоит из двух элементов: из несущегося потоком, неисчерпаемого хаоса случайной пыли и из сокровенно сияющей и тихо призывающей субстанциальной ткани. Смысл жизни состоит в том, чтобы мы преодолевали эту хаотическую пыль случайных единичностей и проникали к субстанциальной ткани, чтобы закрепиться в ней. Каждый из нас начинает свой жизненный путь как бы в ночи, окруженный неудобопроглядной темнотою: вокруг жуткая неизвестность, и только там и сям через мрак сверкают и призывают далекие звезды. И каждый из нас призван к тому, чтобы всмотреться и вчувствоваться в тот единый и единственный источник света, от которого эти звезды заимствуют свое сияние. И может быть, слишком многие из нас всю жизнь блуждают в этой темноте и выходят к единому Свету лишь после своей земной смерти...

Беспомощны мы, люди, в этих земных сумерках, то и дело сгущающихся в полную темноту. А многие, может быть, совсем и не знают о том, что они беспомощны и что им нужна помощь: их лишенность не осознана ими, они не ищут и не добиваются высшего. А между тем творческие люди могли бы им помочь. Мало того, они должны все время помогать, не спрашивая о том, есть ли зовущие

на помощь, и кто они, и где они. Они призваны созерцать, вынашивать и отдавать; они должны готовить свои дары и отдавать, рассылать во все стороны свои лучи, — незваные, непрошеные, нередко отвергаемые или изгоняемые, может быть, даже побиваемые каменьями. Первый луч всегда беспокоит освещенного, второй — раздражает его, третий оскорбляет; и нередко лишь четвертый пробуждает, и тогда уже следующие лучи согревают и исцеляют. А тот, кто был побит камнями, — светит, греет и исцеляет даже и посмертно.

Надо будить в людях потребность в чистом воздухе Божиих пространств; надо, чтобы людям становилось душно, тоскливо и горько в пыли их земной жизни, в бессмысленном хаосе их чисто субъективных мелочей. Надо будить в людях волю к священной предметности, к божественным лучам, к духовной радости. Эту потребность надо будить в них как можно раньше, чтобы они не проспали всю свою жизнь в слепоте и темноте. Благородные натуры живут этой волей всю свою жизнь; она подобна в них естественной жажде, которая утоляется только творческим созерцанием. Личный успех в жизни не удовлетворяет их; их «своекорыстие», названное у Аристотеля духовным эгоизмом, ищет сверхличного, высшего, духовного, предметного. Они всю жизнь ищут того пути, который уверенно ведет и приведет их к субстанции, — во всем и везде; в вере, в науке, в искусстве, в политике, в личных отношениях с людьми, в службе и в воспитании. Они ищут пути («метода») и находят его; а кто нашел, тот может помогать и призван будить: знает он об этом или не знает — он призванный воспитатель своего народа.

Ему, конечно, поставят вопрос: откуда он знает, что он действительно нашел путь, что он созерцает «предмет» и видит его верно, что он «укоренился» именно в субстанции, а не в своей личной выдумке. Отвечать на этот вопрос каждый творческий человек должен своими созданиями и своей личной жизнью: ибо настоящая предметность свидетельствует сама за себя, и свет, идущий из субстанции, из Божественной ткани мира, светит благодатно и убедительно. Но он может ответить и словесно, дать описания и доказательства, ясно и точно повествуя о своем пути и о том, чему и как он научился. Это делали уже многие и великие, и меньшие люди, начиная с Конфуция, Лао-цзы и Будды — и вплоть до наших дней. Каждый сделает это по-своему, в меру своего дара и искусства. Но если сравнить между собою эти описания и советы, то всякий из нас невольно изумится их существенному сродству.

Однако есть еще один особый признак, по которому можно проверить свою предметность и распознать чужую. Это та своеобразная новая связь жизненных содержаний, та внутренняя необходимость, которая обнаруживается в узренном и пережитом, слагаясь в единое целое. Творческий человек, открывший эту связь и выразивший эту необходимость, знает хорошо, что не он создал это новое здание, что он не изобрел его, а только нашел, как уже объективно обстоящее, он изумлялся, найдя его, и всю жизнь радовался своему «открытию». И потому в нем живет ощущение, что он не «творил», а

только «воспроизводил», созерцая и описывая свой предмет. В нем остается чувство, что искомое и найденное было древне, исконно, может быть, вечно; и что то, что он увидел и выразил, было лишь вновь найдено и является ныне лишь в новом облачении. Это есть то самое ощущение, которое привело Платона (в диалоге «Менон») к признанию мира идей и которое с тех пор называется по его имени «платоновским созерцанием». Но тот, кто внимательно читает великую книгу человеческого духа, тот найдет это ощущение «вновь узренного древнего обстояния» почти у каждого из великих поэтов, исследователей и философов. В русской литературе это выразил с особенной силой и точностью Алексей Константинович Толстой:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку...
...Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный...

А мы, которым позволено приблизиться к этим созданиям, истинам и деяниям, воспринять их и возрадоваться о них, — мы нередко приобщаемся этому ощущению «обновленной древности», или «древнего в новом облачении», или «возродившегося Вечного» и подтверждаем его. Нами овладевает тихое и глубокое чувство «древлепочтенного», «стародавней мудрости», «прекрасной необходимости», «Бого-созданной сопринадлежности», «блаженного тако-бытия». Тогда мы от полноты души, и духа, и сердца, и инстинктивного чутья произносим этому новооткрытому и очевидному предметному содержанию наше приемлющее «да» — и чувство счастья овладевает нами, счастья оттого, что нам дано было увидеть это и подтвердить.

Образно выражаясь, можно было бы описать это так. Когда Божии творческие идеи ниспадают из Его вечного лона в хаос грешного и неустроенного мира, то их подхватывает бурный ток смятения, искажает их совершенство и растерзывает их дивный состав. Отсюда возникает высокое задание: узреть каждую из этих идей в ее полном и целостном составе и восстановить ее в ее зрело-совершенном виде. Египетская мифология рассказывает, что когда-то Изида искала по всему свету те четырнадцать частей, на которые было растерзано тело ее супруга Озириса; и вот, находя и составляя их, она не создавала его тела, но лишь восстанавливала его в его первозданной красоте. Поэтому каждого творческого человека можно сравнить с ищущей Изидой: он не создает, а лишь воссоздает Божию идею и радуется возможности помыслить Божий замысел, верно узреть «Закон Божий» и осуществить его. Ему светит целостный облик искомого, его ведет любовь к Божественному; он проверяет себя той высшею необходимостью, которая открывается ему в духе; он наслаждается воссозданием Вечного, он радуется, чуя отблеск Божией благодати в своем создании.

И именно поэтому творческий человек знает лучше всех, что он создает, воспроизводя Божию идею; и потому он непрестанно и напряженно подъемлет свой взор к Богу.

9. О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕРШЕНСТВЕ

Искусство наших дней, именуемое «модернистическим», заблудилось среди дорог и ушло в беспутство; в этом и сейчас уже согласны все истинные друзья художества, не порвавшие со здоровым, сразу духовным и естественным вкусом. Об этом знают особенно серьезные и великие художники нашей эпохи. Они знают, что далекое и прекрасное будущее принадлежит не модернизму, этому выродившемуся мнимо-искусству, созданному, восхваленному и распространяемому беспочвенными людьми, лишенными духа и забывшими Бога. После великого блуждания, после тяжелых мучений и лишений человек опомнится, выздоровеет и обратится снова к настоящему, органическому и глубокому искусству, и так легко понять, что и ныне уже глубокие и чуткие натуры предчувствуют это грядущее искусство, призывают его и предвидят его торжество.

Кто попытается представить себе это грядущее искусство, тот должен прежде всего отказаться от идеи «неслыханного», «невиданного» новаторства, ломающего переворота, опрокидывающего «открытия». Вся эта погоня за новшеством, за небывалым, за «потрясающим» или «головокружительным» — есть проявление духовной смуты, порождение бессильного тщеславия у автора и у скучающих, ищущих «возбуждения» снобов в публике. Будущее, конечно, принесет нам новое искусство; но это «новое» возникнет из обновленного духа и из глубоко-чувствующего сердца, т.е. из тех слоев души, которые всегда задумывали и вынашивали всякое истинное произведение художества. Подлинная духовная глубина имеет свои особые законы, не поддающиеся субъективному произволу и не заменимые никакими нарочитыми изобретениями или выдуманными «конструкциями». Новое искусство принесет нам новые духовные содержания, а не новые бессодержательности, не новые пустоты и не новые пошлости. Оно создаст новые формы, а не новые бесформенности, не новые разнуздания, не новые хаосы. Оно разрешит себе «многое», но ничего такого, что выходит за пределы духовной необходимости, ибо здесь лежит критерий дозволенного, мира допустимого: в искусстве верно и художественно только необходимое.

Грядущее искусство будет опять укорененным, почвенным, органическим. Это совсем не обещает школьную придирчивость, педантство, тяжелую походку, строгое выражение лица, скучные поучения, обязательные трафареты...

Нет, это указывает на совсем иное измерение. Здесь имеется в виду не цензура содержаний и не предписанные формы, но творческий источник, творческий замысел и творческий акт.

Пока искусство движется по здоровым творческим путям, — его содержания не нуждаются в цензуре, потому что оно само собою,

внутренне и изнутри осуществляет строжайшую и убедительнейшую цензуру, драгоценную и художественную: это цензура предметной необходимости, которая в дальнейшем должна быть проверена и укреплена художественной критикой. Что же касается формы искусства, то ее вообще не следует предписывать: она совсем не должна следовать каким бы то ни было внешним требованиям, — ни публичному спросу на базаре, ни прямым указаниям политической диктатуры; исключение может быть только одно: если такое требование совпадает с внутренним голосом художника, но и тогда художник пойдет за своим внутренним голосом, а не за посторонним желанием «заказчика». Поэтому мы имеем полное основание ожидать от грядущего русского искусства новых, т.е. первоначально-подлинных, духовных содержаний, и новых, т.е. предметно-оригинальных, форм; это будут новые образы, выговоренные на «языке» первоначальной подлинности и с силою впервые рожденной формы, — в общем потоке насущного духовного питания и благодатной радости...

Это новое искусство возникнет из перенесенных русским народом испытаний, лишений и страданий; и совершится это потому, что в русских людях обновятся источники жизни, родники творчества, самый способ жизни и сила художественного созерцания. Россия идет к возрождению здорового художественного акта.

Строение художественного акта по самому существу своему свободно и предоставляется творческой силе самого художника. Здесь ничего нельзя предписывать; здесь нет обязательных рецептов. Но неутомимое и вчувствующееся изучение может установить здесь известные отрицательные границы, несоблюдение коих ведет к вырождению искусства.

Так, художественный акт, — каково бы ни было его строение и в каком бы искусстве художник ни творил, — не может и не должен получать свое направление извне; иначе акт вырождается. Художник не должен следовать моде, она не должна ему импонировать, ибо та духовная, первоначальная глубина, где живут художественные содержания и откуда они восходят к осуществлению, не знает ничего о моде. Художник, будь он портретист или архитектор, не должен принимать от своих заказчиков никакого содержания, разве только если заказывающий обыватель сам выносил такое же художественное созерцание и вступает с художником в братский обмен духовными дарами. Художник должен с самого начала примириться с идеей возможного «неуспеха» или «провала» у публики; он должен быть готов к тому, что он не встретит понимания и справедливой оценки, что творчество его не даст ему ни радости признания, ни прокормления, ни дохода; и приготовившись к такому исходу, он должен спокойно, без робости идти своей дорогой. Искусство не есть промысел, приспособляющийся к внешним условиям, к спросу и заказу; оно есть служение, ориентирующееся по внутренним требованиям, по духовным звездам. И художник, мало зарабатывающий, непонятый и «отвергнутый» современниками, — должен спокойно и достойно идти своей дорогой.

Действительно, ему предстоит важное и высокое служение, которое он несет и совершает на благо всего человечества: ибо он есть свободный и неподкупный провозвестник, показующий людям объективно-значительные и притом для многих сокровенные духовные содержания. В этом его призвание, которому он и посвящает себя; в этом его «должность», которую он свободно возлагает на себя. И это призвание предполагает у него определенные склонности и способности, которые он должен иметь или приобрести. Не каждому дано созерцать сокровенные духовные содержания, развивать и укреплять в себе это созерцание, следовать узренному ответственно и в строгом повиновении, вынашивать задуманное и изображать его в оправданных, необходимых и точных образах. А к этому сводится главное в искусстве. Искусство, которое ничего не знает об этом, а может быть, и не желает знать, — не есть искусство; это есть безответственная игра, баловство или же доходный промысел, а может быть, и то и другое одновременно: автор кощунственно балуется и богатеет (Пикассо). Бороться с такими промышленниками трудно; устранить их из жизни совсем, может быть, даже невозможно. Но если такие затеи начинают вытеснять художество или заменять его, тогда искусство вступает в критический период, в эпоху упадка: оно отрывается от своего призвания и от своего главного назначения.

Настоящий художник отправляет духовное служение. Он совсем не призван развлекать публику, увеселять ее или угождать ей. Он призван созерцать «внутреннее», вслушиваться в него, служить ему и повиноваться, погружаться в него и творить из него, сообщать и возвещать о нем. Торговать и торговаться — не его дело. Он должен как бы заклинать в самом себе «духа земли». Он должен находить то «пространство», где живут духовные содержания, вступать в него и почерпать в нем предметные медитации. Он должен поставить себя в распоряжение Божьего дела, его сокровенной борьбы и его творческих страданий — и приобщиться этой борьбе и этим страданиям через отождествление с ними. Чем ответственнее он совершает при этом свое служение, тем глубже становятся его медитации; чем полнее он отводит и исключает свой собственный произвол, тем более предметными, истинными и художественными оказываются его «прорицания»; чем сосредоточеннее и строже становится его внутренняя дисциплина, тем благоуханнее и «слаще» становится «мед» его искусства.

Но для этого ему нужна вся та внутренняя и внешняя свобода, которая вообще доступна человеку. Ему необходима свобода, чтобы достойно нести свою одинокую ответственность и сполна осуществлять те требования, которые ставит ему художественное творчество. Никакая цензура не может дойти до источников его творчества; и только конгениальный ему критик может сказать ему впоследствии, справился ли он со своею ответственностью. Чтобы разрешить эту задачу, художник должен быть свободным и блюсти свободу в своей «лаборатории», — в созерцании, суждении, выборе, оформлении; а

следовательно, и в линиях, в красках, в звуках и в тональностях, в словах и жестах, превращая их в живые и насыщенные символы «Главно-Сказуемого»... Он должен быть субъективно свободен, чтобы уловить и выразить объективную необходимость; ибо в искусстве есть такая особенная, внутренне постигаемая объективная необходимость, к которой и сводится сущность дела.

Эта особенная необходимость составляет критерий всякого настоящего искусства. Если художник постигнет ее из глубины и осуществит ее целостно, то произведение его получит ту замечательную «убеждающую» силу, ту зрелую законченность, ту власть давать людям удовлетворение и счастье, по которым узнается совершенное искусство.

Каждый настоящий художник носит в себе внутреннее чувство или даже сознательное убеждение, что в процессе творчества ему не все позволено, что многого он просто «не смеет», что выбор темы, отбор «материала» и оформление его не предоставлены на усмотрение его произвола или его тщеславия, что он на все должен иметь духовное право и предметное основание. Вот как однажды Пушкин, негодуя на безвкусную и уродливую «поправку» цензора в его стихе, восклицал в письме к Вяземскому: так «я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать!» Художнику на все необходимо художественное полномочие; он отвечает за все созданное им, хотя нередко он, отвергает, не может обосновать словами свое отвержение, а утверждая, умея только настаивать на верности, предметности и необходимости избранного... Но дело не в словесных доказательствах, а в категорических «показаниях» внутреннего художественного опыта.

Это искание художественной необходимости и духовного права в творчестве составляет самую основу настоящего искусства. Оно, конечно, очень затрудняет работу, но зато приводит ее на настоящий уровень. Этим как бы отрезаются бесчисленные возможности в выборе: они сами отпадают, ибо обнаруживают свою несостоятельность. Наивному новичку, не знающему ничего об ответственности, может, правда, казаться, что он «все может» и «все смеет»: «ему нравится» — «значит хорошо»; он готов принимать всерьез всякую свою выдумку: он воображает, что всякая субъективная «навязчивая идея» создается художественным вдохновением и что все, что доставляет ему удовольствие, — «замечательно». Но настоящий художник знает, что нужно предметное основание и художественное право; что надо повиноваться художественной совести. Он знает, что он «смеет» закреплять только то, что верно и необходимо; он знает, что если нет этого чувства «смею», то это значит, что он «не смеет». Поэтому его свободное творчество связано: оно состоит в том, что он, созерцая и вопрошая, ищет этой художественной связанности, этой духовной необходимости. Он становится только тогда уверенным и спокойным, когда его чувство «так я смею» крепнет и превращается в чувство «именно так я обязан и иначе я не смею...» Дело не в том, что «можно» провести эту линию, наложить эту краску, ввести эту моду-

ляцию, употребить это словесное выражение, но в том, что «только это и нужно», «именно этого и не хватало» и «обойтись без этого невозможно», ибо именно это соответственно и точно. Художественно-Сказуемое — требует именно этого, и требование его должно быть выполнено. Художник не смеет иначе; поэтому он и не желает иначе: поэтому он иначе и не может. Тогда он чувствует себя уверенно; тогда на него нисходит спокойствие. Ибо он создавал не по своему личному произволению, но повиновался внутренней необходимости, которая предъявляла свои требования и которой он радостно повиновался.

Каждый серьезный художник, погружаясь в свои «темы» и «образы», старается уловить в своем внутреннем мире эту предметную необходимость, следовать ей и соблюдать ее. Каждая линия, проводимая им, остается для него «проблематичной», «простой возможностью и не более того», до тех пор, пока он не начнет ощущать ее как нечто «строго соответственное», «точное», «органически-живое», «прочно-врастающее». «Соответственное» чему? «Точно» выражающее какой предмет? «Прочно-врастающее» в какой «живой организм»? На эти вопросы ему, может быть, трудно ответить, но этих словесных ответов от него не следует и требовать. Важно то, что его внутренний опыт недвусмысленно и достоверно сообщает ему, что он уловил «необходимое» и «единственно точное» и что проведенная им черта соответствует некоторому важному и решающему, хотя и сокровенному содержанию; это значит, что она «верна», «обоснованна», что она отличается таинственной, но совершенно очевидной «точностью» (любимое выражение Пушкина)... Тогда найденное подобно прочно лежащему камню в болоте, на который можно стать и опереться, чтобы нащупывать и отыскивать дальнейший путь.

Это «ощущение» органической необходимости в художественном творчестве отнюдь не есть ни призрак, ни самообман; напротив, ему присуще чрезвычайное, определяющее значение. Когда человек работает, напр., над дешифрированием непонятного текста, то ему приходится иметь дело с предположениями и неуверенными догадками до тех пор, пока он не почувствует, что вступил в поток живого, связанного, единого смысла; тогда у него делается уверенность, что он не выдумывает ничего своего, субъективного, но верно улавливает то, что объективно скрыто в разбираемой им криптограмме. Подобно этому настоящий художник старается уловить сокровенное содержание художественного замысла, выразить его — соответственно, точно, «адекватно» — в образах и «изложить» в словах, звуках, красках, жестах или камнях. При этом он несет в себе уверенное и подлинное чувство, что он творит, не изобретая, а как бы воспроизводя нечто подлинно сущее, или же что вся его изобретательная способность направлена на верное отображение объективно предстоящего ему «предмета». И когда он, закончив свое произведение, показывает его или выставляет, то у него иногда бывает смутное чувство, что некоторые «места», или «линии», или «словес-

ные обороты», или «плоскости», «краски», «модуляции» его произведения — не совсем закончены, не окончательно обоснованны, не вполне «предметны» или недостаточно точны. Тогда он начинает внимательно прислушиваться к критикам и сразу замечает, кто из них говорит из предметного созерцания, уловив художественную необходимость в его произведении, и кто из них, напротив, застрял во внешностях снобизма, в условностях отвлеченной формы, в аутистических выдумках и потому идет в своих разглагольствованиях мимо главного. Он умеет благодарно ценить скромные, исследующие замечания истинных критиков: он чувствует себя понятым, польщенным, он проверяет себя этими замечаниями и нередко «соглашается»; критик оказывается его ценителем, другом и помощником... А к самодовольному разглагольствованию мимо взирающих рецензентов он относится с пренебрежением, хотя и знает, что именно эта болтовня нередко влияет на публику и руководит ее мнением. Именно это последнее имел в виду Л.Н.Толстой, когда он однажды с тихим юмором вымолвил: «Критика — это когда глупый человек пишет об умном»...

В каждом произведении искусства надо различать троякое, как бы три слоя, причем эти слои не расположены один над другим, а открываются один за другим: от поверхности в глубину. Можно было бы выразить это и иначе: здесь есть центральное, главное «ядро», заключенное как бы в две «скорлупы», так, что «ядро» пронизывает обе скорлупы своими лучами и что внутренняя скорлупа может быть воспринята только через посредство внешней. Но это описание дает только указание, только намек на художественную правду.

Внешний слой искусства («первую скорлупу») можно было бы обозначить как «эстетическую материю»: таковы слова и фразы в литературе; линии и краски в живописи; слышимые звуки в музыке; камень, дерево, металл в скульптуре и архитектуре; тело танцующего, его одежда и обстановка в балете. И вот, чувственно уловимый материал искусства имеет свои собственные законы, например: фонетические, грамматические, стилистические и орфографические правила в литературе; физические, математические и акустические законы в музыке; естественные свойства камня, дерева и металла в скульптуре и архитектуре; физиологические, анатомические, психологические и духовные законы, владеющие человеческим телом, — в танце. Эти правила и законы должны быть соблюдены для того, чтобы произведение искусства художественно удалось. Фонетическое безобразие, грамматический хаос, стилистическая беспомощность и бессвязность могут погубить стихотворение. Нечистые, фальшивые звуки, не сопринадлежащие, монотонные аккорды с параллельными ходами могут испортить любое музыкальное произведение. Противоестественные, искусственно выдуманные, тяжелые, акробатически-вымученные, невыразительно-мертвые движения в танце — могут сделать его фальшивым и художественно невыносимым...

Но эти необходимые, элементарные, азбучные законы чувственной материи не являются ни высшими, ни последними законами

искусства. Есть другие, важнейшие и определяющие законы — и от них может изойти «применение» для низших законов: они могут властно потребовать аллитерации, или бесстильности, или бессвязности в словах; дребезжащих или монотонных звуков в оркестре; безвкусного сочетания красок или «обратной перспективы» в живописи; безобразных, вымученных движений в танце... Так, Римский-Корсаков, великий и безошибочный знаток гармонии, пишет Мусоргскому о его «Ночи на Лысой горе»: «Величание Сатаны должно быть непременно зело паскудно, и потому всякая гармоническая и мелодическая погань позволительна и уместна». Унисон справедливо считается скучнейшим видом музыкального звучания; но Бородин, изображая азиатский примитив татарского ига, ведет его тему во властном, сокрушительном унисоне (первая часть знаменитой Второй симфонии)... И так обстоит во всех видах искусства: законы эстетической материи подчиняются Главно-Сказуемому. Пушкин, гениальный мастер легчайшего стиха, ставит, когда надо, такие строки: «Бой барабанный, крики, скрежет, — Гром пушек, топот, ржанье, стон...» Или еще: «В молчаньи правил грузный челн...»

NB *Нельзя не принять рассуждения И.Ильина об эстетической материи, принимающей материальную форму знака художественного содержания. По Ильину художественный образ и говорящий через него художественный предмет составляют эстетическое содержание. Каждый учитель мировой художественной культуры понимает, что именно с «прочувствования», с «прочтения» художественного образа и начинается постижение смысла и значения мировой художественной культуры, так как именно в нем воплощаются дух времени, эпохи, нравственно-эстетические ценности, переходящие от поколения к поколению. И задача наша — показать взаимосвязи этих процессов в том историческом времени, которое отделяет современного школьника от времени, когда искусство только начинало путь своего становления и развития. Художественный образ как воплощение идеи эпохи, выраженной*

Осязаемая материя искусства совсем не есть важнейшее в искусстве; она не есть нечто самодовлеющее, и ее нельзя трактовать как «самостоятельное» тело художества. Напротив: она есть нечто вторичное, служебное, повинное послушанием высшему смыслу произведения. Эстетическая материя является «носителем», «орудием» или «знаком» того художественного содержания, которое должно быть «высказано» или «показано». Этот носитель должен быть на высоте выражаемого содержания, он должен соответствовать ему. Орудие должно быть послушным. Знак должен быть выразительным и содержательно насыщенным. Власть над ним имеет эстетическое содержание (т.е. художественный образ и говорящий через него художественный предмет). То главное, что художник «сказует» (или «показывает», или «знаменует»), — властвует над эстетической материей, властно выбирая слова, краски, звуки, плоскости, жесты и массы вещества. И в «материи» только то является художественно верным, что потребовано «Сказуемым».

на языке того или иного искусства, позволяет глубже и эмоциональнее понять, как устроен мир, как живет человек. Он позволяет заглянуть в собственную душу и подумать, как связан я с миром, людьми, временем, насколько прочны эти связи, как менялись они в пространстве времени, что осталось в глубоком прошлом, а что важно и современно сейчас. Художественный образ может поставить вопрос, может дать совет, может помочь найти ответ. Нужно только постараться его понять. Тогда мы вступим в диалог с картиной, архитектурным сооружением, музыкальным произведением, фильмом, спектаклем, — в диалог, который будет длиться всю жизнь.

Поэтому в произведении искусства эстетическая материя должна возникнуть из содержания, имея в нем свое оправдание и основание. Художественно только содержательно-необходимое. Совершенно здесь только то, что выразительно, в своей выразительности точно, в своей точности прозрачно и потому необходимо; — что экономит силу, время и внимание и верно ведет к Главно-Сказуемому данного произведения. Вся эстетическая материя должна стоять в распоряжении Главно-Сказуемого, обнаруживая величайшую покорность, готовность и гибкость; она должна чутко приспособляться и видоизменяться, не отрекаясь от своих собственных законов, но находя в них новые, может быть, небывалые формы.

Второй «слой» искусства (вторая «скорлупа») есть показуемый и воспринимаемый эстетический образ. Это есть то воображаемое художником «обличие» или «очертание», которое подыскивает себе материю, для того чтобы воплотиться в ней и «излучаться» из нее и через нее. Эстетический образ может иметь чувственную природу: таковы обличия материальных вещей — бабочка, цветок, дерево, дом, ландшафт; но он может иметь и нечувственную природу: таковы душевное настроение, напр. «Меланхолия» Грига, или человеческий характер, напр. князь Мышкин у Достоевского, или духовная борьба людей, напр. Брут и Цезарь у Шекспира. А в музыке «образом» является музыкальная тема, во всей ее индивидуальности, видоизменяемости и судьбе, в ее общении с другими темами данного произведения.

Все эти эстетические образы имеют свои особые законы: каждый образ должен явиться как нечто подлинно-объективное, правдоподобное, созерцательно-убедительное, индивидуально-внутренне-единое, самому-себе-верное, законченное, органически-связанное с другими образами и т.д. Расплывчатые, неясно показанные, неразличимые, плохо ракурсированные, противоестественные, неправдоподобные, в восприятии неубедительные, дробящиеся чувственные образы — характерны для плохого искусства; незрело выношенные, невыкристаллизовавшиеся, мало индивидуализированные, смутные человеческие характеры, которые выводятся в психологически неестественных жизненных положениях, произносят искусственные, аффектированные слова и совершают духовно необоснованные, неестественные поступки, — создаются плохими художни-

ками и относятся к дурному, нехудожественному искусству. Все это оказывается художественно фальшивым, неприемлемым; все это разочаровывает, утомляет и проваливается.

Но законы второго «слоя» тоже не самостоятельны, не самодовлеющи и не являются высшей инстанцией. В каждом произведении искусства весь строй образов подчинен опять-таки высшему и важнейшему «слою» — главной идее произведения, Главно-Сказуемому, художественному предмету и оказывается его верным и необходимым орудием.

Все дело именно в этом третьем, глубочайшем «слое», в том «главнейшем-важнейшем», что составляет «ядро» или «зерно» произведения; ради его художественного «произнесения», ради его «прикровенного показания» все зачинается, вынашивается и творится. Все эстетические образы должны быть выращены из него, развертывая его содержание, повинуясь его ритму, выражая его идею и волю. «Слой» эстетических образов должен ясно, точно и экономно выражать художественный предмет произведения; он должен служить предмету в качестве верной и прозрачной среды, чтобы предмет светился и воспринимался через него с очевидностью, скрываясь за ним и открываясь через него. Поэтому все образы данного произведения — романа, драмы, картины, сонаты, симфонии, скульптуры, балета — должны стоять в распоряжении художественного предмета, в подчинении ему, оказывая ему величайшую готовность, уступчивость, гибкость и выразительность.

Это настоящее «ядро» произведения, этот сущий и глубочайший центр его, к которому все сводится, ради которого все делается и творится и без которого все распадается, есть основная концепция художника, его сокровенный «замысел», который привел его творчество в движение. Именно он, этот предметный «замысел», задуманный не мыслью и не произвольным хотением, но зачатый в сфере той бессознательной духовности, которая присуща каждому из нас, — именно он подыскивает себе необходимые образы и верную чувственную материю. Он есть тот «духовный цветок», который художник увидел в просторах духа; этот цветок пленил его, и он взял его с собою, чтобы подобрать для него художественное одеяние и показать его в таком виде другим людям. Этот духовный цветок можно было бы обозначить как «идею», но с тем, чтобы не приписывать ей никакой рационалистической формы: ибо эта «идея» постигается иррациональным сердце-созерцанием, которое не следует смешивать с обычной мыслью; это есть, если угодно, «мысль», но в смысле духовной медитации; это есть «созерцание», но осуществляемое не чувственными силами души, а сердцем, луч которого постигает, пленяется и «берет с собою».

Этот «духовный цветок» не есть субъективная выдумка или чисто личная химера художника. Он есть реальность, духовная сущность. Его можно было бы обозначить как духовный «первообраз» или как живой способ бытия, как классическое, каждому человеку доступное жизнесостояние. Это жизнесостояние переживается са-

мим художником, созерцается им и становится его предметом. Он находит его в Боге, в человеке или в природе вещей. Есть такие первообразные состояния, которые он находит только в Боге, напр. «совершенство», «несотворенность», «вечность», «благодать», «неисчерпаемая милость»; или в Боге и в человеке: «любовь», «прощение», «доброта», «бессмертие»; или только в человеке, напр. «грех», «совесть», «молитва», «страстное борение», «искушение», «ненависть», «пошлость», «зависть», «преступление», «раскаяние»; или в Боге, в человеке и в природе, напр. «свет», «покой», «творчество», «страдание»; или только в природе и в человеке, напр. «сон», «жажда», «засыхание», «расцветание», «отцветание», «наслаждение»... Все это может открываться художнику то статически, то динамически, то в великой простоте, то в чрезвычайной сложности, то в молчании, то в пении, то в единичности, то во множестве, то намеком, то бурею. Что именно из этих «первообразов» или «первичных состояний» художник увидит, чем он пленится, что выберет, — в этом он свободен. Но каждый такой «предмет» он должен подлинно пережить; он должен быть «взят им в плен»; он должен пройти через некую «одержимость» им, чтобы начать верно говорить из него и художественно показывать его. Такой духовный опыт отнюдь не является его «монополией»; он доступен каждому человеку, способному вообще к духосозерцанию; каждому наивному обывателю, в особенности же призванному художественному критику, который должен быть способен воспринимать каждое произведение искусства в его цельном составе и во всех его необходимых «слоях» и частях.

Согласно этому, каждое произведение искусства как бы хочет сказать человеку: «впусти меня в дух твоей души, переживи меня цельно, дай мне состояться в твоем внутреннем «пространстве», в твоей жизненной ткани; я подарю тебе счастье, а может быть и муку; я дам тебе углубление и озарение, постижение и очищение, видение и умудрение»... Или иначе: «возьми меня с собою, я несу тебе мудрость и просветление»... Или еще иначе: «Здесь тебя ожидает новая духовная медитация, показанная в образах, прими ее и унеси ее в жизнь»... И человек, который действительно воспримет такое произведение искусства и промедитирует скрытую в нем медитацию, приобщится через его «материю» и через его «образы» к скрытому в них «духовному цветку».

Таков смысл подлинного искусства; в этом его сущность и призвание: оно призвано нести людям истинный аромат духа. Художник не призван «поучать» и «проповедовать»; он не смеет становиться тенденциозным и навязывать людям какую-нибудь доктрину. Он призван сам цвести среди цветов духа, естественно, непреднамеренно (desinvolto), органически и с некой таинственной, легкой, побеждающей властностью; — цвести и дарить людям подлинный, чудесный и очистительный аромат своих духовных цветов.

Так обретается критерий художественности; так узнается совершенное произведение искусства. Если выразить этот критерий в виде требования, то мы должны будем сказать:

«Художник! Будь верен законам эстетической материи. Эти законы ты должен знать и соблюдать, а материей ты должен владеть вполне. Только тогда ты сумеешь точно и совершенно приспособить материю твоего произведения к требованиям эстетического образа и художественного предмета.

Будь верен также и законам эстетического образа. Ты должен верно постигнуть своеобразие этих «существ» и вполне овладеть ими. Только тогда ты сумеешь оформить весь хоровод созерцаемых и показываемых тобою образов — в строгом и выразительном соответствии с твоим основным замыслом, с твоей предметной медитацией, с ее духовным цветком...

А чтобы возыметь основной замысел, чтобы постигнуть художественный предмет, — ты должен уйти в глубину сердечного созерцания и вопросить из своего созерцающего сердца Бога, мир и человека о тайнах их бытия. Погрузись в эту духовную глубину, как в некое море, и вернись из нее с жемчужиной. Затеряйся в блаженных пространствах духовного опыта и принеси оттуда самый лучший цветок. И соблюди в своем творчестве верность этой жемчужине или этому цветку. Только тогда ты узнаешь, как и чем живет «предметно одержимый» художник; только тогда ты сможешь создать адекватные предмету образы и точную эстетическую материю: давай необходимое и только необходимое! только предметно укорененное! и ничего лишнего, ничего чрезмерного! только такое, через которое светится и сияет сам первообраз предмета!»

Вот правило, вот критерий художественно совершенного искусства. И в будущем — русский народ, пробужденный и очищенный посланными ему небывалыми страданиями, снова вступит на этот великий, классический путь своих великих художников и начнет опять создавать новое и прекрасное искусство.

18. ПОТЕРЯННАЯ ТАЙНА

В ранней юности человек есть существо вопрошающее и любопытное, ребенок видит многое, а понимает мало, и все спрашивает и расспрашивает, и получает ответы, которые его не удовлетворяют. И скоро у него возникает ощущение, будто взрослые скрывают от него какие-то тайны, секретничают, уклоняются от прямых ответов и не хотят говорить о самой сущности вещей и дел: «все не то, все не так, все скрывают»... И вот ребенок начинает чувствовать себя разочарованным и даже обиженным: «Что они думают, я так глуп, что поверю их глупым ответам? Ну хорошо, я постараюсь дойти до всего сам»...

И вот начинается наблюдение и подглядывание, подслушивание и размышление, изобретение своих «объяснений» и «теорий», которые должны «разъяснить» все до конца. Ребенок живет во внутреннем беспокойстве, но прикрывает его деланным безразличием, а за всем этим в нем скрывается жадное внимание, пристальная наблюдательность и беспокойный, исследовательский дух. Нельзя прими-

риться с «секретами»; они должны быть разгаданы. Нельзя остановиться перед запретной тайной; надо ее разоблачить. Тайна — это вроде обмана: умные дурачат глупых; но глупые не мирятся и хотят стать тоже умными. Тайна означает, что взрослые хотят держать нас, детей, в состоянии незнания и зависимости; и все — чтобы нами командовать. Потому что «в действительности» все просто, легко и доступно.

Вот почему в детских разговорах так часто слышится словечко «о-очень просто!». И произносится это словечко насмешливо, самоуверенно и даже авторитетно. Поэтому и педагогическое наблюдение оказывается верным: чем таинственнее держатся родители, чем меньше они удовлетворяют детей в их любопытстве, тем больше дети усваивают себе плоское мышление, стремящееся все разоблачить, упростить и опошлить. И потому следовало бы не устранять детей от тайны, не «секретничать» и не запрещать им проникновение в глубь вещей, но постепенно, осторожно вводить их в тайну естественного бытия, любовно и благоговейно посвящая их в мудрость вселенной (конечно, не столь грубо и пошло, как это предлагает Жан-Жак Руссо!): смотри, созерцай, постигай, изумляйся и преклоняйся в благоговении...

В восемнадцатом веке западное человечество запротестовало против подобного «унижения», заболело острым чувством мнимой «обиды» и захотело все упростить и как можно проще объяснить. Эта обида и это глупое тяготение передались и девятнадцатому веку и вдруг вспыхнули злобой, завистью и ненавистью в немыслящих массах двадцатого века. При этом понятно, что католическая церковь с ее многовековыми запретами и кровавым террором инквизиции олицетворяла собою «родительский облик», монополизирующий власть для поддержания «тайны» и блюдущий «тайну» ради закрепления своей власти: это она не разрешала «детям» свободу исследования (вспомним Галилея, Ванини, давнишний спор об «антиподах» и т.д.); это она пыталась сберечь для «экзотерического ведения» великой тайны Божия существа и Божьего мира. И вот «дети» пережили эпоху Возрождения и эпоху Просвещения, выросли умственно и созрели волею и предались овладевшему ими «духу противоречия». Подавляющий церковный авторитет был отвергнут, и началось повсюду самостоятельное наблюдение, любопытная погоня за явлениями и неутомимое следопытство.

Эта противоположность между церковной опекой и автономным мышлением постепенно укрепилась и вызвала сначала скрытую, а потом и явную враждебность; вражда не нашла себе ни примирения, ни исцеления; напротив, она даже обострилась во второй половине девятнадцатого и в первой половине двадцатого века, когда рядом с трезвой и разумной наукой выступила заносчивая и скудоумная полунаука, когда темная масса вообразила себя «просвещенной» и в мире разлилось плоское и пошлое полуобразование.

В восемнадцатом веке это течение сформировалось под влиянием французских энциклопедистов. Возникло новое умонастроение,

которое предавалось религиозно-беспредметному скепсису, стало постепенно руководящим и ведущим, захватило и государей на троне (Фридрих II Прусский, Екатерина II) и победоносно вступило в девятнадцатый век. Было высказано и «принято», что церковь строится врагами просвещения и распространяет обскурантизм; что религия, строго говоря, беспочвенна; что всякая вера «напрасна» и есть «всуе-верие»; что Евангелие содержит лишь «миф» о Христе; что всякое чудо есть обман, подлежащий разоблачению и обличению; что есть только единственный источник достоверного знания — чувственный опыт... Что же касается так называемых «тайн», то их вообще нет ни в природе, ни в человеке: на самом деле все просто и ясно; стоит только взяться за наблюдение и размышление, и каждый увидит, что все явления возникают естественно, закономерно и что все заранее определено законом причинной необходимости. Мир совсем не таинствен и не глубок; он сплошь детерминирован, трезв и прозаичен; для объяснения его совсем не нужна «гипотеза» Божьего бытия... Механически и нисколько не духовно совершается его ход, ибо он просто катится по рельсам причинности. И тот, кто пытается усмотреть в нем еще какую-то романтику, фантастику, мистику или иную беспочвенную сентиментальность, — есть мракобес, «vir obscurus», реакционер, вредитель, а может быть, и сущий плут.

Как из этого умонастроения — из этого плоского сенсуализма и пошлого материализма — возникло современное воинствующее безбожие, понятно без дальнейших разъяснений: стоит только заострить основные тезисы этого мировоззрения, выговорить их с волевым темпераментом и сделать все последовательные, особенно практические выводы...

Надо признать, что великие научные исследователи отнюдь не впадали в это умонастроение. Но поскольку они практически принимали гипотезу механического объяснения и применяли ее, они часто не замечали, как эта в известных пределах продуктивная, но достаточно плоская и отнюдь не исчерпывающая гипотеза разрасталась в самодовлеющее, якобы «все-объясняющее» и «единственно научное» миросозерцание. Отсюда возникала так называемая «традиция позитивизма», согласно которой настоящий и строгий исследователь обязан устранять всякую «мистику», сводить всякое явление к его простейшим элементам и причинам, не дивиться на чудеса мироздания, разлагать все таинственное, лишать его всякого священного ореола и объяснять все строгими и общими законами, разочаровывая и отрезвляя наивных людей.

Это и была традиция «обиженных» и «униженных» умов, ребяческой уязвленности и детской потребности представить себе все в простом и плоском виде. Это была традиция борьбы и вражды против всего, что кажется таинственным: посягание все «разгадать», разоблачить и свести к рассудочным схемам. Это давало «наслаждение» от «удачного» всеупрощения и всеопошления. И в последнем счете — это было восстание против библейско-церковного сведения

всего к Господу Богу как «источнику всяческих». И более того, это было прикровенное восстание против Бога; жажда низвергнуть Его с трона и занять Его место.

Но если отвлечься от этой традиции и обратиться к великим и гениальным исследователям природы, то надо признать, что они умели созерцать тайны мироздания и дивиться им искренно и глубоко. Можно было бы сказать: большой исследователь приступает к своему исследованию с чувством, что он противостоит некой великой тайне и заканчивает свой труд с убеждением, что он не овладел тайной мира и не исчерпал ее. Всякое серьезно-глубокое научное объяснение ведет нас в глубину мира, но на один шаг; никакое объяснение не исчерпывает эту глубину, ни одно из них не «отменяет» ее. Ибо эта таинственная глубина не есть нечто воображенное нами, не есть выдуманное нами содержание сознания, но есть предметно-сущее состояние.

Каждый из нас должен однажды конкретно представить себе этот великий объективно-сущий предмет, мироздание в его непомерно тотальных размерах и в его неизмеримой внутренне-микроскопической глубине; — это мироздание, которое то развертывает перед нами свои бесконечно великие дали и расстояния, отнюдь не давая доступа к ним, то указует нам на свои бесконечно малые разветвления, отнюдь не давая их «в руки»; — это мироздание, в котором все — великое и малое, недостижимо далекое и неуловимо глубокое — связано друг с другом, сплетено в сплошную ткань и несется из прошлого через настоящее в будущее в качестве динамического и целесообразного Единства... Каждый из нас должен оживить и расширить свое предметное созерцание в попытке представить себе этот предмет и затем вообразить себе чудо этого «самопроизвольно-активного» равновесия, из которого говорит некая молчаливая разумность и неизъяснимая сила; чудо, перед которым благоговейно преклонялись и Аристотель, и Коперник, и Лейбниц, и Василий Великий, и Кеплер, и Леонардо да Винчи, и Бойль, и Ломоносов... И тот, кто хоть раз в жизни коснется этого своим духом, тот навсегда уяснит себе, что здесь дело идет не о каком-то субъективном секретосочинительстве и тайноукрывательстве и не о праздной самомистификации, но о величественной и прекрасной мировой тайне, которую открыто признавали и исповедовали все отцы христианской Церкви, начиная с апостола Павла, и все основоположники современного естествознания, кончая Фехнером и Дюбуа-Реймоном.

В наших исследованиях мы выделяем из этой сверхсложной и таинственно-связной ткани отдельные «обломки», «обрывки» или нити; и поэтому мы должны помнить, что таких выделенных и теоретически препарированных частей в реальном предмете нет. Это мы сами умственно «извлекаем» или «отвлекаем» эти обломки, обрывки или нити, чтобы исследовать их в изолированном виде, и, прибегая к этому приему вследствие ограниченности нашего опыта и вследствие слабости нашей мысли, мы должны разуметь и помнить, что имеем дело с нашими научными «препаратами», или ум-

ственными «построениями», не более. Практически эти человеческие «элабораты» являются неизбежными и пригодными; и это нас ослепляет: возвращаясь из наших научных лабораторий к созерцанию предмета (мироздания), мы все снова забываем включить необходимую «поправку» на упущенное нами — на динамическую связанность вселенной, на таинственное единство мира, на сверхсложность и взаимное воздействие всех этих «обломков», «обрывков» и «нитей». Мы забываем, что в действительном мире этот единичный «фрагмент» стоит в многообразном и уводящем вдаль взаимовлиянии с другими «фрагментами» и что эта отдельная естественно-закономерная нить включена в необозримую ткань других, по-своему закономерных нитей. А если нам удается, сверх того, практически использовать некоторые из этих нитей с эффектными последствиями, то мы готовы принять себя за властных «хозяев» вселенной и начинаем воображать, что мы действительно раскрыли все тайны мира и овладели ими. А на самом деле мы стоим перед мирозданием как хвастливые нищие, которые, держа в руке грош, воображают себя богачами, или как наивные дети, которые собираются исчерпать море игрушечным ведром...

На этом пути мы теряем доступ к тайне мироздания; наша наука беднеет, наш ум становится близоруким, наши исследования становятся плоскими и пошлыми. Но само собой разумеется, что на величественном строении мироздания это никак не отзывается. Ибо мир остается, как и прежде, — великим и таинственным чудом, возникшим из творчества некой разумно-сокровенной Власти, несомым некой целесообразно-сокровенной силой, движущимся к некой отдаленно-сокровенной цели. А если кто-нибудь настолько слеп или ограничен, что он не может принять и созерцать это воображением, или если кто-нибудь усвоил себе такую рассудочно-мертвую установку, что он не желает постигнуть и признать это, — то ему будет очень трудно помочь.

Всю свою жизнь человек проводит на земле, окруженный Божьими дарами, таинственными чудесами природы, души и духа. Уже самая жизнь, как она проявляется в самоподдержании одноклеточных существ и как она далее развивается до самых тонких и сложных душевно-телесных коррелятов человеческого существа, — есть тайна творческой активности, научно неразложимое и ни к какому механизму не сводимое обстояние. Всюду, где жизнь самоутверждается и развивается, будь то в пространственном движении или в психическом проявлении, — от бактерии или вируса до слона, от гриба до лианы, от губки и жемчужной раковины до акулы, от прелестной бабочки типа Неоптолема до невыносимо уродливой китайской свиньи, — всюду перед нами таинственное чудо, сокровенно присущее каждому живому существу. На этом мы должны научиться созерцать и наблюдать и неживые существа в их таинственном строении и распадении, в их таинственном покое и движении. Мир «прост» только для глупцов; но для глупцов не существует и вообще никаких разумных законов.

Вот почему в основании всякого серьезного исследования лежит исходное допущение, что в мире нет ничего «простого», что наука во всех вещах и существах имеет перед собою сверхсложный и всесторонне обусловленный предмет, сокровенно-глубокий и неисчерпаемый ни чувственным опытом, ни рассудком. Наука видит себя везде перед лицом тайны. Это исходное допущение совсем не должно внушить исследователю робость, остановить или пресечь его работу; оно приемлется не для того, чтобы погасить исследовательскую жажду, превратив ее в сплошное пассивное удивление или изумление, или погрузить человека в растерянное слабоумие. Напротив, это допущение, как живая основа исследования, должно открыть человеку его истинное задание, а также укрепить и повысить его чувство ответственности.

Кто признает тайну мироздания, тот в качестве исследователя верно поймет предстоящую ему задачу; а именно, он научится последовательно различать между самим предметом и наблюдаемым (и описываемым) содержанием опыта. А это различие является основным и определяющим во всяком исследовании.

Так, человеку не надо наблюдать и объяснять мироздание в его предметном обстоянии, в его целокупном и таинственном существе. Исследователь вынужден интенционально (т.е. силою своего сосредоточенного разумения) «вырезать» свой, подлежащий исследованию, опытный «участок», свое изучаемое и познаваемое содержание; ему приходится «аскетически» довольствоваться одним «отрывком» или одною «нитью» и сосредоточиваться на таком урезанном, оскудевшем содержании. Согласно этому историк, например, выделяет из всеединого и величавого мирового процесса одну ограниченную эпоху или один единичный «облик» этой эпохи (фигуру императора Карла Пятого, или жизнь Леонардо да Винчи, или эпоху Возрождения, или русскую Смуту); юрист изучает кодекс Юстиниана или французскую конституцию 1791 года; энтомолог пишет трактат о цейлонской белой бабочке типа «Hestia jasonia» или об одной из групп «прыгающих прямокрылых» (саранча); физиолог — о функциях тригеминального нерва; экономист — о строении и формах английского кооперативного движения в девятнадцатом веке; филолог — о предлогах у греческого оратора Лисия и т.д. То, что исследователь выделяет и описывает, на самом деле включено и врощено в великий процесс всеединого и таинственного мироздание. Только интенциональное внимание исследователя «вырезает», «отвлекает», «изолирует» изучаемое содержание, причем иногда природа милостиво дает ему соответствующий образцовый экземпляр (в виде бабочки, или белого павлина, или орловского рысака), а иногда ему приходится самому изготовлять себе необходимый «препарат» (в анатомии, физиологии, гистологии). Но в общем исследователь всегда имеет дело с содержанием своего опыта, которое он должен всегда мысленно включать в цельную картину мироздания, созерцая этот великий предмет и относя к нему все доселе познанное. Поэтому не следует именовать этот опытно выделенный «отрывок» или

«обломок» — предметом: это и неточно, и ведет к заблуждениям. Необходимо признать, что «опыт» есть целесообразное средство в познании, но отнюдь не его цель, не его последнее слово и не высшая инстанция, к которой взывает исследователь. Исследование невозможно без опыта и помимо опыта. Но наивно и слепо думать, что оно заканчивается данными опыта...

И вот исследование слагается совсем иначе в зависимости от того, созерцает исследователь свое «отрывочное содержание» в луче мировой тайны, в великом контексте Предмета, или нет.

Если исследователь забывает великую тайну целокупного мироздания, если он принимает свое отрывочное, выделенное содержание за первоначальную и самодовлеющую величину, тогда он теряет таинственную глубину и в предмете, и в опытном содержании. Он изолирует свой «обломок» от духа Целого и делает его плоским и мертвым. Тогда и чувство ответственности у самого исследователя становится неустойчивым и бессильным, а его наблюдение, несомое коротким, отрывочным дыханием, делается рассудочным, легковесным и плоским. Он не стремится к разрешению великого задания, а «крохоборствует»; он не созерцает, а подглядывает; он «парцеллирует» мироздание и оказывается неспособным участвовать в величии миропознания. Этим он как бы запирает ту дверь, которая ведет от его «опытного отрывка» в глубину самого Предмета; он как бы обрывает нити, связующие его «обломок» с Предметом, а его исследовательскую лабораторию с творением Господа Бога. Такой исследователь должен быть причислен к самодовольным и скороготовым «все-объяснителям». Можно было бы сказать, что его жажда познания быстро утоляется первым же глотком воды из местной лужи. У него «маленькие глаза» и слабое зрение наподобие крота. Он пытается измерить бездну Божьего творения сантиметрами. Он думает, что мироздание столь же скудно и плоско, как его собственное «представление», и что великий Предмет кончается там, где его собственное умственное содержание оказывается исчерпанным. Он считает каждую свою «гипотезу» за «достаточную», потому что природа не может простираться далее и глубже, чем его субъективные предположения. Итак, он начинает с того, что теряет тайну мироздания, и заканчивает мертвой механической картиной мира, которая приводит его ко всеопошляющему безбожию.

Совсем иначе слагается исследование у того, кто умеет ощущать божественную тайну мира и преклоняться перед ней. Так вел свои исследования уже Аристотель, у которого всякое познание начиналось с «изумления» и возникало из «дивования». Это исследовательское изумление было предвосхищающим восприятием тайны мироздания и в то же время живым предчувствием Божества. Оно всегда пробуждает в душе ученого ту своеобразную исследовательскую совесть, без которой наука просто вырождается или совсем не удается. Эту исследовательскую совесть можно было бы обозначить как волю к предметности познания или как повышенное и обостренное чув-

ство ответственности, как постоянную готовность проявить величайшую осторожность, приспособление и вчувствование, чтобы приблизиться к созерцанию великой и глубокой тайны мироздания. Если исследователю удастся предвосхитить эту тайну в «большом мире» (в макрокосме), то он сумеет восчувствовать ее и в своем «малом обломке» (в микрокосме); и тогда его, неизбежное для всякого исследователя, «упрощение» не будет иметь дурного влияния на его познание. Напротив, выделенный обломок мира станет для исследователя как бы «представителем» мировой тайны, Божьим иероглифом, или как бы входной дверью в познаваемую предметную глубину бытия.

Так начинается всякое настоящее исследование: с аскеза — в ограничении и с волею к безграничному углублению. И тогда каждое выделенное и упрощенное содержание опыта предстает ученому как своего рода «шахта», подлежащая разработке, как подземный ключ или как кладезь, в который надо спуститься для того, чтобы узреть священный центр мировой тайны. При этом каждая найденная нить связуется с сокровенной, но не потерянной тайной мироздания; каждый исследуемый «отрывок» мировой ткани является как бы живою тенью Бога или отблеском Его света; а самая наука — позитивная, эмпирическая, доказывающая наука — оказывается своего рода введением в созерцание Божественного Существа.

Именно так понимали это великие основатели и подвижники современного естествознания; именно это было не понято и упущено малыми умами и духовно подслеповатыми наблюдателями. Но в будущем это возродится и оживет. Тогда наука опять превратится из мертвого гербариума в живой сад Божий, и никакая рассудочная доктрина не отпугнет ее от преклонения перед чудом и тайною, сотворенными Господом. А исследующее мышление вернет себе свою созерцающую силу и осуществит необычайное.

Потерянная тайна мироздания будет опять возвращена человеку для переживания и творческого созерцания. Но это станет возможным только тогда, когда обновится строение познавательного акта. Тайна никогда не станет доступною для простого чувственного наблюдения. Она не будет усмотрена и аналитическим рассудком с его экспериментирующим и препарирующим мышлением. Предметная тайна мироздания доступна для созерцающего вчувствования и может сообщиться наблюдению и анализирующему рассудку только через вчувствование. Именно таков был в общем и целом акт великих исследователей. Они подходили к миру с открытым, любящим и дивующимся сердцем; они наблюдали, созерцая и медитируя; они думали, вчувствуясь в предмет и преклоняясь перед его мудрой таинственностью; они с самого начала ведали о его глубине и до конца радостно удостоверялись в ней. Их сердце трепетало вместе с мирозданием и пребывало в нем. И потому мир жил в них и раскрывал перед ними свои глубины; а они сами были не только исследователями мира, но и мудрецами и любимцами природы.

И вот будущее сулит нам возрождение такого познания.

19. О СЕРДЕЧНОМ СОЗЕРЦАНИИ

Человек рожден прежде всего для созерцания: оно возносит его дух и делает его окрыленным человеком: если он сумеет верно пользоваться этими крыльями, то он сможет осуществить свое призвание на земле. И вот, надо пожелать человечеству, чтобы оно уразумело свое призвание и чтобы оно восстановило в себе эту дивную окрыляющую способность созерцания.

Но это означает, что человечество должно приступить к великому, перестраивающему обновлению души и духа: оно должно пересмотреть строение своих культурно-творящих актов, признать их исторически сложившуюся несостоятельность, восполнить их, усовершенствовать и открыть себе новые пути ко всем великим Богоданным предметам. Это единственная возможность выйти из современного кризиса и начать духовное оздоровление: это единственный способ остановить современное скольжение в пропасть и начать период возрождения и подъема. Человечество подошло к пропасти, не замечая ее, воображая, что оно творит «новую культуру» и осуществляет великий прогресс «свободы» и «гуманности»; а на самом деле оно создавало бескрылую, декадентскую псевдокультуру, подрывающую свободу и отрекающуюся от гуманности. Оно не заметило главного, а именно: омертвения своего сердца и своей духовности и обессиления своего творческого акта.

Оно пыталось создавать «новую культуру», не применяя необходимых для нее внутренних, духовных «органов» и предоставляя им угасать и отмирать. Оно пользовалось неверными, бессильными «орудиями» внутреннего мира и не замечало, что истинная культура требует иных сил и иных органов, и забывало, что никакое самовосхваление и самодовольство не обеспечивает истинного качества.

Эти формулы имеют общее и определяющее значение для всей культуры наших дней. И дальнейшая история, ныне закрытая непроглядным туманом, зависит от того, увидит ли человечество это заблуждение и когда именно оно увидит его; — постигнут ли его наши дети, или дети наших детей, или еще более отдаленные потомки и, постигнув, захотят ли они и сумеют ли начать это творческое обновление.

На развалинах мира, который еще недавно казался «новым», а ныне стал «отжившим», мы все — европейцы, азиаты, американцы — должны одуматься, сосредоточиться на нашем внутреннем душевно-духовном укладе, произнести над собою честный и искренний суд и распространить это самоосуждение на все области культурного творчества. То, что совершается в мире за последние полвека, есть крушение нашей культуры, которая не справляется с внутренне глубокими, а внешне грандиозными задачами наших дней. Крушение это выражается, во-первых, в том, что она предоставила в своих собственных недрах сложиться, окрепнуть и победоносно выступить новому духовному варварству; во-вторых, в том, что она сумела противопоставить этому духовному варварству только формальную цивили-

зацию, чувственное разложение и хозяйственную жадность. Нам нельзя отвертываться от этого печального зрелища и замалчивать его; напротив, мы обязаны поставить честный диагноз, выговорить правду и приступить к отысканию новых жизненных путей...

NB *И.Ильин с болью говорит о крушении нашей культуры в самом начале 50-х годов XX столетия, понимая, что формальная цивилизация не может противостоять духовному варварству. О кризисе культуры говорили в разные периоды, его предвидели многие философы XIX века. Мы слышим об этом ежедневно. В этом отношении нельзя не подумать о детях, которые приходят к нам на урок в то самое время, которое у нас в стране характеризуется по-разному: «деградация культуры», «развал страны», «потеря нравственных ценностей» и т.п. Наше поколение живет в условиях непрерывных перемен. А те дети, которые приходят сегодня на урок, живут уже в новую эпоху, они являются представителями иной, подчас совершенно неизвестной нам цивилизации. Как они воспринимают культуру, современниками которой являются? Часто ли мы задумываемся об этом? Думаю, что в глубине души многие понимают, что только от беспомощности можно сказать, что то, что мы видим вокруг — это отсутствие культуры («в наше время все было иначе»). Очевидно, надо попытаться более объективно разобраться в том, что происходит сегодня в современной культуре, каковы причины этого процесса, как влияют на него технические достижения, средства массовой информации и т.п., что происходит в разных видах искусства, как и отчего меняется язык этих искусств. Вопросов возникает много, если только мы хотим их задать и попытаться ответить. А если мы не пойдем по этому пути, то можем просто потерять взаимопонимание с нашими учениками. И эта позиция не противоречит идее необходимости «воспитания в грядущей России», о которой с такой болью пишет И.Ильин. Только сегодня несколько изменился сам подход к процессу воспитания. И он не мог не измениться, так как изменился мир, изменился человек. Современный учитель должен уходить от того назидания, от которого, кстати, предостерегал сам И.Ильин. Важнее всего создать такие условия и такой нравственный, духовный, предметный контекст, которые помогут ученику самому «воспитать себя». Ценности, обретенные непосредственно самой личностью в процессе приобщения к миру неутилитарному, могут оказаться самыми дорогими и значительными. Поэтому современному учителю просто необходимо не только самому обладать необходимыми душевными качествами, но уметь профессионально решать ту или иную педагогическую задачу. На самом деле мы действительно учимся своей профессии в течение всей жизни, поскольку в педагогике научиться всему и навсегда невозможно. Слишком изменчива быстротекущая жизнь. Неизменными должны оставаться только те же самые «вечные» ценности.*

...Почему современная философия ушла в отвлеченную пустоту, в бесплодную запутанность, в конструктивные выдумки и в мертвый «гносеологизм»? Чего не хватало ей? Почему отлетел от нее живой дух? Почему дедуктивная теология со всей ее «диалектикой» и религиозной мертвостью расцвела именно теперь, одновременно с воин-

ственно-кощунственным безбожием, к которому она обнаруживает странную и страшную симпатию? Почему эта теология несет одни педантические рассуждения, лишенные света, тепла и живого творчества? Откуда это разложение в современном искусстве, эта духовная беспредметность, ведущая к бесформенности, эта кощунственная игра без души и без художественного измерения? Откуда в музыке эта безобразная «политональность» и вызывающая «атональность», эта погоня за назойливой и безвкусной «звучностью», это отвращение к прекрасному и глубокому? Откуда в живописи этот культ самодовлеющей красочности, это презрение к естественному, эта жажда хаоса? Откуда в поэзии это сочетание блеклости с пустозвонством? Откуда в беллетристике эта погоня за непристойностью? Чего хотят люди от искусства? В какую низину и пошлость соскользнут еще так называемые «художники»? — Откуда этот исторически неслыханный кризис государственности, с его революционными брожениями и тоталитарными извращениями? Не свидетельствует ли он о прямом разложении современного правосознания, предавшегося релятивизму и отвлеченно-мертвому формализму? Как это могло случиться, что последние естественнонаучные открытия и технические изобретения (радио, воздухоплавание, газоведение, расщепление атома) были немедленно использованы для тоталитарного рабства и бесчеловечнейших войн истории? Почему современное человечество так неистово в разрушении (атомная бомба) и так убого и неумело в создании новой социальной жизни? Что же, демократии последнего века так долго и так успешно боролись за свободу, за частную инициативу и за самоуправление для того, чтобы разнуздать освобожденных и отдать их в новое, неслыханное рабство! Где же новые, творческие, социальные идеи современности, где синтез свободы и справедливости?..

Согласно этому сердечное созерцание надо понимать так.

Когда человеческая любовь избирает себе такое жизненное созерцание, которым действительно стоит жить и за которое стоит и умереть, то она становится духовной любовью. Если же духовная любовь овладевает человеческим воображением, наполняет его своею силою и своим светом и указывает ему достойный предмет, то человек отдается сердечному созерцанию: в нем образуется новый, чудесный орган духа, орган творчества, познания и жизни, который возносит и окрыляет его. Этот орган требует внимания, упражнения и привычки; он открывает перед человеком новые возможности и новые пути культуры.

Тогда человек обращается к миру с тем, чтобы предметно вчувствоваться в него, и сочетает, таким образом, весь объективизм предметной культуры со всею силою лично субъективного самовложения. От этого его творческий акт получает новое направление и новую силу. А если к этому присоединяется художественное дарование, то он приобретает способность особой мощи. Его восприятие может дойти до художественного отождествления с сущностью вещей и человека, и тогда оно начинает открывать ему гораздо более

того, чем обычно считается возможным. Систематическое укрепление и осуществление такого акта художественного отождествления может дать настоящие чудеса в смысле точного постижения: у человека может развиться дар своеобразного ясновидения. Этот дар может стать для него сущим бременем и мукой, ибо в мире столько зла, злых побуждений, отвратительных преступлений и хаоса, что воспринимающий их в порядке отождествления человек не может не страдать.

И вот созерцающее вчувствование может постепенно овладеть всеми другими способностями человека: инстинктом, волею, мыслью и другими силами духа. Тогда личная душа человека станет как бы покорным и лепким воском, который будет повиноваться каждому предмету и до известной степени превращаться в то самое, что человек воспринимает и познает. От этого у гениальных художников накапливается целое богатство жизненных постижений, сокровище из разнообразнейших образов мира, так что со стороны может показаться, что этот художник обладает каким-то «всеведением». Это и есть то самое, что изумляет нас у Пушкина, у Достоевского, у Леонардо да Винчи и у Шекспира: кажется, что этому художнику открыто все, что он все знает, все видит и обладает способностью переживать и изображать «чужое» как «свое собственное»; или еще: кажется, что он «всюду побывал» и всюду точно и до конца постиг первозданные состояния всех вещей и глубочайшие связи всех духов между собою; или еще: что дух его древен, как мир, ясен, как зеркало, и мудр некой божественной мудростью... и что именно поэтому он всегда творчески юн и нов, оригинален и неисчерпаем...

Такой акт можно было бы обозначить как «созерцание сердца» или просто как «созерцание». Именно этой творческой компоненты не хватает современному человеку и современной культуре. Мы должны признать ее драгоценной способностью и добиться ее возрождения и восстановления; мы должны дорожить ею и укреплять ее в себе, для того чтобы очистить, оплодотворить и углубить нашу культуру.

Послесловие
О ДУХОВНОМ ИЗЛУЧЕНИИ

Мы, люди современной эпохи, не должны и не смеем предаваться иллюзиям: кризис, переживаемый нами, не есть только политический или хозяйственный кризис; сущность его имеет духовную природу, корни его заложены в самой глубине нашего бытия; он ставит нас перед последними вопросами и ведет нас в священную область. Мы не имеем ни права, ни основания изображать наше крушение как «невинную» или «неопасную» случайность. Мы должны найти в себе мужество и остроту взгляда, чтобы увидеть вещи такими, каковы они суть на самом деле; мы должны найти в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые пути. Нам надо освободиться от мелочей повседневности и приучиться смот-

реть вдаль: куда идет, куда соскальзывает современный мир? Что ожидает нас? Что нам делать для того, чтобы предотвратить злейшие возможности и создать новую, прекрасную жизнь?..

Но есть закон, в силу которого грядущая даль открывается только тому, кто смотрит из глубины. Поэтому нам необходимо подлинное углубление духа; мы должны прежде всего сосредоточиться и уйти в живую глубину нашего собственного существа, в «субстанцию» нашей человечности или, как сказал бы Аристотель, в «энтелехию» нашего духа, в ту священную сферу, благодатность и божественность которой возвестил нам Сын Божий, Иисус Христос. Повсюду, во всем мире должен начаться постепенно духовный пересмотр наших душевных актов и наших предметных содержаний: в отдельных людях и в малых кружках, в религиозных общинах, в философских обществах и в целых культурных движениях люди будут сосредоточиваться на последних, священных истоках своей жизни; они будут созерцать жизнь своего сердца и судить о нем, — каковым оно должно быть, и каким оно оказалось в действительности, и чего ему недостает... Чем серьезнее, чем ответственнее, чем глубже, чем искреннее будет этот пересмотр, тем лучше. Ибо бедствия нашего времени велики; и опасность можно будет преодолеть только тогда, если будет захвачена последняя глубина человеческой души, если человечество опять проложит себе путь к Богу. Здесь дело совсем не только в «моральном перевооружении», в этих скудных и вымученных словах, обозначающих новую и дешевую моду и обеспечивающих в лучшем случае укрепленную закулисную дисциплину. Человечество нуждается в обновлении духа и облагорожении инстинкта, в возвращении к евангельской вере, а не в «чистых перчатках», обещаемых антихристом.

Обновление, предстоящее нам, должно составить целую эпоху в истории. Ибо старые дороги исхожены, и прежнее строение акта, творившего культуру, привело нас к ужасным, чудовищным проявлениям внутренней жестокости и внешней техники. И близится время, когда мы все будем помышлять только о внутреннем обновлении и будем искать Божией помощи и спасения.

Поэтому наше время есть время поворота. Никогда еще отрицательные силы человеческого существа не выступали с таким дерзновением, так самоуверенно, с таким самосознанием; никогда еще они не делали таких вызывающих попыток захватить власть над миром; никогда еще человек не располагал такими техническими возможностями, никогда еще он не владел такими разрушительными средствами... В мире намечается перелом; может быть, он уже совершается. Прежнее равновесие утрачено. И той худшей опасности, которая нам грозит, мы можем противостоять только при условии внутреннего обновления...

И первые признаки начинающегося обновления мы узнаем в том своеобразном излучении, которое будет исходить от обновленных людей, в этих лучах живой доброты, сердечного созерцания, совести и мужественно-спокойной веры. Ибо нельзя приходить в со-

прикосновение с этими последними сферами человечески-божественной глубины, не пробудив в своем инстинкте живой духовности, не оживив в себе христианского сердца со всей его дивной энергией и прозорливостью. А живое сердце посылает в мир свои лучи; и эти исходящие из него лучи не просто человеческие, но божественно-духоносные...

Все чаще слышатся голоса, утверждающие, что человечество может спастись только через «Новое откровение...» Как если бы данное нам откровение Христа было «исчерпано» или «изжито»; как если бы человечество уже исходило Его пути — пути богосыновства, благодарности, сердечного созерцания и живой доброты, — и они не привели ни к чему... Как если бы современный кризис был не нашим кризисом, а кризисом Господа Бога, потому что Он открыл нам «слишком мало» или «слишком давно» и теперь должен поторопиться и восполнить упущенное. А в действительности это мы не сумели воспринять данное нам Откровение и зажить им по-настоящему...

Лучи божественного Откровения не были отняты у нас. Они светят нам и ныне, как в начале; и мы имеем задание — верно воспринять эти лучи и зажить ими. Нам надо найти религиозный акт верного строения, который позволит нам совершить это так, чтобы эти лучи не только светили нам, но излучались через нас и из нас самих, из нашего сердечного созерцания, соединяя нас с другими людьми, освещая нам близкое и далекое будущее и направляя нашу земную жизнь.

Современный человек должен увидеть и убедиться, что его судьба зависит от того, что он сам изучает в мир, и притом во всех сферах жизни. Он должен удостовериться в том, что дело идет о его душевном очищении, об оживлении и творческом изживании его сердца. Потому что заглохшее и омертвевшее сердце бессильно и слепо, и когда оно обращается к жизни, то оно не может вложить в нее ничего хорошего.

Человеческая культура может быть обновлена только живым, излучающим сердцем, ибо только в нем зарождаются новые творческие идеи, только ему дается очевидность.

НАШИ ЗАДАЧИ*

Выходит на правах рукописи
Рассылается руководством
Русским Обще-Воинским Союзом чинам Союза
Еженедельный листок только для ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Редакция настоящих листков не проводит в них никакой доктрины, считая это политически вредным. После тридцатилетнего рабства России нужны не доктринеры, выучившие наизусть десяток чужих, идеологических или программных тезисов и намеревающиеся насильственно и монолитно калечить ими русскую жизнь, а люди, умеющие самостоятельно наблюдать и мыслить, способные к собственным воззрениям и независимым убеждениям. Поэтому наши краткие статьи должны рассматриваться лишь как оселок для оттачивания собственного мышления и характера.

Национальная Россия находится сейчас в периоде великого искания: ей нужны новые воззрения и новые формы, и в этом главное.

14 марта 1948 года

1948 год
«ОДИН В ПОЛЕ — И ТОТ ВОИН»

Борьба продолжается. Знамена не свернуты. Правило «Один в поле — и тот воин» остается в полной силе Необходимо обновить и укрепить службу связи; договориться об учете обстановки и ближайших задачах.

Все наши основные идеи оправдались: они верны и непоколебимы, менять нам нечего. Служение России, а не партиям (даже тогда, если кто-нибудь вступил в партию). Борьба за освобождение нашего народа от антинациональной тирании, террора и позора. Единство и неделимость России. Отстаивание свободной православной церкви и национальной культуры. Отвержение всяческого тоталитаризма, социализма и коммунизма. Верность совести и чести до самой смерти.

*Фрагменты взяты из Собрания сочинений И.А.Ильина в 10 тт., т. 2, кн. 1. (М.: Русская книга, 1993).

Трудно предположить, чтобы кто-нибудь из нас верил в возможность существования России в республиканской форме. Но искренний и убежденный монархист не может не понимать, что Царя надо заслужить, что ему надо подготовить место в сердцах и на троне. Нельзя предавать Государя опять на изоляцию, измену и поругание. Верность требует от нас политического такта, самовоспитания, отбора людей чести и опыта.

Все остальные вопросы программы подлежат обсуждению.

1953 год
О ВОСПИТАНИИ В ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ

Нам не дано знать, когда и в каком порядке закончится революция в России. События развертываются медленно, слишком медленно для одного поколения. Мы не можем, не должны делать себе иллюзий; предстоят еще ложные, ответственные и мучительные события, смысл которых будет состоять в том, что всероссийское крестьянство овладеет изнутри государственным и военным аппаратом страны, сбросит или отодвинет устроившийся у власти слой международных авантюристов и начнет строить новую национальную Россию. Возможно, что из наших, старших поколений лишь немногие доживут до освобождения родины и лишь совсем немногие смогут принять участие в ее возрождении. Но именно это предвидение обязывает нас смотреть вперед и вдаль и готовить для новых русских поколений тот материал выводов и руководящих линий, который мы выстрадали и выносили за эти десятилетия и который поможет им справиться с их претрудной задачей. Мы должны высказать и письменно (по возможности и печатно!) закрепить в отчетливых и убедительных формулах то, чему нас научила история, чему нас умудрила наша патриотическая скорбь.

Грядущая Россия будет нуждаться в новом, предметном питании русского духовного характера; не просто в «образовании» (ныне обозначаемом в Советии пошлым и постылым словом «учеба»), ибо образование, само по себе, есть дело памяти, смекалки и практических умений в отрыве от духа, совести, веры и характера. Образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его; ибо оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он, — бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, — и начинает злоупотреблять. Надо раз навсегда установить и признать, что безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная «образованность» вне веры, чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации.

Новой России предстоит выработать себе новую систему национального воспитания, и от верного разрешения этой задачи будет зависеть ее будущий исторический путь.

Мы видели, как русская интеллигентская идеология 19-го века подожгла Россию, вызвала великий пожар и сама сгорела в его огне. Мы знаем также, что русский народ жив и будет восстанавливать свое государство на пепелище революции. Мы же, русская интеллигенция, кость от кости русского народа, дух от духа, любовь от его любви и гнев от его гнева; — мы, никогда не верившие ни в какую «послепетровскую» пропасть, якобы отделившую нас от нашего народа, и ныне не верящие ни в какой «разрыв» между внутренней и зарубежной Россией, — мы обязаны осознать причины нашего государственного крушения, найти его истоки в строении и укладе русской души, обрести и в самих себе эти больные уклоны и преодолеть их (все эти национальные заблуждения и соблазны, все это больное наследие уделов, татарщины, сословности, крепостничества, бунтов, заговорщичества, утопизма и интернационализма), — преодолеть и вступить на новый путь.

Россия выйдет из того кризиса, в котором она находится, и возродится к новому творчеству и новому расцвету — через сочетание и примирение трех основ, трех законов духа: свободы, любви и предметности. Вся современная культура сорвалась на том, что не сумела сочетать эти основы и блюсти эти законы. Она захотела быть культурою свободы и была права в этом; но она не сумела стать культурою сердца и культурою предметности, — и это запутало ее в противоречии и привело ее к великому кризису. Ибо бессердечная свобода стала свободой эгоизма и своекорыстия, свободой социальной эксплуатации, а это повело к классовой борьбе, к гражданским войнам и революциям. А беспредметная и противопредметная свобода — стала свободой беспринципности, разнуздания, безверия, «модернизма» (во всех его видах) и безбожия. Все это связано взаимно; все это есть единый процесс, приведший к великому кризису наших дней. Реакцией на это явился зажим бессердечной и беспредметной свободы в государственно-партийные, диктаториальные тиски, — то коммунистические, то буржуазно-националистические. Этот бюрократически организующий зажим должен был бы, казалось, устранить известные антисоциальные проявления свободы, злоупотребления ею и водворить большую социальность при несвободе. На самом же деле несвобода (отрицательная функция) ему удается вполне, а большая социальность (положительная, творческая функция) — не удается ему: на место прежней свободной несоциальности водворяется новая несвободная антисоциальность, и народ попадает в наихудшие и наитягчайшие условия жизни, известные в истории. Социализм и коммунизм отнимают у людей свободу и не дают им ни социальной справедливости, ни духовного творчества.

Это объясняется тем, что осуществить социальную справедливость могут только люди с сердцем и с предметною волею, ибо справедливость есть дело живой любви и живого совестного созерцания, т.е. предметно надстроенной и устроенной души. Ошибочно принимать справедливость за равенство, ибо справедливость есть предмет-

ное неравенство людей. Наивно воображать, будто достаточно последовательной доктрины и последовательного рассудка для того, чтобы справедливость была найдена и водворена и чтобы люди начали новую социальную жизнь. Ибо рассудок без любви и без совести, неукорененный в живом созерцании Бога, есть разновидность человеческой глупости и черствости, а глупая черствость никогда еще не делала людей счастливыми.

Из трех великих основ всякой человеческой жизни и культуры — свободы, любви и предметности — ни одна не может быть упразднена или упущена: необходимы все три и все три обусловливают одна другую взаимно. Если бессердечная свобода ведет к несправедливости и эксплуатации, то беспредметная свобода ведет к духовному разложению и социальной анархии. Но бессердечная и беспредметная несвобода ведет к еще более тяжкой рабской несправедливости и глубокой деморализации. Свобода необходима человеческому инстинкту и духу, как воздух телу. Но она должна быть наполнена жизнью сердца и предметной воли. Чем больше сердца и предметной воли у человека, тем менее опасны ему соблазны свободы и тем больший смысл она приобретает для него. Спасение не в отмене свободы, а в ее сердечном наполнении и предметном осуществлении.

Именно этим определяется путь грядущей России. Ей нужно новое воспитание: в свободе и к свободе; в любви и к любви; в предметности и к предметности. Новые поколения русских людей должны воспитываться к сердечной и предметной свободе. Эта директива — на сегодня, на завтра и на века. Это единственно верный и главный путь, ведущий к расцвету русского духа и к осуществлению христианской культуры в России.

Для того чтобы выяснить это до конца, необходимо сосредоточиться на идее предметности.

События последнего века показали нам, что свобода совсем не есть последняя и самодовлеющая форма жизни: она не предопределяет ни содержания жизни, ни ее уровня, ни направления. Свобода дается человеку для предметного наполнения ее, для предметной жизни, т.е. для свободной жизни в Предмете. Что же есть Предмет и что такое предметная жизнь?

Каждое существо на земле и каждое тело человеческое имеет некоторую цель, которой оно и служит. При этом можно иметь в виду чисто субъективную цель, зовущую человека к удовлетворению его личных потребностей и ведущую его к личному успеху в жизни. Но можно иметь в виду и объективную цель, последнюю и главную цель жизни, по отношению к которой все субъективные цели окажутся лишь подчиненным средством. Это есть великая и главная цель человека, осмысливающая всякую жизнь и всякое дело, цель на самом деле прекрасная и священная; — не та, ради которой каждый отдельный человек гнется и кряхтит, старается и богатеет, унижается и трепещет от страха, но та, ради которой действительно стоит жить на свете, ибо за нее стоит бороться и умереть. Для животного

такою целью является продолжение рода, и в служении этой цели мать-самка отдает свою жизнь за детеныша. Но у человека есть более высокая, духовно-верная цель жизни, на самом деле и для всех драгоценная и прекрасная, или, если собрать все эти определения в простой и скромный термин, — предметная.

Человеку стоит жить на свете не всем, а только тем, что осмысливает и освящает его жизнь и самую его смерть. Всюду, где он живет нестоящим, — пустыми удовольствиями, самодовлеющим накоплением имущества, кормлением своего честолюбия, служением личным страстям, словом, всем, что непредметно или противопредметно, — он ведет жизнь пустую и пошлую, и всегда предаст свою цель, как только встанет выбор между этой пустой целью и самой жизнью. Ибо он сейчас же рассудит так: спасу жизнь — останется надежда на удовольствия и приятности; погибну за удовольствия и за богатство — утрачу и их, и жизнь. Но если у человека есть предметная, священная цель жизни, то он мыслит обратно: если предам мою предметную цель, то потеряю и самый смысл жизни, а на что мне жизнь без смысла и святыни?...; — такая жизнь мне не нужна, а предметная цель священна и необходима и тогда, если моя личная жизнь на земле прервется.

22 мая 1953 г.

ЕЩЕ РАЗ О ВОСПИТАНИИ В ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ

Жить предметно — значит связать себя (свое сердце, свою волю, свой разум, свое воображение, свое творчество, свою борьбу) с такой ценностью, которая придаст моей жизни высший, последний смысл. Мы все призваны к тому, чтобы найти эту ценность, связать себя с нею и верно осмыслить ею наш труд и направление нашей жизни. Мы должны увидеть оком сердца предметное значение и назначение нашей жизни. Ибо в действительности мы все служим некоему высшему Делу на земле — Божьему Делу: «прекрасной жизни» по слову Аристотеля, «Царству Божьему» по откровению Евангелия. Это есть единая и великая цель нашей жизни, единый и великий Предмет истории. И вот, в его живую предметную ткань мы и должны включить нашу личную жизнь.

Мы найдем свое место в этой ткани, увидев с силою очевидности, что жизнь русского народа, бытие России — достойное, творческое и величавое бытие — входит в это Божье Дело, составляет его живую и благодатную часть, в которой есть место для всех нас. Кто бы я ни был, каково бы ни было мое общественное положение, — от крестьянина до ученого, от министра до трубочиста, — я служу России, русскому духу, русскому качеству, русскому величию; не «маммону» и не «начальству»; «не личной похоти» и не «партии»; не «карьере» и не просто «работодателю»; но именно России, ее спасению, ее строительству, ее совершенству, ее оправданию перед Лицом Божьим. Жить и действовать так — значит

жить и действовать согласно главному, предметному призванию русского человека; это значит жить предметно, т.е. службу превратить в служение, работу в творчество, интерес во вдохновение, «дела» освятить духом Дела, заботы возвысить до замысла, жизнь освятить Идеей. Или, что то же самое, — ввести себя в предметную ткань Дела Божия на земле.

Предметность противостоит сразу и безразличию, и безоглядному своекорыстию — этим двум чертам рабского характера.

Воспитать к предметности значит, во-первых, вывести человеческую душу из состояния холодной индифферентности и слепоты к общему и высшему; открыть человеку глаза на его включенность в ткань мира, на ту ответственность, которая с этим связана, и на те обязательства, которые из этого вытекают; вызывать в нем чутье и вкус к делам совести, веры, чести, права, справедливости, церкви и родины. Поэтому стать предметным человеком значит проснуться и выйти из гипноза бездействия и страха, растопить свою внутреннюю льдину и расплавить свою душевную черствость. Ибо предметность противостоит прежде всего безразличию.

Воспитать к предметности значит, во-вторых, отучить человека от узкого и плоского своекорыстия, от того «шкурничества» и той беспринципной изворотливости, при которых невозможно никакое культурное творчество и никакое общественное строительство. Стать предметным человеком значит преодолеть в себе примитивный и безоглядный инстинкт личного самосохранения, тот наивный и циничный эгоизм, которому недоступно высшее измерение вещей и дел. Человек, не обуздавший своего животного себялюбия, своего практического эгоцентризма, не открывший себе глаза на свое призвание — служить, не научившийся преклоняться перед высшим Смыслом и Делом, перед Богом, будет всегда существом социально опасным. Так предметность освобождает душу не только от душевного безразличия, но и от скудности и пошлости личного эгоцентризма.

В этих двух требованиях содержится азбука предметного воспитания. И надо признать, что вне ее — всякое вообще воспитание мнимо и призрачно, и всякое вообще образование мертво и формально. Самое важное, что должна дать человеку семья и школа, — это предметно открытый взор, предметно живое сердце и предметно готовую волю. Человек должен видеть и разуметь ткань Божьего Дела на земле, — чтобы знать, как можно войти в нее и как следует включать себя в ее жизнь; — чтобы сердце его отзывалось на явления и события в этой ткани, как на важные, драгоценные, вызывающие радость и горе; — чтобы воля была способна и готова жертвовать этой ткани своим личным интересом и служить ей не за страх и не за долг, а за любовь и за совесть.

Ныне, как, может быть, еще никогда, Россия нуждается в таком воспитании. Ибо ранее в России была жива религиозная и патриотическая традиция такого духа и такого воспитания. А ныне старые традиции порваны, а новые еще не завязались и не сложи-

лись. Завязать и укрепить их и должна система предметного воспитания.

Духовная предметность души является, как сказано, выходом из безразличия и своекорыстия. Но этим преодолением, которое имеет лишь отрицательное, а не положительное значение, предметность не определяется и не исчерпывается. По существу же идея предметной жизни и предметного человека может быть описана так.

Преодолев свое безразличие, человек должен найти себе настоящее и достойное содержание жизни. Он должен цельно полюбить нечто такое, что на самом деле заслуживает цельной любви и преданного служения. Это значит, что настоящая предметность имеет два измерения: субъективно-личное и объективно-ценностное. Первое измерение, субъективно-личное, определяет, действительно ли я предан моей жизненной цели, искренен ли я в этой преданности, целен ли я в этой искренности и, наконец, действую ли я согласно этой преданности, искренности и цельности. Второе измерение, объективно-ценностное, определяет, не ошибся ли я в выборе моей жизненной цели, действительно ли мой «предмет» предметен, действительно ли моя цель священна и правда ли ею стоит жить и за нее стоит бороться и, может быть, умереть. Ибо в жизни возможны разные пути и перепутья.

Так, возможно, что человек субъективно «предметен», а объективно нет. Это значит, что он страстно, искренно и деятельно предан ошибке, напр. какому-нибудь вредному, обольстительному учению, ложной политической цели, нелепой и лукавой вере... Тогда возникает страстное и искреннее кипение в пустоте или соблазне. Но возможно и обратное — когда человек высказывается в пользу верной цели, которою действительно стоит жить и за которую стоит бороться до смерти, но сам он относится к ней холодно, не имея для нее ни любви, ни жертвенности, ни борьбы. Тогда возникает верная формула Предмета, не больше, а может быть, еще и аффектированная декламация о Предмете, верная по содержанию, но фальшивая по чувству и скользко-предательская в жизни. В-третьих, возможно и такое положение дела, при котором субъективно-холодный человек холодно разговаривает о предметно неверных или соблазнительных целях жизни. Однако верна и духовно-значительна четвертая возможность, когда человек искренно, цельно и деятельно предан предметной цели, т.е. Делу Божьему на земле, напр. церкви, науке, искусству, духовному воспитанию своего народа, организации справедливой жизни, спасению своей родины, выработке свободного и справедливого права. И эта возможность есть единственно верная.

Тогда душою человека владеет двойная или подлинная предметность. Она захватывает его душу, осмысливает его жизнь, делает его цельным и огненным и придает его жизни религиозный смысл, даже и тогда, когда он сам себя не считает ни верующим, ни церковным, — ибо сокровенная религиозность глубже явной и незримая церковь обширнее зримой. Такой человек переживает свой Предмет сразу — как далекую цель, как объективное — будущее — желанное

событие, и в то же время — как близкую реальность, как вдохновляющую его силу, как подлинную ткань бытия, которая захватывает и его личные силы. Настоящий человек ищет в своей жизни прежде всего предметности, т.е. Дела Божьего на земле; он углубляет до него каждую жизненную задачу, каждое жизненное отношение; он освещает из него все дела, исходит из него, как из задания, и восходит к нему, как к цели.

Все это придает ему особый дух — дух искания, ответственности и служения, без которого человек остается обывателем или карьеристом, слугою своих страстей или медиумом чужих влияний, а может быть, и хуже — лисой, хамелеоном и предателем. По духу искания, ответственности и служения предметные люди легко и быстро узнают друг друга, и тот, кто раз приобщился ему, быстро научивается без ошибки узнавать его: он узнает его и у Конфуция, и у Сократа, и у Марка Аврелия, и у Вильгельма Оранского, и у Карлейля; а у нас в России он узнает его и в православном старце, и в Петре Великом, и в Суворове, и у праведников Лескова, — и будет прав, ибо этот дух действительно создавал и строил Россию. И вот каждое такое открытие, каждое такое знакомство будет ему духовной радостью и будет вызывать в нем желание — включить узнанное в свою жизнь; а если это живой человек, то связаться с ним крепко и надолго полнотою доверия и братским сотрудничеством. Предметные люди — братья перед Лицом Божиим; они суть как бы живые нити Божьей ткани на земле; или — живые струи Его потока; граждане Его медленно возрастающего Царства. И именно этим объясняется присущее им стремление — пробудить в других чувство предметности, сознание Предмета, искание предметности, чувство предметной ответственности...

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВА. О СОВЕРШЕННОМ В ИСКУССТВЕ*

Глава первая
ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?

Искусство есть служение и радость.

Служение художника, который творит свои создания для того, чтобы вовлечь и нас в сослужение с собою.

Радость художника, создающего и, вот, создавшего в своем произведении новый способ жизни и подарившего нам, воспринимающим его создание, эту незаслуженную нами радость...

Понимают ли это люди? Помнят ли ныне об этом народы, мятущиеся и соблазняемые в духовной смуте? Знают ли они вообще, что такое служение и радость?

Радость...

Она доступна не всякому; и мало кто ищет ее. Ибо она от духа и предполагает в человеке торжество духовного начала. Она родится из любви, страдания и одоления; из души, прожженной и очищенной огнем духа. Не из скуки, когда душа томится в безразличии и требует развлечения; не из пустой души, не знающей, чем заполнить свою пустоту; не из утомления и переутомления, требующего все новых раздражений и небывалой остроты. И тем, кто умеет только томиться в безразличии, скучать в пустоте и переутомляться, радость недоступна.

Она доступна лишь тому, кто искал не мнимое, подлинное совершенство, испытал его и пленился им; искал его во всем — в себе и в людях, в человеческих делах и в природе, в знании и в созерцании, в небесах и на земле; и вот, одолев препятствия и трудности, пройдя через страдания и разочарования, одолел и обрел. Он дострадался до победы и озарения; и радость его тем подлиннее и глуб-

* Фрагменты взяты из Собрания сочинений И.А.Ильина в 10 тт., т. 6, кн. 1, (М.: Русская мысль, 1996). Книга впервые издана в 1937 году «Русским академическим издательством» в Риге и состоит из глав: «Что такое искусство?», «Кризис современного искусства», «О духовности в искусстве», «Талант и его соблазны», «Творческое созерцание», «Идея творческого акта», «Проблема художественности», «Критерий художественного совершенства», «О художественном предмете», «Применение критерия», «Школа художественности», «Борьба за художество».

же, тем чище и трепетнее, чем сильнее была его любовь и чем напряженнее были его искания.

Вот почему радость есть духовное состояние; она ликует творческим ликованием; она сияет Божьими лучами. И настоящее искусство есть именно такая радость. В нем удовлетворяется жажда совершенного, воля к художественному и прекрасному. Оно есть искреннее пение из глубины; оно — дитя целомудренного вдохновения; оно есть выношенное в духе видение; оно необманный свет, данный людям.

Не смолкли и никогда не смолкнут голоса Шиллера и Бетховена:

Радость, искра Божества,
Дщерь прелестная небес!..

И в этих словах нет ни метафоры, ни преувеличения. Нет, это простая и точная истина. Радость есть достояние того, кто умеет взывать из глубины, духовно страдать и духовно одолевать, кому за это открываются Божьи лучи в земных явлениях.

Служение...

Все великое в искусстве родилось из служения: служения свободного и добровольного, ибо — вдохновенного. Не из службы или прислуживания, не из властного «заказа», воспринятого рабскою душою. А именно из ответственного, благоговейного служения.

Истинный художник не может творить всегда. Он не властен над своим вдохновением; и вдохновение, — это горение сосредоточенной души, эта окрыленность чувства и видения, эта молниеносность ока и царственная власть духа над пространствами души, — непременно должно покидать его для того, чтобы опять вернуться... И если бы оно не покидало его, то земная жизнь его быстро сгорела бы в этом пламени... Но когда он вдохновлен, он пребывает в служении и сам знает об этом:

Но лишь Божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел...

С этого мига он позван и призван, ибо «Аполлон» «потребовал» его «к священной жертве» (Пушкин). Позванный и призванный, он чувствует себя предстоящим. И когда он предстоит, то перед ним не много произвольных возможностей, а одна-единая, художественная необходимость, которую он и призван искать и найти, и в обретении которой состоит его служение.

Творя, он видит; видит очами духа, которые открылись во вдохновении. Он творит из некой внутренней, духовной очевидности; она владеет им, но он сам не властен над нею. Именно потому его творчество не произвольно; и вносить свой произвол в созидаемое — по каким бы то ни было посторонним соображениям («прислуживания», «моды» или «успеха») — ему не позволяет именно его служение, его чувство духовной и художественной ответственности.

Естественно, может возникнуть вопрос: чему же предстоит и чему служит художник?.. Великие русские поэты давно уже высказались об этом и множество раз возвращались к своему слову; но им мало кто верил: все думали — «аллегория», «метафора», «поэтическое преувеличение». Они выговаривали — и Державин, и Жуковский, и Пушкин, и Лермонтов, и Баратынский, и Языков, и Веневитинов, и Тютчев — и выговорили, что художник имеет пророческое призвание; не потому, что он «предсказывает будущее» (хотя и это возможно), и не потому, что он «обличает порочность людей», а потому, что через него прорекает себя созданная Богом сущность мира и человека. Ей он и предстоит, как живой тайне Божией; ей он и служит, становясь ее «живым органом» (Тютчев)... Ее вздох есть его вдохновение; ее сокровенная глубина есть его художественный Предмет; ее пению о самой себе он и призван внимать, кто бы он ни был: музыкант, поэт, живописец, скульптор или архитектор.

Художник воспринимает эту тайну на сокровенных путях, чаще всего недоступных и непостижимых для него самого; так что нередко он сам не знает, что зарождается, зреет и развертывается в творческой мгле его души... Таинственно вынашивает он эту тайну:

Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум.

(*Тютчев*)

А когда он выговаривает созревшее, то оно — это Главное, это Сказуемое, этот прорекающийся «отрывок» мировой сущности, ради которого и творится все художественное произведение, — оно является в прикровенном виде: оно скрыто за чувственным обличием искусства. Оно скрыто за звуковой тканью симфонии или сонаты, оно незримо присутствует в их мелодиях, гармониях, в их ритме, насыщая их, вздыхая и стеная ими, вдохновляя их гениального исполнителя совершенно так, как оно вдохновляло сначала самого композитора. Или же оно скрыто за поэтическим словом, сверкая через него и из него, выпевая себя в избранных и незаменимых словах, властно выделяя ритм, властно завершая строчку рифмою. Или же оно скрыто за живописным образом картины, за линиями, которые оно провело рукою художника, за красками, которые им одобрены, за образами, которые им — этим таинственным Сказуемым, этим художественным Предметом — потребованы и одобрены...

Внешнее обличие искусства — и его осязаемая «материя», и то закономерное сочетание его средств, которое многие любят рассматривать «отвлеченно» и называют «формой», — все это есть лишь верная риза Главного, Сказуемого, Предмета, т.е. прорекающейся живой тайны. Может быть, даже более чем «риза»: это как бы глядящее «око», в коем сокрыта и явлена прорекшаяся душа произведения. Художник как бы «вынашивал» и «выносил» эту «душу», это Главное: он выстрадал и создал для него верное «око»; а мы призваны смотреть в это око извне и самостоятельно постигать, что в нем явлено и сокрыто. Не следует думать, будто эта «риза» есть не более чем праздная ткань, лежащая в случайных, более или менее приятно

выглядящих складках; или будто это «око» есть не более чем бездушный, искусственно-стеклянный глаз. Нет, за одеждою скрыто Главное: она есть его одежда, его облачение или риза. И за глазом скрыто Главное; ибо это живой глаз, орган «души»; он есть верное око глядящего через него духа. Вот так обстоит и в художественном искусстве: и в нем все чувственное, внешнее есть лишь верный знак прорекающей через него главной тайны...

Художник не только «прорекает». Ему дана власть населять человеческие души новыми художественно-духовными медитациями и тем обновлять их, творить в них новое бытие и новую жизнь. И эта власть есть его *служение* и его *радость*...

По сказанию древних греков, музыка Орфея была так прекрасна и гармонична, она обладала такой магическою и зиждительною силою, что от звуков ее сами собой сложились стены его города. Истинное искусство всегда подобно музыке Орфея, ибо ему присуща магическая и благодатная мощь, строящая дух и укрепляющая его силы. Художественное искусство, заслуживающее своего имени, есть нечто от духа и для духа; а дух имеет свой лик, свои грани и стены, свои законы и ритмы, свои требования, свою силу и свою мудрость. Вот почему художники — наши душевные врачи и воспитатели. Горе им и горе нам, если они вместо благих средств дают нам яд; и вместо благих путей ведут нас к распаду и гибели! Но если они верны своему призванию, то дело их становится *служением* и *радостью*.

Глава вторая
КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Современное «искусство» перестало быть служением и притом священно-служением; оно стало забавою, созданною для возбуждения и раздражения, не то развратною потехою, не то беспринципным промыслом. Оно творится и расцветает в атмосфере художественной бессовестности и духовной безответственности: здесь все позволено, что тешит несытую страсть или извращенный каприз автора; здесь все допускается, что может ослепить, раздражить, развлечь пресыщенную публику.

В этой атмосфере беспредметного «дерзания» и беспринципной вседозволенности (подлинная стихия мировой смуты!) слабеет и угасает великое начало художественного вкуса. Не того «вкуса», который присущ каждому обывателю, когда он для себя безапелляционно решает вопрос о том, что ему сегодня, сейчас и здесь «нравится» и что ему вдруг почему-то «разонравилось». Но того вкуса, который равносилен в искусстве голосу совести; который ответственно ищет совершенного и именно потому властно отметает случайное и несовершенное, как бы «приятно», льстиво и эффектно оно ни было; того вкуса, который ищет во что бы то ни стало точного и прекрасного воплощения для духовно значительной темы. Этот вкус, как властный цензор, стоит на страже поднимающихся «снизу» наитий и содержаний, допуская одни к осуществлению и отсылая другие назад в темную глубину.

Этот вкус есть сам по себе явление живой религиозности в человеке, хотя бы сам человек и не сознавал или даже отрицал его религиозную природу. Этот вкус есть сразу и трибунал бессознательной духовности, и напряженно-требовательная воля, и творчески выбирающая цензура, и художественная прозорливость, и чувство меры и прекрасности. И если он есть воля, то воля к духовной значительности создаваемого творения, к его органическому единству, к его естественности и художественной законченности. И если он есть трибунал, то это тот самый трибунал, перед лицом которого чувствовал себя двадцатичетырехлетний Пушкин, когда он, с негодованием отвергая грубую и глупую поправку цензора, в письме к Вяземскому восклицал: так «я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать!»

Где же эта совесть и такая совесть у современных «искусников» и «искусителей»? У них, которым «все дозволено»? Где эта верность художественному долгу, это острое чувство своей художественной ответственности, своей власти и ее пределов, это сознание, что художественно несовершенное — непозволительно, а может быть, даже и преступно перед лицом некоего Судии? Где все это в искусстве модернизма?

Кризис современного «искусства» состоит в том, что оно утратило доступ к главным, священным содержаниям жизни и погасило в себе художественную совесть. О главном, о мудром, о священном искусству модернизма нечего сказать; ибо те, кто его творят, не испытывают, не воспринимают, не видят этого Главного. Они одержимы личною прихотью и в лучшем случае личною химерою, полагая, что яркое и эффектное выявление ее создаст настоящее искусство. Но именно поэтому их «искусство» или просто удовлетворяется ничтожным и пошлым (модернистическая живопись, французские романы наших дней, предреволюционная поэзия Игоря Северянина, беллетристика Андрея Белого, новейшая архитектура европейских городов, подавляющее большинство кинематографических пьес, музыка Стравинского), или же пытается выдать свои создания за какие-то высшие «пророческие» прозрения и достижения, по-хлыстовски смешивая блуд и религию (поэзия Александра Блока и Вячеслава Иванова, «экстазы» и «мистерии» Скрябина, и вообще все течения русского искусства, зараженные духом В.В.Розанова). Читая это, слушая это, видя это, нельзя не испытывать чувства стыда и тоски: мучительно стыдно, что они не стыдятся «творить» так и такое, что они сознательно и открыто не постеснялись погасить в искусстве тот священный трибунал Духа и вкуса, который в душе помешанного угасает невольно, катастрофически, вследствие напора безвыходно кипящих страстей.

Поистине большевистская революция осуществила в имущественных, государственных и общекультурных отношениях именно то самое упоение вседозволенностью, именно тот самый бред страстей и похоти, именно ту самую идеализацию греха, именно то самое разнуздание инстинкта, которое в искусстве осуществляло у нас это предреволюционное поколение «модернистов». И большевистское

искусство, начиная от Мейерхольда и кончая Маяковским, — только довершило по-своему все это разложение и проявило этот кризис с вызывающим бесстыдством духовного «помешательства».

NB *И.Ильин горячо и остро отвергает искусство модернистов, за ними большевистское искусство Маяковского и Мейерхольда, видя в новом языке и новых формах только разложение. И в этой боли не только эстетическое неприятие современного искусства, но и тревога о потере духовных ориентиров в искусстве вообще. Этой тревоге нельзя не выразить сочувствие. И все-таки уже в веке XXI, осмысляя то, что создано авангардом, видишь не только разрушение, но и попытку рождения нового смысла в новой форме. Вот как в книге «Что такое искусство?» написала современный искусствовед, специалист в художественной педагогике В.В.Алексеева: «Как древний сфинкс загадывал загадки, «квадрат» Малевича нам загадал свой смысл. «Кто» он? Иль «что»? Быть может, он — провал квадратный в глубину Вселенной, где звезды не зажглись? А может быть, «Конец»? «Начало» как черная доска, где не начертан Смысл?» Даже заявленная бессодержательность может оказаться содержанием, заставляющим раздумывать о его смысле. И этот процесс фиксирует живой художественный процесс, чутко реагирующий на изменчивость бытия. Даже эти произведения, в которых смысл не кажется очевидным, трудно назвать утилитарными. Очевидно, даже они представляют собой изменившуюся форму духовности, пробивающуюся к неутилитарным вечным ценностям.*

Когда в XX веке в советской России появились такие произведения, как «Тихий Дон» М.Шолохова, «Русский характер» А.Толстого, «Живые и мертвые» К.Симонова, «Сотников» В.Быкова, «Жизнь и судьба» В.Гроссмана, «Дом на набережной» Ю.Трифонова, «Калина красная» В.Шукшина и целый ряд других литературных произведений, — мы не можем не увидеть их глубокую духовную связь с традициями русской литературы. Традиция не оборвалась, несмотря на огромные изменения, произошедшие в государственном устройстве и общественном сознании. Все эти произведения пронизаны раздумьями о сути и смысле жизни человека, оказывающегося в вихре исторических и жизненных перипетий. И если бы И.Ильин смог их прочитать, возможно, он был бы рад увидеть союзников в борьбе за сохранение культурных и духовных ценностей там, где ожидал их встретить.

Быть может, весь этот разлив предреволюционного модернизма, действительно «пророчески» предвосхищавшего грядущее всеобщее революционное разложение страны, не достиг бы такого размера и глубины, если бы у нас стояла на высоте художественная критика. Но художественная критика или отсутствовала, или страдала тою же духовною слепотою и тем же извращением вкуса; не было мужественных прозорливцев, не было сильных и глубоких судей, которые вскрыли бы этот недуг, разоблачили бы его опасную и гибельную сущность, пригвоздили бы всю нецензурность и соблазнительность этого мнимого, этого помешанного «искусства». И понятно, что слепота — или потакание — профессиональной критики оставляла в беспомощности или повергала в прямой соблазн читающего и слушающего обывателя. В искусстве царил своего рода психоз безвку-

сия, извращения и претенциозности; и этот психоз, предвыявляя ближайшие судьбы России, беспрепятственно распространялся, постепенно приучая людей не поддерживать своего духовного хребта и не дорожить им, предаваться всем соблазнам, принимать всерьез все свои капризы и выверты и наслаждаться этой художественной «психастенией» (душевным расслаблением).

Пока человек будет скитаться по земле, любить и страдать, трудиться и бороться, он будет закреплять в искусстве тайные мечты и прозрения своего сердца и искать в художественных образах радости, целения и умудрения. Но только духовная мечта будет давать ему радость и целение; и только духовное прозрение будет его целить и умудрять. Ибо бездуховное и противодуховное искусство сеет лишь соблазн, расслабление и заразу. И когда мы видим ныне, как пали на наших глазах «градские стены» русского духа, как исказился лик России, как извратились законы и ритмы ее жизни, мы должны видеть и разуметь, что произошло это от разложения и расслабления в нас бессознательной духовности.

Русский художественный гений не угасал и не переставал творить за эти годы предреволюционной и революционной смуты. С нами вместе, и здесь, в зарубежье, и там, в подъяремье, он продолжал жить, страдать и творить на всех путях и языках искусства. Но слышим ли мы его? Узнаем ли мы его? Научились ли мы отличать художественное от гнилостного, великое от пошлого, целительное от погибельного, мудрость от соблазна? Или нам нужны еще дальнейшие очистительные испытания и страдания?

Умудримся же и научимся! России нужен дух чистый и сильный, огненный и зоркий. Пушкиным определяется он в нашем великом искусстве; и его заветами Россия будет строиться и дальше.

Глава третья
О ДУХОВНОСТИ В ИСКУССТВЕ

Только гений родится с неошибающимся вкусом. Все остальные люди должны воспитывать и очищать свой вкус для того, чтобы приблизиться к художественному искусству — и в творчестве, и в восприятии, и в критической оценке. Это не всегда легко дается; многие не знают, как к этому и приступить. Огромное же большинство людей совсем и не думает об этом, полагая, что в искусстве царит субъективный произвол и личная утеха.

Для того чтобы все наши разговоры и писания об искусстве имели смысл, для того чтобы судить и спорить о художественности, необходимо, чтобы люди научились и приучились сосредоточиваться не на том, что кому в искусстве нравится, а на том, что в искусстве на самом деле хорошо.

Применительно к художественной критике это не требует особых пояснений, ибо, действительно, какое наивное самомнение должен носить в душе критик для того, чтобы полагать, будто все только и ждут его субъективного одобрения или неодобрения... Ко-

му, кроме его домашних и друзей, интересно знать о том, что ему понравилось и что не понравилось? Что за притязательность, что за развязность — печатать в газетах и журналах о своих личных настроениях по поводу созданий чужого искусства! Ведь это не более чем автобиографический материал, опубликовываемый при жизни для всеобщего сведения.

Если суждения об искусстве сводятся к тому, что кому «нравится — не нравится», то какой смысл могут иметь разговоры или тем более споры в этой области? Разговоры сведутся к более или менее любезному взаимному выслушиванию душевных излияний; а споры окажутся совершенно невозможными или бессмысленными: ибо спор предполагает нечто третье, объективное, предмет, о коем идет речь, и далее — встречу мнений об этом предмете. А между тем суждение «мне-нравится» имеет в виду не произведение искусства, а личное состояние человека, который пережил субъективно приятные впечатления и теперь о них сообщает или даже разглагольствует. И если один из мнимоспорящих сообщает: «мне-это-понравилось», а другой говорит: «а-мне-это-не-понравилось», то второй нисколько не возражает первому и никакой встречи не происходит; люди просто изливаются в словах, и потоки их излияний текут друг мимо друга. Если это называть «спором», то это «спор», основанный на недоразумении, безнадежный и бессмысленный.

Искусство и художественная культура здесь еще не начинались. Люди заняты здесь собою, своими впечатлениями и настроениями, а до произведения искусства и (главное!) до художественности его им, строго говоря, нет дела.

«Как? — скажут мне. — Исключить из искусства отклик сердца и души?! Заглушить в себе жажду наслаждения и трепет приемлющего или отвращающегося чувства? Подавить в себе радостное, облегчающее «да!», или возмущенный протест, или, наконец, просто суждение личного, свободного вкуса? Что же, люди должны стать бесчувственными истуканами перед лицом искусства? Или холодными резонерами о «достоинствах» и «недостатках» произведения? Ведь это значит убить живую душу, влекущуюся к искусству... Что же от него останется, если это дыхание смерти победит в людях?!»

В этом гневном недоразумении, которое мне не раз приходилось выслушивать и в частных беседах, и на преподавательской кафедре, я всегда понимал и гнев, и источник недоразумения. Но для того чтобы недоразумение рассеялось, необходимо, чтобы сначала утих гнев...

О подавлении личного чувства, воображения и вкуса совсем не должно быть и речи. Искусство не нуждается ни в «истуканстве», ни в холодном резонерстве. Художник творит для живых, чувствующих и страдающих, духовно ищущих, томящихся людей; он творит, горя; он творит, чтобы осветить и зажечь. Он требует от зрителя и слушателя не бесчувственного внимания, а полного доверия и всей души, сохраняя за собой право по-своему овладеть ее душевными силами (чувством, воображением, волею, мыслью), напрячь их, наполнить их, зажечь, окрылить, осчастливить, обогатить — так, как этого по-

требует его предметное вдохновение. В этом — призвание, власть и ответственность всякого творящего художника.

Словом, о художественном «умерщвлении» «души, сердца, чувства или личного вкуса» совсем нет и речи.

Но тут-то все и начинается, ибо речь идет не об «умерщвлении» души, созерцания и вкуса, а об их художественном воспитании. Пока человек живет на земле, душа его остается личною и переживания ее будут «субъективными»; но личная душа может быть наполнена ничтожными содержаниями и значительными содержаниями; и переживания ее могут быть мелкими и глубокими, предметными и беспредметными. Огонь сердца необходим искусству; но если этот «огонь» есть не что иное, как вспышка личного темперамента, вызванная чисто личными обстоятельствами, то это не будет огонь духа, воспламененный художеством, а нечто иное, низшее и малоценное. Суждение личного «вкуса» должно оставаться свободным; но злоупотребление этою свободою в сторону личного произвола и безвкусия не приблизит человека к искусству, а удалит от него... Здесь обстоит так же, как и во всей духовной культуре: начало личной свободы есть не завершение дела, а только исходный пункт; оно должно быть еще духовно воспитано, верно направлено, священно насыщено.

Художественное воспитание личного восприятия и вкуса состоит прежде всего в том, чтобы люди приучились сосредоточиваться в искусстве не на том, что им «нравится», а на том, что в самом деле хорошо.

Есть старая и мудрая русская поговорка: «по милу хорош или по хорошу мил»... В ней заложена целая философия.

«По милу хорош» означает: мне нравится этот человек, этот поступок, это стихотворение, эта картина, а раз что «нравится», раз это мне мило и приятно, значит, оно и хорошо. Так судит обыватель, не живущий духовным измерением вещей и явлений; так судит толпа, не причастная духовной культуре.

«Для меня»... А на самом деле?!.

Замечательно, что душа человека созревает, прозревает и мудреет именно тогда, когда жизнь ставит ее перед этим вопросом во всей его значительности и остроте; когда в нее входит идея о том, что «нравящееся», «приятное», «милое» может быть и дурным, что помимо моего личного одобрения и совершенно независимо от него каждая вещь имеет свое объективное качество, свою настоящую подлинную ценность, свое предметное содержание, которого я, может быть, не сумел даже и воспринять, и свое предметное достоинство, которого я, может быть, не сумел оценить. В человеке начинает слагаться духовное миросозерцание и духовный характер с того часа, когда он поймет и прочувствует эту аксиому духовной культуры: не предмет качествует через мое одобрение, а мое одобрение качествует через верное признание предметного достоинства...

По мере того как душа человека одухотворяется, очищается и углубляется, ее эстетическое восприятие становится более острым, зорким и тонким, ее вкус — более благородным и требовательным, ее

суждение — более предметным и ответственным; и вот он уже с содроганием отходит от того, что прежде тешило, забавляло или услаждало его томившийся инстинкт и безвкусную нетребовательность.

Жизнь духа начинается именно в тот миг, когда человек постигает, что ему может нравиться плохое, а хорошее может ему и не нравиться; что далеко не все «милое» и «приятное» хорошо; и что надо духовно вырасти, надо духовно очистить и углубить свою душу до того, чтобы все хорошее на самом деле стало хорошим и для меня, т.е. чтобы оно «нравилось» мне. Наивно и слепо думать, что всякое стихотворение, которое «мне нравится», художественно; тягостно сознавать, что художественное произведение искусства, совершенство которого я «смутно чувствую», мне не нравится; обидно понимать, что я предпочитаю пошлые песенки глубоким и значительным гимнам; и радостно, бесконечно радостно видеть свою душу созревшею до поэзии Пушкина, до музыки Баха, до живописи Дионисия, до скульптуры Микельанджело Буонаротти, до греческого Парфенона... Напрасно думать, что искусство раскрывает всякому свои сокровенные глубины. Напротив, каждый из нас должен пройти через художественное чистилище; и не только единожды пройти, но всегда помнить о нем, не расставаться с ним, вновь и вновь проводить через него свою душу.

«По хорошу мил» означает: этот человек так хорош, это стихотворение настолько совершенно, эта картина настолько художественна, что душа моя побеждена их качеством и испытывает истинную, глубокую радость; я не могу не любить их, ибо они на самом деле хороши: здесь нет ни «иллюзии», ни «идеализации», ни пристрастия; ничто личное меня не ослепляет и не подкупает; я не «опьянен», не «соблазнен» и не «подкуплен»; помню эту опасность «превознесения сослепу», знаю, что это означает.

То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора,
Все, что к нему случайно подойдет...
(Граф А.К.Толстой)

И зная все это, отводя все это, удостоверяю: этот предмет так хорош, что верно воспринявший его преклонится перед ним и полюбит его.

Так, человек может «найти» и полюбить Тютчева, Глинку, Боттичелли, Метнера, Копо-ди-Марковальдо, Эйхендорфа, Шекспира или нового, еще неизвестного миру художника. Здесь подлинное качество предмета побеждает душу, а не душа привешивает ярлык мнимого качества к тому, что ей «пришлось по вкусу».

«Однако, — скажет кто-нибудь, — люди могут все же ошибаться!?»

Конечно, могут. Гарантий от ошибок личного вкуса нет. Но именно поэтому так полезно бывает человеку больно-пребольно обжечься несколько раз на ошибках своего собственного вкуса, чтобы понять различие между «мило» и «хорошо». Ибо, увы, то, что нам нравится,

бывает часто совсем не хорошо; а мимо того, что действительно хорошо, мы часто проходим равнодушно вместе с толпой. А между тем вся духовная культура и вместе с нею все великое искусство построено не на «по милу хорош», а на «по хорошу мил».

От ошибок личного вкуса нет гарантий. Но есть *верное и неверное направление воли, восприятия и вкуса в искусстве*. Неверно — искать и хотеть от искусства «наслаждения»; неверно — воспринимать произведения искусства лишь постольку, поскольку они «мне нравятся»; неверно — принимать свой личный душевный уклад, во всей его ограниченности и, может быть, художественной невоспитанности, за мерило «хорошего» в поэзии, музыке, живописи, скульптуре, архитектуре и танце. В искусстве существенно не «наслаждение» «приятным», а *верное восприятие художественной медитации*; и тот, кто пережил такое восприятие, тот поймет, что «Царь Эдип» Софокла, «Отелло» Шекспира, патетическая соната Бетховена C-moll, соната Шопена B-moll, мрамор Микельанджело «Давид», роман Достоевского «Бесы» не сулят никакого «наслаждения» «приятным», несмотря на то, что принадлежат к художественно значительнейшим произведениям человеческого искусства.

Надо приучить себя к тому, чтобы видеть значительное и великое в искусстве сквозь всякое «не нравится» и вопреки ему. Правильно и мудро предоставлять большим и бесспорным художникам («классикам») свою душу, чтобы они воспитали, углубили и облагородили ее вкус. Воспринимая произведения искусства, не надо прислушиваться к себе, к своим душевным состояниям, настроениям и «приятностям», требуя отдыха, развлечения, занятости или удовольствия! Так живет толпа: она требует игрищ и зрелищ, чтобы потешаться, хохотать или рычать. Истинное искусство зовет к иному: оно требует духовной сосредоточенности, духовных усилий, очищения, углубления; и обещает за это прозрение, мудрость и радость. *Надо забывать о себе в художественном созерцании*; не только о своих повседневных делах и настроениях, но и о своем так называемом «мировоззрении». Чем самозабвеннее душа отдается восприятию искусства, тем шире и глубже раскрываются навстречу ему ее пространства; чем доверчивее душа идет навстречу художнику, тем более она может получить от него. И при всем том никогда не следует доверять окончательно ни своему первому, ни даже второму «впечатлению». Суждение настоящего художественного вкуса гораздо глубже, чем обывательское «понравилось»: это суждение родится из глубины души, *ищущей совершенства и потерявшей себя в художественном восприятии*. Надо «утратить себя», чтобы найти художественный предмет; а это дается иногда не сразу и не легко.

Итак, разрешение основного вопроса состоит не в том, чтобы произведение искусства «нравилось», независимо от того, «хорошо» оно или «плохо» на самом деле: из этого возникает только безответственная притязательность, *вкус толпы*, равносильный почти всегда безвкусию, «мода» в искусстве и в последнем итоге *пошлость*. Но разрешение вопроса не состоит и в том, чтобы люди в холодном,

безразличном анализе доказывали друг другу, что «такое-то» произведение искусства создано согласно всем законам красоты, а «такое-то» — нет... Мало того, чтобы создание было «хорошо», надо, чтобы его художественное содержание проникло в самую глубину души, в человеческое чувствилище, к месторождению сокровенных и священных помыслов, туда, куда нисходит откровение и откуда исходит блаженство. Только тогда созерцающий поймет, что имел в виду Пушкин, когда писал:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах утомленья —
Вот счастье! вот права!
(Из VI. Пиндемонте)

Только тогда он поймет то дивное, незабываемое по радостности своей чувство, будто я всю жизнь ждал и жаждал именно этой мелодии, именно этой элегии, этой картины, будто «я сам все хотел создать их и только не умел»... Только тогда он поймет, почему нельзя останавливаться на личном «нравится», а надо идти дальше, уходя в созерцание Главного, входя в содержание художественно закрепленной медитации, постигая ее органическую связь с «формой» и обретая таким образом то *объективное совершенство*, которое уже не зависит от моего одобрения или неодобрения и не нуждается в нем, перед которым я сам оказываюсь *осчастливленным учеником*, а не тщеславным критиканом или резонирующим снобом.

Этот ответственный и глубокий подход наш к искусству важен не только для нас, зрителей и слушателей, но и для них, творящих художников. Мы не должны и не смеем требовать от них ни приспособления к нашим дурным и случайным вкусам, ни лести, ни заигрывания. Художник должен творить свободно; отнюдь не бессовестно, не безответственно, не произвольно; но по свободному вдохновению, без оглядки на толпу, без заботы о ее модах, вкусах, вожделениях и претензиях. Углубляясь в свою художественную медитацию, вынашивая свою главную, сказуемую тайну, находя для нее верные образы, звуки, линии, краски и слова, он не должен коситься на «нас», на наши возможные «рукоплескания» или развязные «свистки»: ибо он нам дарует; он нас учит, не уча; он нас ведет, не заставляя; он нам открывает, не навязывая. А мы не должны стоять вокруг него требовательной чернью, «бранить его» или «плевать на алтарь, где горит его огонь». Он должен быть уверен в нас, т.е. в том, что у нас есть воля и способность предметно и глубинно внять его художественной медитации; что мы не «суетимся», не «обывательствуем» и не «завистничаем» вокруг его созданий; что с нашей стороны его не ждет ни «суд глупца», ни «смех толпы холодной». И при всем том он должен помнить, что созданное им художественное создание воспитывает вкус толпы и возносит душу человека, вкус же толпы снижает и опошляет художественное творчество...

Глава шестая
ИДЕЯ ТВОРЧЕСКОГО АКТА

Настоящее, художественное искусство родится из свободного вдохновения, из той духовной напряженности, окрыленности и цельности, которые дают человеку высшую власть и открывают ему пути к художественному ясновидению. Эту напряженность, эту окрыленность, эту цельность нельзя вызвать ни по личному произволу, ни тем более по внешнему заказу и приказу. Смысл жизнь в том, чтобы любить, молиться и творить; а любить, молиться и творить можно только свободно. И вот, искусство есть *любовь, молитва и творчество*; и *без свободы* оно невозможно.

Но это требование «свободы» не означает, что искусству безразлично, что происходит в душе творящего художника. И это не значит, что художественное искусство может родиться из любого душевного хаоса, из «духовного безначалия», из нравственной распущенности, из волевого распада, из умственной лени, из ожесточенного сердца, из разнузданного воображения. Духовно ничтожный и душевно разложившийся человек никогда еще не создавал художественного произведения; и никогда не создаст его. Ибо художественное творчество и художественное искусство требуют от человека *верного творческого акта*. Философии искусства предстоит в будущем разрешить эту глубокую и дивную задачу: создать учение о творческом акте, и притом верном акте художника.

Каждый художник творит *по-своему*; по-своему созерцает (или не созерцает), по-своему вынашивает (или не вынашивает), по-своему находит образы, по-своему выбирает слова, звуки, линии и жесты. Этот самобытный способ творить искусство и есть его «художественный акт», — гибко-изменчивый у гения и однообразный у творцов меньшего размера.

В этом художественном акте могут участвовать все силы души — и такие, для которых у нас есть слова и названия (например, чувство, воображение, мысль, воля), и такие, для которых у нас, вследствие бедности языка и ограниченности внутреннего наблюдения, ни слов, ни названий *еще нет*...

Убедиться в этом многообразии и своеобразии творческого акта у различных художников не трудно. Каждый по-своему видит все: и внешний материальный мир, и внутренний мир души, и заумный мир духовных обстояний. По-своему видит и по-своему изображает...

Есть художественный акт обнаженного и кровоточащего сердца (Диккенс, Гофман, Достоевский, Шмелев); есть художественный акт замкнутой, в сухом калении перегорающей любви (Лермонтов); есть мастерство знойной и горькой, чувственной страсти (Мопассан, Бунин); а бывают и писатели, художественный акт которых проходит мимо человеческого чувствилища и его жизни (обычно Золя, часто Флобер, почти всегда Алданов)...

Итак, акт художника определяется прежде всего участием *сердца* в его творчестве: жизнь чувства постигается и изображается верно

только чувством; любовь есть величайшая сила видения, постижения и изображения. «Того не приобресть, что сердцем не дано» (Баратынский). Однако мало того, чтобы художник чувствовал и любил *как человек*; он должен чувствовать и любить *как художник*. Сердце должно участвовать не только в его жизни, но именно в *его творчестве*: иначе все начувствованные и через любовь по-ятые (воспринятые, постигнутые) им богатства не войдут в его художественные создания. И при этом он должен чувствовать и любить не только то, что он изображает (наслаждаться звуками, красками, словами; любить своих «героев»), но и чувствовать в своих героях, за них, ими, во всей их художественной объективности. Совершенно холодный мастер — холоден как человек; холодно владеет своим материалом и образом и создает холодных «героев», мертвых сердцем и чувством. Будет ли такой мастер художником...

Задача настоящего критика состоит в том, чтобы вскрыть и показать строение художественного акта, характерное для данного художника вообще и далее именно для данного, разбираемого произведения. Ибо у большого художника акт гибок и многообразен. «Евгений Онегин» написан совсем из другого художественного акта, чем «Полтава»; «Пророк» и «Домовой», «Клеветникам России» и «Заклинание» исполнены как бы на разных духовных «инструментах». Вскрывая это, критик помогает читателю и слушателю внутренно приспособиться и раскрыться для данного поэта и данного произведения; ибо душа, настроенная слушать балалайку, бывает неспособна внимать органу.

Душа, привыкшая читать Золя и Томаса Манна, должна совершенно перестроиться, чтобы внять Шмелеву; иной душевно-духовный слух нужен для Тургенева, и совсем иной для Ремизова. А критик должен быть способен внять каждому: для каждого художника перестроить свой художественный акт по его художественному акту; и о каждом заговорить на его языке; и облегчить читателю доступ к каждому из них...

Есть на свете незримая сокровищница художественности, и художник должен вложиться в нее, в твердой уверенности, что в ней не пропадает ни одно духовное усилие и ни одно творческое создание. Он должен помнить два основных требования, или завета, искусства: приближение к художественному предмету и верность закону художественности. А остальное приложится само.

Но в чем же состоит этот «закон художественности»?

Глава седьмая
ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ

Вот основной, вот труднейший, вот решающий вопрос для всего искусства: вопрос о том, что есть *истинная художественность*. Решение его указует путь сразу — творящему артисту, воспринимающему зрителю и оценивающему критику. Ибо поистине здесь исследуется и развертывается не только проблема критерия, мерила и суда, но —

глубже и ответственнее — проблема основного *состава* искусства, его *призвания*, его *цели* и власти.

Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо усвоить тот верный подход к искусству, который описан в предшествующих главах. Надо искать в произведении искусства не развлечения, не удовольствия, не пряных раздражений, а духовного слова о духовных обстоятельствах.

Духовность требует, во-первых, *внутреннего, нечувственного опыта*, для которого все чувственное является лишь верным знаком или орудием; духовность требует, во-вторых, *уменья отличать* нравящееся и приятное — от объективно-достойного и совершенного (истинного, нравственного, художественного, справедливого, Божественного); духовность требует, в-третьих, чтобы чувство, помысел и воля человека *предпочитали именно объективно-достойное и совершенное*, к нему тянулись, его искали, его творили. Все это вместе придает человеку значение духовного существа, открывает ему духовное измерение вещей и деяний; и тем самым вводит его на тот уровень, в ту атмосферу, где живет, творится и сияет истинное искусство.

Искусство есть явление *духовное*, а не просто вещественно-душевное. И самая проблема художественного совершенства имеет смысл только для духовных людей, другим она недоступна, для других она неразрешима. Только человек, живущий духовным измерением мира, вещей и деяний, может потребовать от самого себя (если он творящий художник) или от другого (если он сам — зритель-слушатель или критик) того, что есть самое существенное в искусстве: ответственного служения и раскрытия прорекающейся тайны.

Только духовный человек может понять, что произведения искусства измеряются не субъективным «нравится — не нравится», но объективным совершенством; особым критерием совершенства, не «умственно-мысленным-познавательным»; не «нравственно-добродетельно-праведническим»; не «гражданственно-лояльным» или «прогрессивно-социальным»; и не «догматически-вероисповедно-религиозным»; а особым — *художественно-эстетическим*, не сводимым к другим критериям и не разложимым на их элементы. Художественный критерий есть особый критерий; и художественный суд есть особый суд. Конечно, этот критерий переживается каждым из нас субъективно, и о применении его можно и должно спорить. Но сам по себе он не субъективен, а *объективен*. Это особый закон, который в действительности возможно и не соблюдать, но при несоблюдении которого художественное совершенство не будет осуществляться.

В противовес этому закону нельзя ссылаться ни на какое субъективное «нравится»; ни на какой «массовый успех». В противовес ему непозволительно взывать ни к какой «творческой свободе», ибо самая творческая свобода должна служить именно этому закону; ни к какому «личному вдохновению»; ни к какому субъективному «вкусу». Бесспорно, человек волен делать, что ему угодно, конечно, в пределах гражданского и уголовного закона: сочинять, что хочет, и

хвалить, что хочет. Это остается его личным делом. Но что бы он ни делал, ни сочинял, ни хвалил, закон художественного совершенства нимало не колеблется от этого. Напротив, именно он-то и судит всякое произведение и всякую хвалу.

Пусть единичному человеку и толпе нравится дурное; еще Гераклит отмечал способность людей «наслаждаться грязью». Субъективное «нравится» и массовый «успех» являются не последним и не решающим словом, а лишь первым и беспомощным. Последнее слово принадлежит критерию художественного совершенства; и всякое «нравится», и всякий «успех» лишь постольку имеют духовный вес и духовное значение, поскольку они верны этому критерию.

Не следует умалять начало творческой свободы и начало вдохновения. Но, как уже сказано, свободное вдохновение не означает безответственность и вседозволенность и не оправдывает художественного произвола и беспутства, эстетической распущенности и бесчинства. Напротив, вдохновение потому и необходимо, потому и священно, что оно есть *прозрение высших духовных закономерностей и совершенных связей.* И свобода его нужна художнику именно для того, чтобы обретать подлинную *художественную необходимость.*

Вкус всегда останется субъективным. Но субъективный вкус может быть глубок, прозорлив, утончен и верен, а может быть и наоборот — мелок, слеп, груб, пошл и, главное, неверен. Согласить людей в их вкусах нельзя, да и не нужно: все равно всех не переделаешь. Но самое произведение искусства не может стать ни лучше от согласных рукоплесканий толпы, ни хуже — от ее единодушного свиста и поношения, от того, что она, по слову Пушкина, «плюет на алтарь, где твой огонь горит...» «Услышишь суд глупца...» И кто же согласится поверить хотя бы на миг, что этот «суд глупца» является высшим словом и решающим приговором? Нет, не критерий художественности заключен в личном вкусе рассуждающего глупца, а личный вкус и глупца, и неглупца призван равняться по закону художественного совершенства и воспитывать себя к нему.

В вопросах художественного совершенства можно и должно спорить, состязаясь об истине, т.е. о том, что же на самом деле — данное произведение художественно или нет, и если нет, и если да — то в чем именно и почему. И в этих спорах необходимо доказывать и показывать. Ответственный критик обязан обосновывать каждое свое суждение, каждое критическое слово, каждое одобрение и неодобрение. Это почти всегда нелегко, иногда очень трудно; но всегда обязательно для него. Художественная критика не есть обывательское излияние восторга или негодования; она отнюдь не есть и пересказ «своими словами» того, что создал художник; но она не есть и аналитическое разложение пустой «формы» произведения.

Художественная критика требует верного и точного восприятия критикуемого произведения; а для этого необходимо *целостно войти* в него. Надо верно уловить и воспроизвести творческий акт художника; и точно воспринять весь состав его произведения. Надо забыть себя и уйти в него. Надо дать художнику выжечь его произве-

дение в воспринимающей душе, вроде того как выжигают по дереву. Надо дать ему вылепить его произведение из «моей», покорной ему, лепкой и прочно держащей душевной глины. В послушном ему, непредвзято-чистом пространстве «моего» внутреннего мира должно состояться его произведение, цельно и точно: все, что он носил, вынашивая в себе; весь его художественный замысел и помысел; и все образы, в которые он уложил эту свою художественную медитацию; и все внешнее тело его произведения — слышимые звуки и слова, видимые линии, краски, плоскости и массы, — все должно быть воспринято моею душою: и воображением, и чувством, и волею, и мыслью; моею душою и моим духом; все должно состояться в нем, стрястись в нем, пропеть себя, выжечь себя в его ткани; словом, развернуться во мне, в пространствах моего *душевного внимания и духовного созерцания*. И тогда только...

Но, увы, люди воспринимают искусство рассеянно и безразлично; мало кто думает о «целостном вхождении», о верном воспроизведении творческого акта, о точном восприятии всего состава, о глубокой, таинственно-скрытой и явленной медитации художника. Думают о своем развлечении и удовольствии; приносят в концерт или в картинную галерею свои повседневные интересы и настроения, свое обывательское самочувствие; и не думают освободить в себе «духовное место» для художественного произведения; а потому судят о своих личных, мимолетных впечатлениях так, как если бы к ним сводилось все.

Художественный критик должен открыть свою душу до дна, чтобы творящий артист мог властно дохнуть в его внутренний мир: он должен предоставить в его распоряжение не «уши», не «глаза», не «наблюдение» и не разлагающий рассудок, а всю душу и весь дух. И тогда он увидит, что верная встреча в художественном произведении возможна и с самим автором, и с другими, столь же сосредоточенно и предметно воспринимающими его создание.

Вам приходилось когда-нибудь видеть лицо художника, когда вы, возвращаясь из глубокого, самозабвенного созерцания его произведения, как бы из некоего священного колодца, в котором вы слышали или видели, созерцали его видение, когда вы начинаете выговаривать вслух, с трудом подыскивая слова, его основную медитацию, то главное, ради которого он создавал свое произведение? Вы произносите эти слова в великой сосредоточенности, как бы ощупью, беспомощно, медленно, то иносказанием, то намеком; иногда почти изнемогая от напряжения; но по существу — верно. А его лицо — и не лицо уже, а лик — сияет радостным светом свершенности: ибо он видит, что его искусство состоялось в вас и что власть его передала вам (сквозь все образы и сквозь внешнее тело искусства) ту художественную медитацию, ту выношенную им тайну, ради которой он творил. И вам уже не надо спрашивать его, верно ли вы узрели духом его художественный помысл; ибо на лице его вы уже прочли ответ... Кто хоть раз в жизни пережил эту чудесную встречу, тот никогда не забудет ее.

Итак, во всяком подлинно художественном произведении имеется это главное, это сказуемое, некая *бессознательно выношенная*

тайна, которая ищет себе верных образов и верного эстетического тела (звуков, слов, красок, линий, масс). Эта тайна есть как бы *душа* произведения; если отнять ее, то все его тело распадется на случайные куски и обрывки. Эта тайна есть как бы *внутреннее солнце* произведения, лучами которого оно *пронизано изнутри*. Она царит — и ей все подчиняется. Она диктует художнику закон, и меру, и выбор, и необходимость, и все оттенки. Ей он повинуется. Из нее творит. Из нее он критикует и исправляет свое создание. Ибо он знает своим художественным чутьем, что всякое слово и весь ритм его поэмы, всякая модуляция и всякое контрапунктическое осложнение его музыкальной темы, всякий персонаж и всякое событие его драмы, всякая деталь и всякая светотень его картины, всякий жест и поза его танца, всякий выступ и украшение его фасада должны *служить ей и являть ее, скрытую за ними, но присутствующую* в них; должны быть потребованы ею и выращены из ее глубины; должны быть необходимы для ее художественного прикровенного раскрытия. И если это так, если создание искусства именно таково, то оно *художественно*...

Глава восьмая
КРИТЕРИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВА

Художественность не есть отвлеченное понятие, а *живой строй*, развернутый в произведении искусства. Ее нельзя постигнуть одною отделенною мыслью, сколько бы ни перебирать ее «признаки» и до какой бы ясности ни доводить ее определение. Ее необходимо увидеть, вообразить, проследить творческим вниманием сначала от поверхности искусства в глубину, а потом из глубины опять на поверхность. Художественность надо представлять себе не как внешнюю меру, извне прилагаемую к разбираемым произведениям, — к зданию, картине, к поэме, сонате, — но как *внутренний порядок*, заложенный в самом произведении искусства; это есть как бы живой и властный строй его «души» или его внутренний уклад; способ бытия, необходимый для него и составляющий живой закон его жизни.

Если мы выразим в словах и понятиях этот живой строй художественности, то мы будем иметь критерий художественного совершенства.

Что же есть художественность и как выражается ее критерий?

Художественность есть *символически-органическое единство* в произведении искусства, идущее от его самого глубокого слоя, от его главно-сказуемого, которое может быть названо художественным предметом. В истинно художественном произведении все символично, т.е. все есть верный знак высшего, главного содержания — художественного предмета; и все органично, т.е. связано друг с другом законом единого совместного бытия и взаимоподдержания; и потому все слагается в некое единство, связанное внутренней, символически-органической необходимостью, все образует законченное, индивидуально-закономерное целое...

Истинная художественность не осуществляется через соблюдение одних законов эстетической материи или через соблюдение одних законов эстетического образа. Она не осуществляется и через простое подчинение эстетической материи требованиям эстетического образа.

Она осуществляется через верность материи себе, образу и предмету; и через верность образа себе и предмету. А это означает, что последней и высшей властью является художественный предмет...

Глава девятая
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРЕДМЕТЕ

Художественный предмет есть главное в искусстве; он есть то основное духовное содержание, которое во-ображается (облекается в образы, как в свою верную ризу) и во-площается (находит себе плоть эстетической материи); он есть то таинственное «сказуемое», которому должна принадлежать вся власть при творческом выборе образов и материи; он есть источник органически-символического единства в произведении искусства, т.е. первое условие его художественности; он есть как бы духовное солнце, излучившее себя в эти образы и в эту материю и излучающееся через них все в новые и новые человеческие души.

Нам всем — творящим, воспринимающим и критикующим — надо научиться находить художественный предмет, требовать его от себя, от художника и от всякого произведения искусства... В каждом произведении искусства надо искать и находить тот «главный помысл», тот «художественный заряд», то драгоценное и священное «творческое ядро», ради которого стоило комбинировать и закреплять эти массы, эти плоскости, эти линии, и краски, и слова, и звуки, и жесты; ибо все, что изображает настоящий художник, он изображает для того, чтобы высказать, выразить этот таинственный «главный помысл».

Итак, искусство есть прежде всего и глубже всего *культ тайны*, искренний, целомудренный, непритязательный. Где нет этого сосредоточенного и ответственного вынашивания тайны, где нет *художественного тайноведения*, там нет и настоящего искусства, там или совсем нет творческого «замысла», или же он подменяется рассудочными выдумками и произвольными «построениями». Истинный художник не только «жрец прекрасного» (Пушкин), но и жрец *мировой тайны*, постигаемой им в глубине сердечного созерцания.

И если художник желает, чтобы «читатели-зрители-слушатели» воспринимали его собственное создание не поверхностно, а до конца, не останавливаясь на материи и образах, а проникая в его главный, заветный замысел и вникая через него в художественное совершенство целого, то он сам, кто бы он ни был (архитектор, скульптор, живописец, поэт или музыкант), должен так же воспринимать все явления внешней природы и внутреннего мира, проникая в их *сокровенную сущность*...

Или еще глубже, священнее: художник должен взывать ко всякой вещи тайным, властно-молчаливым зовом: «Открой мне душу свою! покажи мне лице свое! дабы мне верно увидеть *Божью идею, в тебе скрытую*». Ибо в каждой вещи есть как бы сокровенное тихое пение, пение ее о ее собственном священном естестве, о том, что она есть перед лицом Божиим. Все это известно каждому лирическому поэту; и многие из них выражали это с необычайной точностью...

Вот что писал Гоголь о предметном ясновидении Пушкина: «Из всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творении Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «смотрите, как прекрасно творение Бога!»

Художник есть прежде всего *очевидец мировых тайн и духовных обстояний*. Ибо:

Есть некий час, <в ночи,> всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

(Тютчев)

Это видение и эту очевидность художник получает в созерцающей медитации, т.е. в сосредоточенном и целостном погружении души (и чувства, и воображения, и ощущений, и воли, и мысли) в развертывающиеся перед нею обстояния мира. В этой медитации он художественно отождествляется с самосутью мира (природы и духа), с его предметным составом, с его субстанциальным естеством; и в этом отождествлении иррациональный опыт его приобретает те медитативные заряды и те духовные содержания, которые становятся в дальнейшем творческом процессе художественными предметами его созданий. Вступая в разверстое, восприемлющее чувствилище художника, мировая самосуть дается ему в том обличии, которое соответствует его творческому акту: она дается музыканту в виде звучащих тем; она светится живописцу протяженным зрительным обликом; она открывается драматургу в виде героических характеров и деяний; она населяет душу архитектора видениями возносящихся масс и завершающих все плоскостей. Но каждому из них она дает некое требовательное бремя, некий содержательный заряд, некое предметное богатство, требующее послушного и ответственного творчества — цельного и точного художественного раскрытия.

Это означает, что художественный предмет как медитативный помысел художника отнюдь не есть его произвольная выдумка. Этот помысел вступает в душу художника от Бога или из Богозданных недр мирового бытия в качестве субстанциального (и священного!) отрывка, или состояния, или видоизменения мировой сущности. Этому помыслу соответствует на самом деле некое объективное обстояние — в Боге, в человеке, в природе. Иногда только в Боге, когда, напр., художник помыслит «совершенство», или «благодать», или

«откровение» («неупиваемую чашу»), «пучину милосердия», или «неопалимую купину», или «необуреваемое пристанище». Иногда это обстояние присуще и Богу, и человеку, напр. «любовь», «милость», «прощение»; иногда — только человеку: «молитва», «страсть», «преступление», «совесть», «ревность», «бессонница». Есть обстояния, присущие человеку и природе: «томление», «гроза», «тревога», «мрак», «страдание», «озаренность», «вознесенность». Есть обстояния, воспринимаемые и в Боге, и в человеке, и в природе: «покой», «глубина», «гармония», «чистота».

Все эти предметные обстояния сами по себе не «художественны» и доступны не только художникам. Они могут быть восприняты актом иного строения — актом религиозным, философическим, нравственным или познавательным. Но когда они воспринимаются именно художником и входят в душу творчески воображающую и творчески воплощающую, они получают место в художественном опыте и становятся «художественными предметами». Таких обстояний, могущих стать художественным предметом, множество; им нет числа; и лишь немногие из них имеют названия на человеческом языке... Это есть как бы тот «звездный мир», у которого музыканты подслушивают, а поэты списывают свои создания. Здесь онтологический корень, священный родник искусства...

Итак, «художественным предметом» следует называть то духовное содержание, которое художник почерпает из объективной сущности Бога, человека и мира с тем, чтобы облечь его в верные образы и воплотить в точной эстетической материи. По составу и содержанию «художественный предмет» объективен; по увидению, облечению и воплощению он субъективен субъективностью творящего поэта; но раз во-ображенный и во-площенный, он как бы входит символически в образы и в материю созданного произведения, насыщает их и объективно присутствует в них, хотя уже иною, так сказать, *осубъективленною объективностью*. В этом виде он дается для того, чтобы воспроизводящие артисты (музыканты, певцы, актеры и танцоры), зрители-слушатели-читатели и, наконец, критики верно извлекали его из этой осубъективленной объективности и, может быть, через ее посредство возносились к первоначальному духовному обстоянию в его чистой объективности, им измеряя, им исправляя, восполняя и критикуя изображенный и воплощенный художником «художественный предмет». Вот почему бывает так, что гениальный исполнитель раскрывает «дух произведения» лучше, чем это удалось сделать самому композитору, поэту или драматургу; а настоящий художественный критик показывает всем, и прежде всего самому автору-художнику, где, в чем и как автор, выбирая свой художественный предмет, недосмотрел первоначального духовного обстояния, недовнял ему, недоносил своего замысла и не только создал неточную материю или неверный образ, но именно исказил объективно данную ему духовную тайну.

При таком понимании искусства обнаруживается, что художественный предмет действительно есть нечто существенное и главное:

и в каждом художественном произведении искусства, и в душе творящего автора, и в восприятии зрителя и критика, и, наконец, *в объективном составе мироздания.*

В художественном произведении искусства эстетический предмет есть то главное-сказуемое, которому символически служат все образы и вся материя. Он подобен телу, облеченному в свою одежду; или душе, живущей в своем теле; или солнцу, пронизывающему все мироздание из единого центра. Он как центр в круге; так что все ведет к нему центростремительно, по радиусам, и все исходит из него, по радиусам, центробежно. В совершенном произведении искусства не должно быть ни «касательных», ни «эксцентрических-секущих». В таком создании власть предмета едина, неограниченна и всепроникающа; оно есть осуществленное самодержавие художественного предмета, причем все служит ему как своей высшей цели. Все являет его, все ведет к нему: от каждого «куска» или свойства эстетической материи, от каждого отдельного образа идет линия радиуса к предметному центру; линия, обретаемая, конечно, не геометрическим воображением, а одухотворенным, символически постигающим чувственным восприятием, — *духом сквозь зрение, духом сквозь слух.* Можно было бы сказать вместе с Гегелем, что художественное произведение подобно тысячеглазому Аргусу, у которого душа светится через глаза из каждого пункта поверхности; и тот, кто смотрит в эти глаза, видит в каждом из них главное, сияющую душу — художественный предмет.

Понятно, что такое художественное произведение может осуществиться только тогда, если душа творящего автора, творя, пребывала (сознательно или бессознательно) в предмете как своем главном и существенном центре, выращивая все из него и проверяя им все. Понятно также, что восприятие зрителя и критика должно пройти тот же самый путь, но только в обратном направлении: художник шел из глубины, от предмета, от центра к образной и чувственной поверхности, а зритель и критик идут от чувственной поверхности к образу и к центру, к предмету, в глубину.

Но художественный предмет есть нечто «существенное» и «главное» не только для данного произведения искусства, но и объективно, в мироздании, перед лицом Божиим. Именно там, где он перестает быть предметом «искусства», он является существенным обстоянием в плане объективного бытия. Настоящее искусство не создает призраков и не играет ими. Оно утверждает сущее: «так есть»; или: «внемлите, вот что обстоит в недрах бытия...»

Вот почему истинный художник «хочет великого» (in magnis vult) и успокаивается только тогда, когда в нем слагается уверенность, что он действительно несет и неошибочно дает подлинно-существенную предметность Бога, мира и человека. В этом смысле можно сказать, что для искусства «нет неглавного». И именно в этом смысле искусство не должно служить ничему постороннему: оно есть «самоцель», «искусство для искусства», ибо оно само по себе есть и молитва, и познание, и духовность, и добродетель, и право, и характер, и творчество, и служение.

Истинное искусство правит свой путь по предметным огням мира; по горным вершинам Бытия; по Божественному, таинственно присутствующему во всем. И так как Божественное действительно есть во всем и во всем присутствует, искусство имеет право петь обо всем; и даже ничтожное и пошлое озаряется при этом Божиим лучом, то живя им, несмотря на все, то слабо сияя его отблеском, то отрекаясь от него и противопоставляясь ему и тем обнаруживая свое ничтожество (сатира, комедия, трагедия, эпиграмма, басня, карикатура)...

Настоящий художник не рисуется своею «манерою», ибо это уже не его «манера», а способ бытия, присущий самому предмету: это стиль самого предмета, его ритм, его свет, его тона, его модуляция. Художник призван как бы «уйти» из своего произведения и даже «замести свои следы»; опредметить свое видение и свою манеру настолько, чтобы они не обращали на себя внимание зрителя, чтобы они уводили его не к автору, а к предмету. Художник не «рассказывает о предмете»; он не историк, не свидетель на «суде», не «конферансье», не бытовой сплетник, сплетничающий о своих героях. Он оставляет предмет и зрителя с глазу на глаз; и для этого отводит весь гром художественного предмета в образ и в материю, как в громоотвод, предоставляя ему разрядиться в душу зрителя. Он дает подлинное предстояние самого предмета. И даже тогда, когда эстетическая «форма» его произведения имеет повествовательно-описательную видимость (сказка, исторический роман, батальная картина, портрет Наполеона, бюст Гете) и когда опасность застрять в эмпирическом бытописании и не выбраться совсем в сферу *художественно-метафизической онтологии* становится особенно велика, истинный художник творит не «типичное» и не просто «правдоподобное», но *само сущее бытие*...

Истинное произведение искусства есть не «подобие» и не «воспроизведение», а некое духовное «оно само». Не следует спрашивать, «где оно находится»; ибо его способ бытия не определяется ни протяженностью, ни пространством, ни его измерениями. Духовный предмет, получающий в душе артиста значение «художественного предмета», не «находится» вообще, его нет ни «здесь», ни «там». Он нигде; но он *может состояться повсюду*. Где находится «покой»? Нигде. Но он может обнаружиться всюду. Где находится «раскаяние»? Нигде. Но им может быть объята всякая живая душа.

Это можно выразить так, что духовный предмет *может присутствовать во всем, что имеет духовное измерение*. Но поскольку это измерение присуще всему, постольку можно сказать, что духовный предмет живет во всем — или «потенциально» (наподобие непроявленного негатива), или «актуально» (в раскрытом осуществлении). Поэтому и постольку о нем можно сказать, что он «всеобщ». Это можно представить себе так, что он есть некое «зерцало мира» (spaeculum mundi), так, что весь мир может глядеться в него, как в зеркало, и сам он сосредоточивает в себе лучи всего мира, как некий «микрокосм» (мир в малом). Художник смотрит в это зерцало и уз-

нает в нем и себя, и мир, и других людей, постигая их сразу в их живом существе; а возможно это потому, что весь мир отображается в этом зерцале и вместе с ним вступает в человека. Здесь снимаются все условные разграничения, установленные человеческой наукой, и дух художника свободно вращается в содержаниях мира. Нелепое для трезвого, дневного рассудка оказывается великим и мудрым в ночных откровениях художества. В искусстве мир живет иной жизнью: здесь травинки поют хоралы, лес ведает тайны человеческого сердца, а душа парит орлом; здесь горные вершины спят, а нива человеческой души орошается влагой откровения; здесь цветок влюблен безнадежною страстью, а человеческая душа не менее моря таит в себе обломки сокрушившихся кораблей.

Художественное предметно-созерцание *наивно*, но наивность эта законная и основоположная. Художник как бы «не знает» законов эмпирического мира; не потому, что он не понял или отверг их своим сознанием (напротив, живописец и скульптор изучают анатомию и физиологию, скульптор и архитектор — механику и сопротивление материалов, прозаик и стихотворец — грамматику и филологию); но потому, что он уходит своим предметно-созерцанием в другой план бытия, в сферу, где весят и значат иные, более существенные законы — законы духа. И вот духовный опыт и художественное созерцание открывают ему присутствие духа, его содержание, его силу, его живой ритм там, где недуховное «наблюдение» видит только внешнюю оболочку явления, подчиненную своим, духовно неосмысленным законам. Вот почему художник с такою уверенностью и убедительностью утверждает «всеобщность» своего предмета: он видит весь мир и нас всех в подчинении ему; мы все пронизаны его жизнью, его ритмом, его законом; мы все как бы его сосуды или его органы; мы все призмы, пронизываемые его лучами; или цветы, согретые его теплом. И даже тот, кто лишен этих лучей, определен в своей судьбе *их отсутствием*. Художник видит все единичное как озаренное или пронизанное, или насыщенное как освященное, или же, наоборот, отвергнутое и обреченное лучами духовного предмета, как его живую ризу, колеблемую его движением. Таково его *художественное мировосприятие* и, если угодно, *миропреображение*.

И то, что художник делает в творчестве, есть прежде всего образная индивидуализация «всеобщего» духовного предмета; и далее — *эстетическая материализация выношенного им индивидуального образа*...

Глава двенадцатая
БОРЬБА ЗА ХУДОЖЕСТВО

Больной атмосфере опустошенного искусства надо противопоставить волю к художественности и борьбу за художественность. Надо показать, что нехудожественное искусство есть неудавшееся, несостоявшееся, *мнимое* искусство. Надо утвердить аксиому, что *искусство призвано быть художественным* и что художественности можно и должно учиться.

Забота об этом должна лежать на всех четырех участниках искусства: на преподавателе, на творящем авторе, на разбирающем критике и на воспринимающем зрителе слушателе-читателе.

И прежде всего *на преподавателе* — на профессоре консерватории, академии художеств, театрального училища, балетного училища, на профессоре литературы, эстетики, истории искусства. Преподавание не должно ограничиваться техникой и формой; оно должно идти дальше, глубже, *к законам художественности, к эстетическому акту*. К акту и предмету, к правилам художественного зачатия, вынашивания и творчества. Программа преподавания должна включать в себя особые предметы, воспитывающие в учениках духовный опыт, как, напр., историю духовной культуры родной страны, историю всех ее искусств, основы миросозерцания и характера (учение о первоисточниках веры, совести, вкуса, правосознания, патриотизма); и в особенности — эстетику и теорию творчества, где должны быть собраны творческие советы и указания всех великих мастеров от Леонардо да Винчи до Бетховена и Гете, от Леона Баттиста Альберти до Пушкина, от Флобера и Родэна до Станиславского. Я отнюдь не думаю, что можно искусственно насадить вдохновение; но можно и должно преподавать духовный опыт и творческое созерцание.

NB *Глубоко важными представляются размышления И.Ильина о значении восприятия художественного произведения. Практически дословно они повторены в формулировке главной цели предмета «Мировая художественная культура», предложенной Л.М.Предтеченской: «...формирование грамотного Читателя, Зрителя, Слушателя». Это говорит о глубокой общности в понимании педагогических задач, решаемых в процессе общения с произведениями искусства в традициях национальной педагогической школы. Необходимость диалога между художником и зрителем является важной составляющей как для творца, так и для того, кто воспринимает произведение искусства. Именно для того, чтобы вступать в этот диалог, который длится для человека всю его жизнь, важно научиться этому с детства. Для учителя, который отваживается вести мировую художественную культуру, путь диалога будет основным. Вместе с учениками он вступает в диалог культур, в диалог с произведениями искусства, в диалог с учащимися, делящимися своими впечатлениями и раздумьями, осмысляя художественное произведение. Конечно, вслед за И.Ильиным мы убеждены в том, что главная задача учителя здесь — создать условия для формирования духовного опыта учащихся в процессе общения с искусством. Искусство обладает редкой способностью пробуждать жизнь чувства и сердца. И современная школа, в условиях все усиливающегося технократизма, не имеет права отказаться от такого мощного средства, стимулирующего развитие ценностных ориентиров.*

О ТЬМЕ И ПРОСВЕТЛЕНИИ. Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев*

ТВОРЧЕСТВО И.А.БУНИНА

Чашу с темным вином подала мне богиня печали.
Тихо, выпив вино, я в смертельной истоме поник.
И сказала бесстрастно, с холодной улыбкой богиня:
«Сладок яд мой хмельной. Это лозы с могилы любви».

И.А.Бунин

1

Творчество Ивана Алексеевича Бунина — последний дар русской дворянской помещичьей усадьбы, дар ее русской литературе, России и мировой культуре. Это она, наша средняя русская земледельческая полоса, уже подарившая русскому народу столько замечательных талантов — литературных, музыкальных и философических, — говорит в его созданиях. Веками происходил здесь, вокруг Москвы, этот своеобразный, национальный, сословный, душевно-духовный и культурный отбор, отбор тонких и даровитых натур, который дал России Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Хомякова, Тургенева, Толстого, Фета, Чичерина, Трубецких, Рахманинова и многих других созидателей русской культуры. Тут все соединилось: и этот крепкий, строгий климат с его большими колебаниями и бурными порывами; и ласковый, мечтательно-просторный ландшафт; и столетний отбор крови и культуры; и непосредственная близость к простонародной крестьянской стихии, к дыханию земли; и досуг помещичьей усадьбы с ее культом родовой, наследственной традиции служения; и близость к патриархальной Москве; и удаленность от цензуры Петербурга. Так и сложилась эта своеобразная духовная атмосфера независимого творческого созерцания, дерзающего по-своему видеть и честно выговари-

*Работа впервые опубликована в 1959 году в Мюнхене. Фрагменты взяты из Собрания сочинений в 10 тт., т. 6, кн. 1. (М.: Русская книга, 1996).

вать узренное, не считаясь ни с чем, кроме личной религиозной, художественной или познавательной совести...

2

Бунин — *поэт и мастер внешнего, чувственного опыта.* Этот опыт открыл ему доступ к жизни человеческого инстинкта, но затруднил ему доступ к жизни человеческого духа. Зоркость и честность видения привели его к таким обстояниям в недрах инстинкта, видеть которые нельзя без содрогания. Содрогнувшийся поэт научился отвлеченному наблюдению и анатомии и стал объективным анатомом человеческого инстинкта...

Бунин обычно уходит в эту стихию целиком и нередко становится ее чистым художественным медиумом. Для Толстого инстинкт есть источник морального заболевания; он противится этой темной силе, и совесть разъедает цельность его художественного акта угрызениями и рефлексией. Художественный акт Бунина не подвержен этому; он мужественно пребывает в инстинкте и хладнокровно, с неумолимой объективностью развертывает из него свои видения. Толстой *поэт* инстинкта; Бунин его *анатом.* Толстой знает положительные силы инстинкта, его здоровые, творческие проявления. Бунин созерцает преимущественно слепую власть инстинкта, его разрушительные порывы, его больные, смятенные судороги. Толстой показывает не только нравственные провалы инстинкта («Власть тьмы»), но и его зиждущий, живой «этос», развертывая его в великую *национальную панораму* («Война и мир»). Бунин сосредоточен почти исключительно на донравственных струях инстинкта, он не живописует его созидательных, благих сил и ограничивается при этом *индивидуальными событиями...*

Бунин — поэт большого, тонкого ума и самосознания. В этих признаниях он поднимается до большой зоркости и точности в характеристике своего акта.

Художественный акт его состоит в чувственном восприятии и чувственном изображении воспринятого. Требования, которые он себе ставит, суть точность, красота и сила, способные заражать других тем, чем он сам живет. Условием для исполнения этих требований являются: райская чувственность мироощущения; непосредственность и ненасытность в наполнении своей образной, чувственной памяти; богатство и чувствительность этих чувственных отпечатков. «С годами» у таких людей «возрастает религиозность», «то есть страшное чувство своей связанности со Всебытием — и неминуемого в нем исчезновения» (рассказ «Цикады»).

Не будем поднимать вопрос о том, религиозность ли это и в чем состоит настоящая религиозность. Бунину действительно присуще это чувство, именно как *страшное* чувство, уводящее его в глубину *темного, родового и всемирного* опыта, того опыта, из которого Шопенгауэр почерпнул свое учение о темной воле как суб-

станции мира, а Эдуард фон Хартман — свое учение о Бессознательном.

Художественный акт Бунина таков, каким он сам его осознал и описал. Этот акт присущ не только Бунину, но и другим, близким к нему, внешне-опытным художникам. Есть, однако, множество художников, которым такое строение акта не присуще.

Это акт естественного, природного человека, плененного природою и выходящего из нее лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы описать и выразить ее. Это акт существа, живущего прежде всего и больше всего инстинктом во всей его первобытной цельности, непосредственности, несломленности, родовой-предковой древности, наивности и жестокости; может быть, первозданности, дикости, свирепости... То, что Бунин видит и описывает, соответствует именно такому опыту и восприятию: это есть или природа, внешняя человеку, — пространственное инобытие; или же человек, оставшийся природою, — «homo sapiens», прикрытый оболочкою цивилизованного быта; *биологическая особь, еще не ставшая личностью.* И замечательно: чем полнее человек остался *природою*, тем точнее, убедительнее, разительнее искусство Бунина; тем более пронизывающе и потрясающе оно действует на душу читателя.

Как художник чувственного естества, Бунин не касается всех *духовных раздвоений* и всей драматической и трагической проблематики, которая из них возникает. Он знает ее; но касается ее только мыслью, философическим изумлением и обобщением, не включенным в художественную ткань. Его искусство молчит о ней. Все проблемы борьбы с инстинктом, возникающие из чувства стыда, запрета и отвращения, все проблемы его обуздания, одоления, укрощения, одухотворения, духовного осмысления и оправдания остаются чуждыми его искусству: проблемы инстинкта и духа, пола и аскеза, чувственности и греха, сломленного страдания и праведнического парения, порока и добродетели, возможной победы над плотию и духа над похотью. Об этом парении, которое может очистить инстинкт, примирить его с духом, так что инстинкт *радостно понесет духовную силу и будет творчески служить ему,* — искусство Бунина безмолвствует. Выражаясь в категориях живописи итальянского Возрождения, можно сказать: проблематика Боттичелли не существует для Бунина; а из проблематики Леонардо да Винчи он знает, как редко кто, сферу зоологической грешности, но опыт святости (доступный великому Леонардо) ему неведом.

За исключением нескольких мастерских и прелестных набросков, как бы выхваченных из записной книжки, все остальное искусство Бунина по существу своему *до-духовно.* Он остался почти свободным от той сентиментальной морали, в которой Толстой спасался от страха и греха темного инстинкта. Бунин остался верен естественному, свободному инстинкту. Движимый моральными соображениями, Толстой воспретил себе самоценную красоту, наслаждение ею, служение ей. У Бунина иначе: ему больше всего го-

ворит именно естественная природная красота, как таковая, и самоценное пребывание в ней. В «неустанных скитаниях» и «ненасытных восприятиях» своей жизни Бунин голодает по ней вечно, неутолимо, как некий сказочный «ненаеда». И смысл его жизни — в восприятии этой чувственной красоты и в литературном изображении ее — неуемном, самодовлеющем.

Здесь основное побуждение его творчества и, как он сам говорит о себе, — даже его жизни...

3

Этот инстинкт «полон жадного любопытства ко всему и ко всем». Это он «все видит, все замечает и чувствует»; и ненасытно, бесконечно путешествует по лицу земли. Он видит внешнюю природу — и сливается с нею; он «чувствует свое кровное родство» с нею — будь это гора или долина, птица или зверь. Когда он едет верхом, он сливается с лошадью в единое существо и говорит ей: «О красавица, умница, любимая моя! Как передать словами нашу с тобой близость, нашу любовь, — нет тоньше, таинственней и чище этой любви, навеки безмолвной, навеки верной, не обманывающей, любви между человеком и животным! И как постигнуть все то несказанное, все то как будто несуществующее, не имеющее ни образа, ни имени, ни на что в мире не похожее и, однако, такое сущее, с такой остротой ощутимое, что есть между мной и между этим столь для меня в сущности непонятным и даже ужасным четвероногим творением, с которым я почти одно?» («Звезда любви»). Именно из такого первобытного, всаднически-инстинктивного опыта родился некогда миф о кентаврах.

Это не просто «влияние» природы на человека, о котором Бунин вздохнул однажды, обобщая: «первобытно подвержен русский человек природным влияниям...» («Жизнь Арсеньева»). Это — *художественный возврат инстинкта к природе*, погружение его в древнее лоно материального естества, сращение с ним, слияние с его великим «всебытием»... Художественный акт Бунина и есть акт земной плоти: «без земной плоти» ему «слишком жутко в этом мире»; и именно этот акт «ищет опьянения в созерцании земли». И если Бунин говорит о Боге, то он разумеет именно и только того Бога, который создал этот чувственный мир «с такой полнотой и силой вещественности»...

4

Таков художественный акт Бунина в его общем очертании: внешний опыт восприемлет чувственные содержания мира и, сочетая их в яркие образы, показывает — то их самих в их естественной самоценности, то через них те душевные содержания, которые в них выражаются и сквозь них могут быть уловлены и описаны; но не более...

Акт внешнего опыта живет зрением, обонянием, слухом, вкусом, осязанием и пространственным воображением.

Так, Бунин прежде всего мастер *внешнего зрения*. Он видит телесным глазом — точно, остро, тонко, обычно «в фокусе». Он оптический мастер, живописец слова: его искусство напоминает моментами те впечатления, которые нам дает бинокль Цейсса, подзорная труба, волшебный фонарь или метко снятая кинолента...

О чем бы Бунин ни повествовал, он прежде всего вдвигает в душу читателя *зрительный образ* — почти всегда прекрасный, когда речь идет о природе, пластически-картинный, но часто отталкивающий, мучительно-томящий, когда речь идет о людях. Читать Бунина — значит жить «вовсю» зрительным воображением и нередко чувствовать, что оно при всем своем напряжении не успевает схватить, осуществить, покрыть весь тот поток зрительных образов, который неудержимо льется в его душу. Ибо Бунин, описывая, нередко дает волю всему потоку видений, его одержащему, не считаясь с возможным бессилием или медленностью воображения в душе читателя. Он щедр, неистощим; он хочет быть точен и исчерпывающ; и не связывает себя в описаниях законом *художественной экономии*, требующим бережливого отношения к объему и силам читательского внимания. Например, превосходное описание осеннего парка и гибнущего столетнего клена в «Жизни Арсеньева». Или описание весны в деревне в рассказе «Митина любовь».

Той же остротой и точностью отличается у Бунина мастерство *обоняемого образа*. Он обоняет мир всегда и везде; он слышит и передает запахи — и дивные, и отвратительные, и утонченные, и непередаваемо-сложные. Он умеет показать вещь через ее запах с такою яркостью и силой, что образ ее как бы вонзается в душу. Бунин вдыхает мир; он нюхает его и дарит его запахи читателю; и мир благоухает или смердит ему. Иногда он описывает этот запах по содержанию, а иногда просто относит его к вещи, предоставляя читателю вспоминать его самостоятельно...

Так, в повести «Жизнь Арсеньева» дано поистине целое богатство света и мрака, звука, видений и слов: пространство, огненно пирующее во всех своих перспективах и слоях; воздух, сгущающийся до обломного ливня... И все это несется на читателя в неуемном потоке сверкающих, прожигающих и разверзающих слов.

Эта восприимчивость, эта меткая и острая чеканка, свойственная художественному акту Бунина, становится, если это возможно, еще более точной при переходе к материальным вещам, и в особенности к состояниям и ощущениям *человеческого тела*; причем нередко вещи показываются так, как если бы сквозь них глядела человеческая телесность... Такие описания всегда физиологически точны и до навязчивости изобразительны. Они входят в воображение с некоторой *безмерной* силой, и читатель иногда не знает впоследствии, как от них отделаться...

5

Таково строение художественного акта у Бунина. Этот акт определяется повышенным и обостренным переживанием чувственного мира, чувственных содержаний и телесно вызванных, а следовательно, и телесно выразимых состояний души, и притом — в ущерб, в устранение, может быть, даже в утрату нечувственных содержаний и состояний.

Этим определяется сила его искусства, власть его изображений, точность и законченность его произведений. Но этим определяется и *предел обозреваемого им мирового объема*, граница его художества, — и в смысле того, что именно он дает, и в смысле того, чего он не воспринимает и не воображает, и, наконец, в смысле того, что оказывается для его видения *неизобразимым*.

Каждый художник имеет свое особое *художественное чувствилище*, которое служит ему и *органом любви*. И если это восприемлющее лоно по природе своей чувственно, то может оказаться, что мир нечувственный закрыт для него. Напрасно кто-нибудь захотел бы найти у Бунина что-нибудь о той нечувственной, духовной любви, которую некогда раскрыл Платон и о которой умели петь Данте и Петрарка, которая выносила рыцарственный акт средневековья, огонь, который жег Пушкина и Лермонтова, которую знал Тургенев, которую глубинно и трепетно раскрывал Достоевский, прозрачную чистоту которой явил в целом ряде образов Шмелев. Бунин творит из другой любви и пишет о другой любви. Художник обостренно-чувственного мировосприятия и наслаждения, он раскрывает любовь инстинкта, предельно-чувственную, земную; плотскую страсть; человеческое сладострастие, не причастное серафическому духу, любовь не ведущую и не строящую, а терзающую и опьяняющую...

6

Жизнь чувства — аффектов и эмоций, с такой пламенной силой и переживаемая, и изображаемая Достоевским; с такой лирической утонченностью то вычерчиваемая «пером», то выписываемая «пастелью» у Чехова; столь определительная, богатая и духовно бурная у Шмелева, — почти всегда сводится у Бунина к движениям инстинктивной страсти в том или ином ее видоизменении. Если это «чувства», то чувства элементарные, родовые, древние, бездуховные, или, вернее, додуховные. В них живет особь, а не личность; в них человек биологически индивидуален, но духовно, а иногда и психологически, еще не стал или уже не стал личностью. И потому вся жизнь этих «чувств» развертывается в атмосфере некоего неизменного *холода*.

Бунин-мыслитель иногда рассказывает о своих личных чувствах — то услаждающих, то потрясающих, то обжигающих, то замучивающих его. И мы верим ему беспрекословно, что он их переживал и испытывал. Читатель сочувствует им и принимает их к сведению.

Но *не переживает их, как свои собственные*; тем более что автор сообщает о них в форме автобиографической. Нельзя сомневаться в том, что Бунин — человек и мыслитель — живет сильными, глубокими чувствами. Но Бунин-художник, пребывающий в своем творческом акте, почти всегда холоден. Холоден и объективен. *И чем выдержаннее эта холодная объективность, тем ткань рассказа становится художественно убедительнее.* В изображении чувственной страсти Бунин стоит в первых рядах мировой литературы: когда он изображает холод инстинкта вообще или, в частности, голод «любви», то он зорок и ярок, как самые замечательные мастера. Но это есть та страсть с ее зноем, та мука, которые томят, изводят человека, но могут совсем миновать сердце, оставить его холодным. Чувственная страсть не есть чувство именно потому, что она чувственна, *во-площена*, изживается в состояниях тела, в телесных разрядах. В чувственной страсти все чувства сгорают, растрачиваются поземному; и чем томительнее и бурнее эта страсть, тем цельнее растрата, тем меньше чувствование как душевное состояние достигает силы, зрелости и утонченности, тем *опустошительнее* эта страсть оказывается для души, тем больше разочарования, горечи, может быть, даже злобы и отчаяния она оставляет человеку в наследство.

Описанная Буниным чувственная страсть входит в душу читателя ярко и властно; иногда она просто вонзается в нее и действует на нее с настоящей душемутительной силой; а в иные критические минуты она может доводить читателя до физической тошноты и даже до отвращения. Но это чувственный зной, а не чувство; если это любовь, то безостаточно ушедшая в тело; она требовательная, несытая, напористая, эгоистическая, холодная, мучительная и горькая. Это *любовь, заболевшая плотию* и ушедшая в нее. Она следует законам биологии и физиологии и лишь постольку и через это отражается в душе; но она не следует ни законам сердечного чувствования как самостоятельного акта, ни путям одухотворенной души...

Еще меньший вес в художественном акте Бунина имеет *воля*, и вследствие этого читателю не нужно волевых напряжений при восприятии его созданий.

Художественный акт Бунина не знает волевых напряжений и поступков; он не «решает», не «поступает», не «достигает», не «завершает». Искусству Бунина чужд драматизм волевых столкновений и волевой борьбы. Ему чужда и волевая трагедия, т.е. жизненная безысходность, овладевающая сильным характером. Трагические положения и развязки в произведениях Бунина рисуют безвыходность чувственных страстей, владеющих человеком. Одержимый такой страстью, человек без борьбы катится вниз по линии наименьшего сопротивления, то с безвольной легкостью, то с тяжелым отвращением, то с чувством фатальной обреченности, то в злой и темной судороге. Он — жертва поддонных сил; и тогда читателю приходится жалеть его. Или же он раб своего инстинкта; тогда читатель испытывает смесь из легкого презрения, гнева и сострадания. Или же он *зверь* в страстях своих; и тогда читатель испытывает ужас и отвраще-

ние. Но волевой акт читателя остается художественно ненужным и нетронутым.

Бунин — ясновидец инстинктивных состояний, мук, порывов и провалов, но не волевых свершений. И волевых фигур среди его героев нет.

Нет, или почти нет среди этих фигур и мыслителей.

У Шекспира, у Достоевского — почти все мыслители. У Толстого есть мыслители; они рассудочники, резонеры. У Чехова мыслители вялы и расплывчаты. У Шмелева мыслители эмоциональны, пламенны. У Бунина нет мыслителей; изредка встречаются умные наблюдатели, иногда роняющие кое-что о жизни. Обычно вместо них мыслит *сам автор*, но чаще всего *за пределами художественной ткани*.

Сам автор, человек умный, наблюдательный и тонкий, мыслит обычно не душами своих героев, не в них, не из них; мысль, накапливающаяся в нем, не укладывается в их жизнь, не вырастает из их души, не входит в художественную ткань рассказа; и тогда она высказывается автором отдельно, самостоятельно, в виде философического, социологического или психологического обобщения или как бы «нравоучения». Например: «Все-таки самое страшное на земле — человек и его душа. И особенно та, что, совершив свое страшное дело, утолив свою дьявольскую похоть, остается навсегда неведомой, непойманной, неразгаданной» («Страшный рассказ»). «Только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души» («Святитель»).

7

Художественный акт Бунина определяет собою состав его художества: и *словесную ткань* его произведений (эстетическую материю), и *образную ткань* (эстетический образ), и природу его *эстетических предметов*.

Начнем со словесной материи.

Словесное мастерство Бунина велико и богато, но неодинаково и неуравновешенно.

Отмечу одну особенность стиля у Бунина, связанную со всем тем, что я только что отметил. Это особое строение фразы, при котором подлежащее отодвигается к концу. Например: «после же этого пошли теплые туманы, дожди... тронулась река, стала радостно и ново чернеть, обнажаться в саду и на дворе земля...» («Митина любовь»).

Такое строение фразы создает иногда затруднение для читателя: текст несет ему две и три строчки тонких и острых определений, а воображение его решительно не знает, к чему их отнести: качества, состояния, действия нагромождаются, а субъекта, стержня — нет; воображение недоумевает, выходит из своей художественной непосредственности, зовет на помощь мысль, чтение прерывается, мысль отыскивает подлежащее в конце, душа на время успокаивается, и чтение возобновляется. Например: «еще с утра до вечера, неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так, как орут они»(?!)

«только ранней весной, орали грачи в голых вековых березах в соседнем помещичьем саду» («Митина любовь»).

Эта стилистическая манера отнюдь не искусственна и не надуманна; она рождена актом. Такое строение фразы передает *ритм духовного безволия* — падающий, сникающий, покорно отдающийся, томно томящийся, чувственно упоенный, расслабленно опьяненный; оно рисует не бытие, не действие и даже не обстояние, а безвольное, разморенное эротическое состояние... Эстетическая материя точно передает здесь строение акта и природу образа, а может быть, и предмета. Это художественно: но только при соблюдении меры в стиле и в образе. Иногда же эта мера не соблюдается...

Таков стиль Бунина. Поистине — стиль, рожденный актом. Но инстинктивный акт движется своими потребностями и своими видениями. И рожденный им стиль оказывается не прокаленным ни мыслью, ни волею, он оказывается недифференцированным в своем синтаксическом строении и склонным приносить интерес образа, предмета и читателя в жертву радостям чувственного словотворчества.

Такова опасность инстинктивного акта: эстетическая материя грозит художнику непокорным своеволием.

8

Обратимся теперь к исследованию *эстетического образа* в творениях Бунина. Этот образ тоже обусловлен в своем составе строением его художественного акта.

То, что Бунин дает читателю из своего акта и своим стилем, есть природа и человек.

Точность, щедрость и красоту его природной живописи я отмечал уже не раз. Природа царит у него и над человеком, и в самом человеке. Акт Бунина — инстинктивен. И в силу этого природа как таинственное лоно инстинкта должна была получить в его изображении первенство и *верховенство над человеком*. Бунин-художник мыслит не от человека — вниз, к природе, а от природы — вверх, к человеку. Здесь не природа очеловечивается и одухотворяется, а человеческий дух оестествляется, материализуется и становится *элементарным*.

Это торжество природы над человеком выражается в том, что героем Бунина является существо *первобытное*. Видя такого человека, именно такого или даже только такого, Бунин со всею своею художественною честностью, объективностью и смелостью показывает человека именно таким, а не другим. Своих героев он не выдумывает, не построет, не сочиняет; а видит их и описывает их такими, какими увидел. Не его вина, что ему дан такой акт; и кто возьмется судить или винить художника за строение его акта? Бунин видит человека в его инстинктивно-родовом примитиве. Всякого человека: русского, и не русского; и европейца, и американца, и индуса; и крестьянина, и интеллигента, и полуинтеллигента. Из этого примитива, духовно не опаленного, не дифференцированного, расхлестну-

лась в России большевистская стихия; и потому Бунин является в идейном смысле предчувственником, прозорливцем и предсказателем большевизма (подобно Голубкиной в скульптуре).

При этом Бунин никогда не говорил, что человек этим исчерпывается или, в частности, что русский человек к этому сводится. Он местами и сам показывает это другое, но обычно в виде очерков, набросков, так, как если бы он касался здесь сферы, лежащей за пределами его специального видения и созерцания. Искусство Бунина непозволительно толковать ни в смысле социологического обобщения, ни в смысле презрения его к русскому народу. К какому бы народу Бунин ни принадлежал, он, наверное, всюду увидел бы ту же самую стихию и оказался бы ясновидцем и живописцем животной глубины до-духовного инстинкта. Поэтому не правы те в Западной Европе, кто пытается доказать на основе произведений Бунина варварство и ничтожество русского человека.

Есть в человеческой душе некое темное лоно, гнездо инстинкта во всей его первобытности, остроте, необузданности и бездуховности. Именно в это лоно ведет нас Бунин; именно его он и показывает нам, читателям, с неумолимой честностью. Он видит его во всех — и в тех, кто еще совсем первобытен, и в тех, кто живет на высшей ступени цивилизации, и в некультурном дикаре, и в культурнейшем ученом. Дело не только в том, что «на свете есть еще первобытные люди», но в том, что «примитив» таится, по-видимому, во всех людях; он может проснуться и овладеть ими. Мало того: люди прямо склонны впадать в первобытность. «Человек весьма охотно, даже с радостью освобождается от всяких человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикарскому образу существования — только позволь обстоятельства, только будь оправдание»... («Роза Иерихона»). Почему? Да потому, что люди близки к примитиву всегда. И в любви матери к младенцу: это чувство «непрестанного восторга и умиления, чувство телесной любви к рожденному, сладкая тревога видеть, обонять, осязать и прижимать к своей груди это растущее и с каждым днем более пробуждающееся для мысли и сознания существо»... («Роза Иерихона»). И в любви к животным. И в кровожадных порывах охотника. И во взаимной любви между мужчиной и женщиной.

В рассказе «Солнечный удар» это, по-видимому, *солнце*: многонедельное лежание на солнце в Анапе повергает молодую и порядочную женщину на любовный роман с незнакомым офицером на одну ночь. Но в действительности дело было решено, конечно, не солнцем, а первобытною силою, которая не угасала в ней никогда и только ожидала своего мига. Одному этот миг дается — солнцем, другому — метеором, третьему — весною, четвертому — стечением обстоятельств. Примитив живет в людях всегда... Первобытное зовет назад, в недра родового, до-духовного инстинкта; зовет и звуками, и запахами, и полом, и кровью, и рождением, и смертью...

Вот почему эти люди, не индивидуализированные какие-то *родовые субъекты*, оказываются как бы гнездами и органами своих

страстей; это медиумы своих влечений и чужих влияний. Их страсти занимают не только «глубину» их животной души, но и верхние слои их сознания. Жутко смотреть им в глаза: «в черных, блестящих глазах Любки была какая-то преступная ясность, откровенность» («Игнат»). Вот перед нами Аким, садовый сиделец: «похож на дурачка, лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальской работы, тело тощее и какое-то деревянное, глаза под большими сонными веками ястребиные, с золотистым кружком в зрачке. Опустит веки — картавый дурачок, поднимает даже жутко немного» («Деревня»).

9

Однако инстинкт человека отнюдь не сводится к влечениям «непростительной» «свирепости». Инстинкт есть основная движущая сила человечества. Его первобытные, бездуховные или до-духовные формы совсем не суть ни единственные, ни главные. Тысячелетиями инстинкт и дух человека работают над взаимным сближением: дух проникает в инстинкт, облагораживает его и усиливает себя его силою; а инстинкт, приобретая свет и правоту духа, мудреет и научается служить ему в радости и успокоении.

Эту первобытную мудрость инстинктивной души Бунин не мог не отметить и не оценить. Но, увы, лишь мимоходом...

10

Мы изучили художественный акт Бунина, эстетическую материю его произведений и содержащиеся в них эстетические образы. Нам остается указать тот *художественный предмет*, который скрыт и явлен в его созданиях.

Этот предмет определяется прежде всего и больше всего строением его акта.

Бунин-художник подобен монолиту — в акте, в стиле, в образах и в предмете. Он — художественный однодум и единовидец: силою своего чувственно-инстинктивного акта он постигает и раскрывает чувственно-инстинктивные, до-духовные недра человеческого существа. Человек до духа индивидуален только в *биологическом смысле*; по существу жизнь его заполняется инстинктивными переживаниями и родовыми содержаниями. Его земной состав имеет свою земную «кривую»; но духовной судьбы и духовного творчества он не имеет. Таких людей можно наблюдать, на них можно дивиться и ужасаться, но принять их к сердцу, художественно полюбить их невозможно. Это зорко подмеченные и убедительно показанные *вихри родового хаоса*, отпрыски животного в человечестве; нередко — бескрылые стервятники; стоны, вой и хохот ночного филина, несущиеся из человека.

Таков предмет Бунина: *человек как орудие первобытного родового инстинкта* — инстинкта размножения, наслаждения, хищничества.

Или, иначе: человеком владеет темное, родовое начало, жаждущее наслаждения и влекущееся к родовым целям; сметающее на своем пути многое, все, даже самого носителя инстинкта; но не ведающее или почти не ведающее ни Бога, ни духа, ни добра. Это темное начало глубже всякой культуры и цивилизации; оно вечно зияет в человеке первобытным глазом, требовательною похотью; оно вечно готово к страшным и свирепым делам; и даже не делам, не поступкам (ибо в поступке есть воля, характер, духовность), а к ожесточенным состояниям, сокрушительным взрывам, извержениям, падениям...

Эту силу можно условно назвать «любовью». Но что же это за любовь? И какова ее роковая «грамматика»?

Вот основные свойства и законы этой «любви».

Она «темна, слепа и непонятна». Она неодолима, свершая свой ход наперекор всему; и сами «силы небесные не могут остановить ее»; ее приход есть «час страшный и неотвратимый», и люди не могут или даже «не смеют противиться» ей. Она ненасытна, подобно той «страшной могиле богача и скряги», что «провалилась в ту же минуту, как только засыпали ее»; а может быть, и вообще неутолима. Иногда она приходит всего раз в жизни — и тогда она ломает судьбу человека. И не человек выбирает в любви; он сам делается невольником ее, а иногда и безумцем навек («Грамматика любви»). Она приходит взрывом в некой таинственной связи с дуновениями и зовами природы, с ее огнями, лучами, грозами и опьянениями. Она дает человеку счастье и в то же время такое несчастье, что он чувствует себя сразу постаревшим на десять лет («Солнечный удар»). Такая любовь не может длиться и «избегает брака» («Дело корнета Елагина»). А когда она приходит к молодой душе впервые, — как первая любовь, — то душа человека переживает, «сама того не ведая, жуткий расцвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола» — то в нежно-целомудренном, сомнамбулически-девственном трепете («Клаша»), то в обнаженно-безнравственном, играюще-бесстыдном, беззаботно-легком дыхании, то в болезненно-томительном, духовно не озаренном и бесплодном надрыве... («Митина любовь»). И в довершение всего — она таинственно связана со смертью, ведя человека то к убийству своей возлюбленной, то к самоубийству...

И эти две правды — упоение несказанной прекрасностью чувственного мира и дарами чувственного инстинкта и содрогание от бесконечной отвратительности человека и животного — Бунин дарит своим читателям щедрою, безжалостною рукою, в видениях ярких, слишком ярких и острых, не у-меренных властью духа и духовного созерцания и не со-размеренных ни с благостью Господа, ни с силами одинокого и беспомощного читателя, может быть, совсем неспособного выносить эти *видения звериного зрака* и не впадать при этом в соблазн.

Бунин разверзает перед нами *мировой мрак*, черное, провальное естество человеческой души, не ведающее добра и зла и творящее зло в меру своей похоти. Он разверзает его с великою силою, худо-

жественной наглядностью и холодной точностью. Именно так он видит мир; и, честный в своем видении, он показывает его именно таким. Он видит эту «половину» мира — лютую и бездуховную; и живописует эту темную силу. «Сколько ее не только вообще в мире, но и в человеке!» — восклицает он сам. Она слагает целую стихию, тот «древний мир, где от века победитель крепкой пятой стоит на горле побежденного» («Братья»); где зрячий способен от жадности повалить слепого и «камнем перебить ему горло» («Весенний вечер»); где сам поэт, насмотревшись этих видений, начинает вздыхать и стонать: «все-таки самое страшное на земле — человек, его душа» («Страшный рассказ»); и еще: «страшны пути твои, Господи!» («Неизвестный друг»). И непонятным остается, как можно поверить после всего этого в «божественную прелесть человеческой души», в которую вдруг уверовала за чтением произведений Бунина его незнакомая корреспондентка, его «неизвестный друг», заочно и безответно ищущая знакомства с ним...

Бунин видит в человеке мрак и хаос. Он прав: человек содержит и то и другое; и сам трепещет, когда это развязывается и начинает кощунственно пировать в нем. И трепещет потому, что в нем самом есть и иное — святейшее и властное, духовное и божественное. Это иное — мы знаем это — есть в душе самого Бунина; и его душа в ужасе осязает невыносимость такого мира. Но чтобы явить этот иной мир, нужен *другой художественный акт*: нужен ангельский мрак, нужна духовная очевидность. Лишь краем своего зрения касается Бунин этих сфер и не приемлет их целиком — ни любовью, ни верою, ни художественным видением.

А между тем этот иной мир живет — *в той же самой человеческой душе*, которая носит в себе начало мрака. Дух обитает в действительности не в *иных* людях, а в тех же людях, в которых живет инстинкт.

Люди законченной бездуховности стоят не в центре мироздания, а на краю. И созерцание их обнаженного естества — мучительно до невыносимости. Кто насмотрится этих видений вослед за Буниным, тот вострепещет и умолкнет, как бы при виде Медузы-Горгоны, не будучи в силах ни принять такое, ни отвести глаза, ни забыть эти «темные аллеи» греха...

ЛИТЕРАТУРА

Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта: Исследование. — Париж; Москва, 1993. — Тт.1 — II.

Ильин И.А. О грядущей России: Избранные статьи. — М., 1993.

Ильин И.А. Путь к очевидности. — М.: Республика, 1993. — (Сер. «Мыслители XX века»).

Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 тт. — М.: Русская книга, 1993—1998.

Огородников Ю.А. Литература как искусство: Учебное пособие. — М., 1998.

Огородников Ю.А. Преображающий глагол. Онтологическая природа художественности Пушкина // Творчество А.С.Пушкина в контексте русской и мировой культуры: современное прочтение и изучение в вузе и школе. — М.: МГПУ, 2000.

Судьба наследия русской философской мысли на рубеже XXI века: Сб. статей / Отв. ред. И.А.Бирич. — М.: МГПУ, 2001.

СОДЕРЖАНИЕ

Совершенство — мера всех вещей в мире: Иван Ильин о духовном воспитании. Вступительная статья Ю.А.Огородникова. 5

Путь духовного обновления 19
Предисловие 19
Глава первая. О вере 21
Глава вторая. О любви 40
Глава третья. О свободе 54
Глава четвертая. О совести 66
Глава пятая. О семье 89
Глава шестая. О родине 101
Глава седьмая. О национализме 105

Путь к очевидности 114
Предисловие. О новом человеке 114
Часть первая
1. Бессердечная культура. Из переписки двух ученых 116
2. Обреченный путь 121
3. О чувстве ответственности 126
4. О духовности инстинкта 134
5. Спасение в цельности 141
Часть вторая
7. О творческом человеке 147
9. О художественном совершенстве 152
18. Потерянная тайна 162
19. О сердечном созерцании 170
Послесловие. О духовном излучении 173

Наши задачи. Статьи 1948—1954 гг. 176
1948 год. «Один в поле — и тот воин» 176
1953 год. О воспитании в грядущей России 177
Еще раз о воспитании в грядущей России 180

Основы художества. О совершенном в искусстве 184
Глава первая. Что такое искусство? 184
Глава вторая. Кризис современного искусства 187
Глава третья. О духовности в искусстве 190
Глава шестая. Идея творческого акта 196
Глава седьмая. Проблема художественности 198
Глава восьмая. Критерий художественного совершенства 201
Глава девятая. О художественном предмете 202
Глава двенадцатая. Борьба за художество 208

О тьме и просветлении. Книга художественной критики.
Бунин — Ремизов — Шмелев 209
Творчество И.А.Бунина 209

Литература 222

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ИЛЬИН

Составитель и автор предисловия
Юрий Александрович Огородников

Первый читатель
Мария Анатольевна Фоминова

Автор идеи комплекта и редактор тома
Инна Алексеевна Бирич

Редакционно-издательская подготовка,
оформление и макет
Издательского Дома Шалвы Амонашвили

Лицензия ИД № 02878 от 20.10.2001 г.
Подписано к печати 20.04.2005. Формат $60 \times 90^1/_{16}$.
Усл. печ. л. 14. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Тираж 5000. Заказ № 5067.

Издательский Дом Шалвы Амонашвили
МГПУ, Лаборатория гуманной педагогики
113184, Россия, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16
тел.: (095) 207-19-82

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов на ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2

ISBN 5-89147-049-7



АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

В **«Антологии»**
используется ранее
не применявшийся
в практике Российского
учебного книгоиздания
прием фокусирования
на страницах книги
не всегда совпадающих
позиций —
автора классического
наследия;
составителя тома, ученого,
излагающего свои взгляды
во вступительной статье
и комментариях,
и **первого читателя**,
учителя, сегодня смотрящего
в глаза своим ученикам,
призванного сегодня
реализовывать **идеи**
гуманной педагогики.

...Истинная ученость не уводит
от Бога, а ведет к нему...
...Только духовный опыт может
указать человеку, что есть
подлинно главное и
ценнейшее в его жизни...
...Самое важное в воспитании -
это духовно пробудить
ребенка и указать ему
источник силы и утешения
в его собственной душе...
Таков завет Ивана Ильина,
великого православного
философа, оставившего нам
целостную концепцию мира
образования грядущей России.
Лишь бы нам не упустить время
претворения его завета...
Лишь бы не опоздать!

Шалва Амонашвили